

Юз Алешковский

КАРУСЕЛЬ

Центральный Комитет ВЛКСМ
и Ленинградской области
Вам, руководителю
Советского государ-
ства выношу предложение
стать членом
желания
счастья,
во имя
наши

Октябрь 1971 года
Ленинградской области
Вам, руководителю
Советского государ-
ства выношу предложение
стать членом
желания
счастья,
во имя
наши

черты лени
но утверд
боты во
боевого
— Це

Ильичу БРЕЖНЕВУ
Совет



Юз Алешковский

КАРУСЕЛЬ



МОСКВА ВАГРИУС 2000

УДК 882-32
ББК 84Р7
А 49

*В оформлении обложки использован фрагмент картины
Ю. Непринцева «Соревнование двух бригад»*

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут
преследоваться в судебном порядке.*

ISBN 5-264-00186-3

© Издательство «ВАГРИУС», 2000
© Юз Алешковский, автор, 2000

Дорогие мои!

Конечно же я получил после вызова три ваших письма. Но как я мог ответить хотя бы на первое, если я даже не знал, что теперь будет? Ведь могло быть все, вплоть до самого худшего: митинг, я признаю себя инакомыслящим, дети летят с хороших работ, Света и Витя — из пионерских организаций, будь они, между нами, прокляты, ибо внукам от них нет покоя. Одним словом (я буду писать убористо), вы не знаете, что такое цеховой митинг. Это — нечто среднее между одночасовой забастовкой и сталинским погромом. С одной стороны, все рады, что никто не работает и за это платят, а с другой — громят меня одного как еврея плюс сиониста, хотя я замечательный карусельщик. Не знаю, есть ли такие карусельщики у Форда.

Так вот, меня громят, я чистосердечно признаюсь, что вы у меня за границей, что я получил вызов и не сообщил об этом куда следует сам, как будто они сами этого не знали.

Я признаюсь, что все эти годы, прикидываясь замечательным карусельщиком и ордено-

носцем, вынашивал планы удара ножом в спину Родины и, не мигнув глазом, получал тринадцатую зарплату. Они выступали бы один за другим, лишь бы не работать и клеймить замечательного карусельщика, и я один был бы виноват во всем буквально, я не преувеличиваю — во всем. Ливан и Камбоджа, и на заводе полный бардак, и заплесневелая технология, и руки прочь от Эфиопии, и за взятки дают жилплощадь, и нет масла и мяса, и вредительская колбаса только по праздникам, и Пиночет, и где туалетная бумага, и многое другое.

Если бы, клянусь вам, это не был митинг протеста, то я подумал бы, что это небольшая революция против Брежнева и политбюро. Слава богу, не в смысле революции, а что митинга такого не было. Не знаю, пережил бы я его без инфаркта. Ведь увезли же старого инженера Гойхмана прямо с трибуны митинга в городскую больницу с обширным инфарктом, когда он подал? Увезли! Разрешение ему пришло в ту же больницу, но Гойхман из нее уже не вышел. Было поздно.

А куда я брошу письмо в Америку? В ящик? Вы наивные люди! Из Москвы оно еще, может быть, дошло бы до вас, но из нашего сраного, то есть говенного, города такие письма приходят исключительно в областное КГБ — и тогда начинается. Тогда начинается то, чего я сам своею рукою начать не могу. Все моментально пойдет прахом, а дети полетят с работы. Я не

сошел с ума от страха. У нас уже было несколько таких случаев.

Я одного в связи со всем этим не понимаю, дорогие. Я не понимаю, почему им кажется, что я, мои дети, моя жена и другие евреи сидим у них как щучья кость в горле, но вынуть ее из горла, то есть не пить из нас кровь за одно только желание уехать, они одновременно не хотят. Не понимаю. Но так я никогда не кончу. Поэтому буду писать убористо.

Честно говоря, ни я лично, ни Вера подавать никогда не хотели. Трудно, очень трудно было, прожив в нашем говенном, то есть сраном, городе с одним заводом, двумя отделами КГБ, двадцатью милициями, универсамом «Полет», где на полках не мясо, масло и рыба, а только тот ночевал на прилавках, чем нас делали и чем продолжают делать детей жители нашего города, несмотря на отсутствие продуктов. Трудно было, повторяю, думать о снятии с места в таком очень пожилом возрасте. Тем более по телевизору чуть ли не каждый день показывают пенсионеров из Нью-Йорка, Лондона и Парижа с трагедией старости, ночевкой на бульварах, под мостами и как их вышвыривают из квартир на голый тротуар.

Вере я даже не показал вызов. Письма ваши тоже от нее скрыл. Зачем ей зря трепать нервы?

И вот дело принимает следующий оборот. Звонит из Москвы Володя. Он женат на москвичке. Она русская. Учит иврит и поет под ги-

тару наши песни. Он звонит и говорит: «Папа! Мы твердо решили ехать. Пришел вызов. Мы подаем документы. На днях приеду за разрешением».

— Ты получишь хворобу, — отвечаю ему не задумываясь, — а не разрешение. Ты, — говорю, — понял это, щенок? И не ты ли устроил нам вызов, хотя тебя никто не просил?

— Да, — говорит он, — я устроил. Наума, Цилю, Сола и Джо тебе нашел я. Ты им ответил?

Я задрожал от ярости. Чуть не запустил телефоном в Веру, в его мать, и отвечаю:

— Ты, паразитина и богема, считаешь, что ты ведешь телефонный разговор, провокатор?

Ему хоть бы что!

— Да хватит пердеть от страха! Сколько можно? Раз мы говорим по телефону и оплачиваем счета, то наш разговор в самой Большой Советской Энциклопедии называется телефонный.

Я бросил трубку. На сегодня писать кончаю, ибо если я не отвечал вам так долго на три ваших письма, то даже неудобно как-то ответить на них моментально. Кроме того, легче работать в мои годы на огромном карусельном станке, чем писать письма. Но если бы я был писателем, то я бы написал такое, что у вас фары (глаза) полезли бы на лоб, столько я всего пережил с 1917 года и в голодуху, и в чистки, и в энтузиазм тридцатых, и в ежовщину, и на фронте, и в тылу, когда взяли врачей, дорогие вы мои. Только не думайте, что все это пережил я один. Миллионы пережили. И пусть у

вас не будет мнения о пережитом исключительно одними нами, евреями. Если бы, повторяю, я был писателем, я, безусловно, сочинил бы всего лишь одну толщенную книгу и назвал ее не иначе как «Всеобщие страдания и переживания народов СССР». Кстати, Володя рассказывал, что книга вроде этой уже написана, но называется, на мой личный взгляд, странно, наподобие путешествий — «Архипелаг». Так что на сегодня я кончаю...

Итак, буду продолжать по порядку. Приезжает Володя получать мое и Верино разрешение. Решаю тянуть и не давать. Нельзя же вот так вдруг ни с того ни с сего сниматься, как шалавым курицам, с насиженных мест и лететь, опять же по-куриному, неизвестно куда и неизвестно зачем! Согласитесь со мной. Вы же почему-то не снимаетесь с Лос-Анджелеса и не летите на землю предков наших, как говорит Володя. Хотя он же поясняет, что ваше положение и наше — разные положения. Вы как бы на свободе, а мы как бы в тюрьме. Не буду уж вымарывать слов «как бы», которые мне начинают казаться лишними...

Приезжает Володя. Он тут же, будьте уверены, получает по морде за тот телефонный разговор и самую Большую Советскую Энциклопедию. Он бы ушел, если бы не моя дорогая Вера. «О! Только через мой труп!» Так сказала эта заслуженная артистка. Тогда Вова снял пальто и заперся в сортире курить. Вера встала на пороге, и разве мог я тогда не подумать:

«Боже мой, слава Тебе за то, что жива любимая жена моя, хотя я несколько раз перешагивал через нее, лежащую на пороге, когда шел опохмеляться с другом всех моих дней Федей, когда уходил, чтоб я сгорел от этого воспоминания, уходил из дому к сволочи одной Лизе из планового отдела, когда я, больной, после операции, срывался на рыбалку, когда я бежал набить рыло классному руководителю моего сына Вовы за то, что он назвал мальчика «жидом» (тот публично выступил в защиту несправедливо обиженной девочки), когда...»

Впрочем, ложаюсь на пороге и вопя на весь дом: «Только через мой труп!» — Вера сотни раз спасала меня, дорогие, от милиций, тюрем, увольнений, выговоров и различных кадохес. Она столько раз меня спасала этим дурацким предварительным условием сначала сделать ее трупом, а потом уже идти бросать письмо в ЦК с жалобой на паскудных мошенников из горпищеторга или сказать директору завода все, что я о нем думаю, что я таки постепенно из бравого разведчика, каким заявился в наш говенный город с фронта, стал превращаться в геморройного тихоню, в примерного, несмотря на отвратительную, по их словам, национальность, и опытного карусельщика. Лучшего, более того, карусельщика нашего задристанного несчастного города.

Глава вторая первого письма, из которой вы поймете, дорогие, какое я был говно долгие годы.

Так как я уверен теперь, что письма мои до вас обязательно дойдут, если, разумеется, не воздушная катастрофа, палестинские террористы, бермудские треугольники или какой-нибудь всемирный шмон с инопришельцами нашей планеты, то зачем мне писать убористо? Я буду говорить что хочу и как хочу. Все непонятные выражения, которые, извините, въелись в мой фронтовой и рабочий язык, как въелась в ладони обеих рук пыль металла, пожалуйста, выписывайте на отдельный листок, и при встрече я сделаю политические комментарии, потому что это мне нужно делать комментарии, а не вшивому парашнику Валентину Зорину, с которого мне всегда хотелось снять приличную стружку на моем карусельном станке, и что бы, вы думаете, от него осталось? Одна тринадцатая хромосома с легкой вонью, как говорит мой Володя. Он, между прочим, биолог, но его перестали допускать до ген.

Так вот о выражениях на одном примере. Я, мой лучший друг Федя и наши товарищи по рыбалке, когда мы думали об отмене выигрышей по займам и хотели начать подтирать облигациями — вы знаете, что именно подтирают совершенно обесцененной бумагой, называемой по теперешней моде туалетной, когда мы, повторяю, думали об этом, один из нас подсек шуку и сказал: «Я ебу советскую власть». Федя на это ему ответил: «Мы все ее давно ебем, но она с нас не слазит». Я не

знаю; дорогие, употребляете ли вы такие выражения. Скорей всего, нет, ибо Федя тогда утверждал, что если бы в вашей стране правительство одолжило у народа трудовую копейку, причем наше правительство одолжило не по доброму и душевному, как обычно одалживают друг у друга нормальные порядочные люди, а приставив нож к горлу на митинге, и если бы ваше правительство вдруг сказало, что вроде бы по вашей же просьбе вы теперь увидите не возврат денег, не тиражи с выигрышами и погашениями, а от одного места уши, то ваше правительство вмиг побросало бы в параша свои портфели и было бы растерто, как сопля, по стене Белого дома. Поясняю.

Люди после войны пухли с голоду, многие не имели ничего, кроме дырок на кальсонах; люди упирались и пахали (эти выражения перепишите на отдельный листок) больше, чем лошади, и многие навек осунулись от горя, ибо потеряли любимых и близких. На зарплату и так купить было нечего. Карточки на хлеб, карточки на то, карточки на се, и вот тут опять всех гонят от станков и письменных столов на митинг. Стоим сложа руки. Парторг, сейчас он в ЦК, рыло его бессовестное с бригадой за три дня не обкакаешь, вылезит на трибуну и говорит: «Страна в развалинах... стонут города и дети... слева подпирает проклятый империализм, изнутри подтачивает космополитизм... Зощенко и Ахматова блудят на глазах у народа и пишут слова почище, чем на вокзальном сор-

тире... но мы построим светлое будущее — коммунизм... встаньте на цыпочки — зримые его черты видны невооруженным глазом... дружно подпишемся на заем восстановления и развития народного хозяйства во имя небывалого подъема монолитного единства партии и народа... слава великому кормчему, родному, любимому генералиссимусу Сталину, вперед! Кто самый смелый? Шагом марш на трибуну!»

Бывало, не скрою, и я выходил. Да, говорю, в ответ на ежеминутную заботу партии родной, разумеется коммунистической, одолжим стране трудовую копейку, которую вкладываем в свое же хозяйство, самих себя же питаем, и возвратят нам потом эту трудовую копейку с лихвой. Подписываюсь на две зарплаты!

Говорю я это, а сам думаю: «Вера, как же мы концы сведем с концами, боже мой! Вове три годика, Свете три месяца! Не пойду же я воровать в завсклады, как Яша, я — бывший разведчик бесстрашный, а теперь рабочий человек на громадном карусельном станке?»

Чтоб вам провалиться с этими займами, увеличили бы налоги и не ломали комедию со сладкими рожками и резиновыми словами. Бардак бы лучше ликвидировали на заводе нашем и во всей промышленности и назначили бы вместо пьяных говорунов-парторгов специалистов с головами, а не с жопами красными на плечах. Чтобы техническое у нас и у нашей надорванной страны было руководство, а не политическое, которое хлобыстнуло с похмельюги

ведро воды и орет с утра самого хриплым голосюгой: «Давай, давай! Давай! Ура! Вперед! Все на трудовую вахту в честь выборов в народные суды, самые демократические в мире! Давай! Давай!»

Вот мой лучший друг Федя и ответил однажды парторгу нашего завода с глазу на глаз, когда тот подошел к нему и сказал, хлопнув по плечу (такой разговор и такие жесты он считал политическим руководством): «Давай, Федя, давай!» Федя ответил: «Не надо меня хлопать по лопаткам, я не лошадь ломовая. Товарищ Давай знаете чем в Москве подавился?» «Чем же?» — спрашивает парторг. «Хуем он подавился», — объяснил Федя. Промолчал парторг, но затаил зло, падлюка, затаил, не простил лучшему моему другу Феде бесстрашных слов, и сел мой Федя в свой час. На двадцать пять лет сел. Но об этом позже.

Теперь, когда я знаю, что до вас дойдут-таки мои письма, со мной что-то случилось: я теряю нить, пишу об одном, перескакиваю на другое, голова идет кругом, и, кажется, повышается кровяное давление. На чем же я остановился? А! Вы, надеюсь, поняли, чем именно подавился в Москве товарищ Давай? Жаль, я не знаю это слово по-английски. Придется на старости лет изучать ваш язык.

Я остановился на том, что говорили мы все, кроме Феде, одно, а думали иначе. И подписывались на заем не от чистой души, а от страха и многолетней затравленности, со слезами

обиды, что вырывают у детей и старух из голодных глоток кусок хлеба, сахарок и маслице. Конечно, были у нас на заводе такие насосавшиеся за войну на броне барахла и денег люди, для которых подписка на две-три тысячи была безвредна и незаметна, как клоп кожаному пальто, но ведь большинство все тот же девятый... — вы уже знаете, что я имею в виду, — без соли доедали, и из них еще вытягивали в получку двести, триста, а порой и четыреста. В общем, обидно нам было. Ведь политическое руководство на наших глазах начало строить для себя, за наш, разумеется, рабочий счет, новую жизнь. Отдельные дома с садами, гаражами и пристройками для шестерок (шестерки — это слуги), егерей посылало в охотничьи заповедники. Разврат, одним словом, пошел. Политические руководители вместе с начальством, вполне откровенно поняв, что мы, бараны, никогда уже не пикнем, отделили свое питание от нашего. Отделили от нашего и свое лечение, снабжение ширпотребом и так далее. И это, повторяю, на наших глазах происходило в нашем засраном областном городе и в масштабах всей страны.

Баба, например, парторга каждый день моталась в Москву на казенной машине, с казенным рылом за рулем и шлялась по барахолкам и магазинам. Молоденький паренек вздумал заикнуться об этом борделе на профсоюзном собрании. Так что бы вы думали? Он вдруг пропал. Вы мне не поверите, но он действи-

тельно вдруг пропал. Через полгода мы узнали, что паренек оказался наймитом вашей американской разведки, крал чертежи и подстрекал, по заданию Черчилля, рабочих завода против его политических руководителей. Как вам это нравится?

Но с чего я все-таки начал эту главу? У меня имеется стыд и страх перечитать написанное. Вдруг я напорол такой хреновины, что душа изумится и велит все спустить в уборную, хотя спускать опасные бумаги в сортир — чистое безумие. Врач Славин и инженер Байрамов именно так заработали по десятке.

В те времена Берия отдал приказ всем домоуправам и сантехникам в случае засорения канализации бумагами направлять их немедленно в местные парторганизации или же в госбезопасность. Я не знаю, сколько всего народу село в нашей стране благодаря плохому напору воды в толчках (унитаз), но Славин, замечательный, между прочим, детский врач, дай бог вашей Америке побольше таких врачей, как он, спустил в толчок, опасаясь доноса соседей, часть фронтового дневника. Там понаписана была такая, говорят, правда о войне и политруках, что можно смело сказать: Славину хоть и обидно было так глупо погореть, но погорел он все-таки за дело. Писатель Виктор Некрасов и сотой доли этого не описал. А вот с Байрамовым получилось иначе.

Этот Байрамов, дорогие, навел еще до вой-

ны ужас не только на простых инженеров нашего завода, но и на начальство. Сколько село из-за его доносов людей, подсчитать трудно. Но бог шельму метит. Однажды и у него глухо засорился сортир. Пришел водопроводчик Петр Степанович, я его знал, скотину, по рыбалке, вытащил из трубы клочки бумаги, отнес их куда следует, и вдруг, на радость всего завода, Байрамова берут прямо с работы из ЦКБ. То есть радость была на заводе потом, а когда за Байрамовым пришли двое с начищенными наждаком рылами и в габардиновых макинтошах, то все подумали, что Байрамова переводят в Москву или везут прямо к Швернику за получением ордена. Так он, паскуда, сиял, следуя к проходной между двумя рылами. Один даже внимательно поддерживал Байрамова под руку. Сам Байрамов шагал неторопливо и важно, смакуя каждый свой шаг. Если вы видели по телевизору, как шагают космонавты к ракете, то Байрамов шагал именно так. И что же мы узнаем через неделю? Мы узнаем благодаря утечке информации из следственной политической тюрьмы, что Байрамов не желает признаваться в попытке уничтожить в канализации материалы, порочащие внешнюю политику нашего правительства и лично товарища Сталина. Он также отказался признать тот очевидный факт, что среди бумаг, вытщенных из переходного колена канализационной трубы, находились письма к Троцкому и Гитлеру с просьбой перенести столицу СССР из Москвы

в наш сраный город. И вот еще что мы узнали... Положение Байрамова крайне осложнилось тем, что на высушенных обрывках бумаг нельзя было разобрать ни одной буквы. Вода смыла даже точки и запятые. Поэтому Байрамов отрицал все обвинения и доказывал обратное. Он, дескать, уничтожил ряд доносов из-за их неорганизованности и отсутствия резких политических оценок поведения своих товарищей по работе. Байрамов вроде бы требовал провести экспертизу. Мы-то не сомневались, не такие уж мы идиоты, что Байрамов говорит правду. Однако обыск письменного стола в присутствии трех понятых поставил неожиданную точку в деле падали, заклавшей на смерть и лагерные муки десятки людей.

В письменном столе Байрамова, в левом, как сейчас помню, ящике, был найден флакон из-под духов «Красная Москва» с невидимыми чернилами, которые в протоколе почему-то назывались симпатичными. Обыск проводил юркий молодой человек. Черные глаза, пробор посередине продолговатого черепа, пальцы тонкие, как, извините, глисты.

Совсем недавно мы с Верой выбрались наконец на гастроли какого-то цирка, и я, узнав в знаменитом фокуснике того самого шмонщика (это очень важное слово), заржал на весь зал. Мы сидели с Верой в первом ряду, я все-таки лучший карусельщик завода, и фокусник, тоже на весь зал, сказал: «В этом фокусе, дорогие друзья, нет ничего смешного».

На меня зашикали всякие лучшие продавцы, слесаря, конструктора, милиционеры, учителя и прочие люди со слета ударников коммунистического труда, но как мне хотелось, дорогие, выйти на сцену и рассказать, почему я чуть не... от смеха. Разве же вам сейчас не смешно? Разве вы не начинаете понимать, в какой стране Мурлындии (так называет СССР мой лучший друг Федя, выйдя из каторжного лагеря) мы здесь живем, хотя вы не услышали еще стотысячной доли того, что знаю я и наблюдаю за всю свою жизнь и каждый день...

Как вам нравится Байрамов? Он все же раскололся (не расколоться означает: не признаться, даже если ты кругом виноват) под тяжестью флакона с невидимыми и симпатичными чернилами. Признал, тварь, всю тяжесть вины за попытку перенесения с помощью ЦРУ столицы нашей Родины в мерзкий промышленный город, вредительские ошибки в чертежах с целью сорвать выполнение пятилетки в три года и многое другое признал крыса Байрамов. Директор нашего завода воспользовался этим делом для того, чтобы в Москве немного пересмотрели кашалотские планы, из-за которых мы ночами, бывало, не выходили из цехов, а политические руководители стояли над нами и базлали: «Давай! Давай! Давай!»

Если вы читали книги «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», написанные бригадой писак коммунистического труда, то вы можете составить легкое представление о тех,

кто считал и считает себя пупами прошлой войны и пупами восстановления разрушенной промышленности. Этим политическим руководителям, дорогие, казалось, что если бы не они, то мы — солдаты — не шли бы в атаки, не загибались бы в окопах, не спасали бы без ихнего воя «Давай! Давай! Давай!» нашу страну от фашизма, а, победив его, сидели бы сложив руки в заиндевелых станицах, почесывая жопы, и ничего не восстанавливали. Так, что ли? Выходит, они не надеялись на нашу совесть?

Я вам клянусь, дорогие, что ни парторги, ни министры, ни кагэбэшники не верят ни в какой коммунизм, что их, как и нас, рабочих, подташнивает от этого давно издохшего слова, а весь их коллективный разум занят только одним: как бы подольше продержат нас в узде, как бы отвлекать нас почаще от трезвых мыслей всякими империалистами, сионистами, китайцами и светлым будущим, чтобы, не дай бог, не прочухались мы наконец, не стукнули бы все тем же местом по столу и не сказали бы во гневе: «Все это — туфта! Туфта и ложь, дорогие политические руководители, и вам это известно давно. Давно и лучше, чем нам. Но вы и себя и нас заставляете служить тому, в чем разуверились. Только у вас от этого служения дачи, ватаги шестерок, свой собственный курс рубля, дармовая житуха, а у нас каждый день на хребтине сидит ваш “давай-давай” и “давай-даваем” погоняет».

Извините, я забылся и разошелся. Теперь мне легко разбушеваться на бумаге, а ведь я молчал всю жизнь, молчал, говноедина, тюрьмы боялся, национальности своей, бывало, боялся и, страшно теперь подумать, стыдился. Работа, труд карусельщика были для меня, как и для всего работающего народа, опиумом, и нам десятилетиями за наш нечеловеческий, беззаветный труд подкидывали на грудь железки с ленточками вместо нормальных условий человеческого существования. Кончу эту вторую главу первого моего письма к вам тем, с чего начал. Говном я был, что молчал. Надо было лучше отсидеть, чем держать полвека язык в одном месте, но, выйдя на волю, живя на воле, помирая, наконец, знать: даже черти, Давид, уважать тебя будут за славный, хотя и грешный характер, когда они начнут разводить чертовский синий огонек под казаном с постным маслом. Напишите, можно ли в Лос-Анджелесе купить казан и что вообще в Америке слышно с постным маслом?

Не прощаясь, перехожу к первой главе моего второго письма или к третьей главе письма первого, что, в общем, согласитесь, одно и то же. Вы помните, приехал за разрешением Вова. Он получил по морде, ибо с отцом нужно разговаривать не телефонным разговором, а по душам, за рюмкой водки, под селедочку и колбаску, привезенную из Москвы. Вы знаете, почему колбаса, которой в нашем городе нет,

называется «Отдельной»? Потому что она отделена от народа. Но вы ничего этого не поймете, пока не возьмете Белый дом, как мы в свое время взяли Зимний дворец, не поселите в нем политических руководителей и не дойдете за полвека, вроде нас, до самой ручки. Вот тогда вы поймете, что такое «Отдельная» колбаса.

Ну, вышел Вова из сортира. Я обнял его и говорю:

— Что же не сидится тебе на месте, сынок? У тебя же докторская диссертация на носу, квартира, машина, дачка есть, пусть маленькая, но тихая и вся в цветах. Так что вам с женой не сидится? Что ей-то, русской бабе, делать в Израиле? Ведь бегут из него евреи обратно. Я по программе «Время» своими глазами видел.

— Так вот, — отвечает Вова, — если нажраться гороха с ржаным хлебом, то воздух в комнате будет чище, чем при показе программы «Время». Тебе не остоебенило, отец, смотреть, как вожди вручают друг другу ордена, звезды, сабли и медали? Как они лобызают друг друга на аэродромах? Не надоело? Кишки еще тебе не заворотило от голосов неувыдаемых дикторов, сообщающих, что на шахте «Ленинская» выдана на-гора столько-то миллионная тонна угля? Что фабрика имени Ленина дала стране сверх плана массу тысяч метров ситца, которого и днем с огнем не сыщешь в магазинах. Ты не очумел от ежедневного пе-

реваривания каких-то абстрактных тонн, километров, гектолитров, штук, человекокоек и поросятодней? Не очумел? Я лично очумел. Но дело не в телепрограмме «Время». Это дерьмо можно и не смотреть. Дело в том, чего уже нельзя не видеть. Я еврей. Мы две тысячи лет гуляем по морям и океанам, осваиваем чужие города и веси. Пора возвращаться мне лично туда, где начинали жизнь на земле мои пращурь. Пора. Если в этой стране сами русские перестали чувствовать себя хозяевами своей жизни и культуры, если уж возникло в самой России националистическое движение славянофилов, то евреям, на мой взгляд, делать в ней нечего. Нужно либо помогать истинно русским людям избавляться от трупной заразы коммунистической идеологии, почти уничтожившей их национальную самобытность, то есть становиться профессиональным диссидентом, либо начать жить жизнью своего народа на своей исторической родине, в своем государстве. Можно, конечно, продолжать жить, как жил, мириться с унижением, когда тебя фактически вышибли из науки, закрыв доступ в лабораторию, и подозревают к тому же в готовности продаться ЦРУ за пару джинсов. Есть, очевидно, еще несколько способов более-менее сытного существования, но они не по мне. Я лично в гробу их видал. Старшие твои братья надеялись обрести на века новую родину взамен утерянной, когда Ленин соблазнил Россию на самоубийственный бунт и стро-

ительство царства Божьего на земле. Один твой брат выхаркал легкие на Лубянке, другой замерз в Воркуте. Наверно, не в их силах было тогда понять, что происходит. Зато в наших силах не только понять, понимать-то, в общем, уже нечего, но и действовать, а не задыхаться в стране, насквозь просмердевшей от лжи и социального разврата своих мелких и крупных руководителей, наших надзирателей и работников. Вот тебе мой нетелефонный разговор. Давай выпьем, отец!

Вдруг, дорогие, я зарыдал, вернее, тихо заплакал, уронив свою дурацкую старую голову на руки. Я плакал от обиды и презрения к себе, ибо Вова сказал иными словами то, что мне давно уже стало ясным благодаря честным наблюдениям за жизнью и урокам лучшего моего друга Феди. Он сказал, а я десятки лет молчал, потворствуя лжи, и грудь моя покрывалась ничтожными железками, и лицо мое улыбалось с Доски почета. Всем этим политические руководители платили мне и подобным мне замечательным работягам за молчание и высокопрофессиональный труд. Я плакал, как один из тех, кто вынес и фронт, и разруху, расплачиваясь за ошибки коллективного разума, который партия помещала то в ленинскую голову, то в сталинскую, то в хрущевскую, то в брежневскую, здоровьем, досугом, семьей, отлучением от правды жизни и Бога. Да, дорогие, Бога. Он не умирал в моем сердце, благодаря Ему в крови войны и в дерьме пропаган-

дистских кампаний я оставался и остаюсь, верьте мне, человеком добрым, веселым, не предателем и не вонючим жлобом.

Я согласен был со всем, сказанным Вовой, хотя при упоминании о земле пращуров ничто не шевельнулось в моей душе, для которой самым любимым местом на земном шаре всегда была опушка старого леса на берегу Оки и дубовая коряга, отшлифованная моей задницей за сорок пять лет счастливых и так себе рыбалок.

— Но хватит плакать, — сказал я сыну. — Разрешения ни я, ни мать тебе не дадим.

— Ты серьезно говоришь? — спросил Вова.

Он побледнел на моих глазах, и Вера — эта старая курица — заклохоталась, затрепыхалась, принесла валокордина, который нам прислали из Вильнюса, ибо в наших аптеках его не найти.

— Не бледней, — добавил я. — Тебе тридцать три года, а ты уже бледнеешь. Что же будет через десять лет? Паралич?

— Лучше бледнеть, чем краснеть, — говорит Вова, намекая, конечно, на меня.

— Выпейте и закусите, — говорит Вера, разрываясь между мной и сыном.

— Мы можем выпить, — отвечаю. В этот момент и зашел к нам мой лучший друг Федя. — Но разрешения я ему не дам.

Вова вежливо захотел узнать почему, но глаза его в тот миг были глазами не сына. Это

были чужие и враждебные мне глаза. «Вернее, я дам тебе разрешение, — добавил я, — но не раньше чем через полгода. Я имею право за свою жизнь и стаж спокойно уйти на пенсию, хотя лет до семидесяти я на нее уходить не собирался. А вот выйду когда и провожу вас всех к чертовой бабушке в Израиль, закручу роман с крановщицей Лидой, она меня уже целый год кадрит».

Вера, конечно, в слезы. Поделом. Я знаю, что если бы не я, то эта курица первая оставила бы все в нашем сраном городе и голая полетела бы за Вовой и внуками хоть на край света. Федя тоже выпил и спрашивает, поняв, что тут у нас происходит, почему я связываю разрешение с выходом на пенсию. «Потому что, — говорю я, — весь цех, не говоря уже о заводе, хочет с почетом проводить меня на пенсию. Но какой же почет и веселая выпивка, если вдруг разнесется слух, что мои дети уезжают в Израиль? Значит, и я скоро намылюсь туда же? Парторг скажет: “Сколько волка ни корми — он все равно в лес смотрит. Вот пускай его торжественно выпроваживают на пенсию в том самом лесу все те же самые волки”. Вот как будет. И не видать мне на старости лет малюсенького садового участка с домиком, подаренного заводом своему лучшему карусельщику. Зачем мне напоследок такая карусель, Федя? Разве я не прав?»

Федя выпил и отвечает: «Евреи, сломя голову бросившиеся в революцию, надеялись

обрести при социализме вторую землю обетованную. Теперь евреи намылились в Израиль. Следовательно, социализма не существует. Это, конечно, шутовская логика, и я ее, как всякую логику, ебу, потому что за бортом силлогизма, — говорит Федя, сам я не знаю, что это такое, — осталась кровь десятков миллионов людей, населявших новую большевистскую империю, мозги, выбитые еще из многих миллионов простаков, уцелевших от ленинско-сталинской бойни; за бортом этого силлогизма остался счет за погубленных и затравленных гениев, за грыжу, нажитую рабочим классом на авралах и трудовых вахтах, за начисто истребленное дворянство и дегенерировавшее изнасилованное крестьянство. Всего сейчас не подсчитаешь. Это мы на нарах, бывало, подсчитывали, подсчитывали, баланс пробовали подвести, соотнося обещанное с содеянным, волосы на головах наших вставали дыбом и души отказывались относиться к происходящему злу, рядившемуся в добро, как к явлению закономерному и нормальному, души наши замирали, сжавшись в комочек, чтобы хоть на миг быть подальше, подальше от холодного страха, сумасшествия, дьявольщины и удушья».

Вот, дорогие мои, как говорил лучший друг моих дней Федя. Я не выпустил ни одного слова из его речи, потому что, промолчав всю жизнь, я таки нажил себе отличную память. Что нажил, то нажил. А если вас действительно интересует, что именно я нажил за свою ра-

бочую жизнь, то я вам отвечу-таки: у нас с Верой есть два гардероба — моя голова и ее попа. Не буду уж употреблять более сильного и точного выражения. Почему у нас всего два этих гардероба? Потому что мы никогда не копили и все отдавали детям. Даст бог, поговорю когда-нибудь с карусельщиком такой же высокой квалификации, как у меня, работающим на Форда. Я спрошу, что он себе имеет с женой на старости лет? Я примерно догадываюсь, мы с Федей не раз это прикидывали, но я спрошу брата по классу лично и тогда пошлю открытое письмо в наш цех, газету «Труд» и, возможно, в «Пионерскую правду», чтобы дети еще в школе знали, насколько были нищими по сравнению с американскими или шведскими рабочими я и подобные мне замечательные карусельщики. Рабочий, в общем, класс.

Тут мой Вова говорит:

— Дядя Федя, а вы сами свалить не хотите? Я вам устрою. Все будет просто.

Но Федя, не думая, ответил:

— Нет, Вова. Мне поздно сваливать. Я уже не борец. Укатали они меня, падлы, как надо. Почки барахлят, ослепну скоро к чертям собачьим, а то, вероятно, махнул бы с риском потерять навек эту землю, такая бешеная обида у меня и ненависть к скотоподобным рабам и к сосущим из них кровь хозяевам. Куда уж мне. А ты, Вова, линяй. Все равно житья вам здесь, пока эти старые свиные хари стоят у

кормушки, не будет. Им выгодно, сам понимаешь, кроме всего прочего, пудрить наши разболтанные мозги мировым сионизмом, подрывной жидовской деятельностью и иной низкопробной падалью. Поезжай, живи, работай, расти нормальных детей, старый хрен даст тебе разрешение, куда он денется?..

— Только после того, — отвечаю, — как выйду на пенсию и друзья соберутся в клубе проводить меня, выпить и закусить. У меня есть на банкет триста рублей, и если я задумал угостить людей, то можете не сомневаться: я угощу, и нет таких сил и стихийных бедствий, которые сорвали бы этот мой хранящийся в сердце план. Нет!

Так я сказал, и Вера выразительно посмотрела на своего цыпленка Вову в знак того, что я прав, а он не забеременеет, если дождется моего выхода на пенсию и пирушки с друзьями. Но со стороны лучшего друга Феди была сделана успокоительная дипломатия. Он предложил замять наш разговор, выпить, закусить и припомнить под рюмку старые славные проклятые дни, ибо чувствует он, что скоро простится навек с Давидом, то есть со мною, но не в том смысле, что я врежу дуба (перепишите это выражение, дорогие), а в том смысле, что я уеду из нашего засраного, полуголодного, посиневшего от «Солнцедара» промышленного города. Уеду, и с каждой минутой это становится ему все ясней и ясней. И как ни тяжело, как ни пусто, как ни смертельно грустно будет ему здесь

без его лучшего друга Давида, он не то чтобы советует мне литься в Израиль, но категорически велит подавать на выезд.

— Если уж даже мы, русские, не хозяева своей Родины, а энцефалитные клещи — политруки, — сказал Федя, — которых прищипывает какой-то дьявол, соблазняет плюгавое властолюбие и жизнь на халяву (бесплатно), то вас они, твари, затравят постепенно, чтобы быдло заводское, институтское, чиновное, пивное и квасное хавало вместо вкусной и здоровой пищи старого, к тому же вонючего козла отпущения...

Я даже захохотал от такого выступления. Как не захохотать, когда в голове моей не было ни стружечки от мысли ехать куда-нибудь на старости лет, за пять минут до пенсионного покоя. Не было, и все. Тот факт, что едут другие, касался только их, а не меня, и я не судил их, как некоторые знаменитые евреи, выступавшие однажды по телевизору: генералы, гнусная рожа в очках из «Литературной газеты», актрисулька, балерина, начальник из Совмина и прочая шобла. «Шобла» по-нашему означает неприличное общество, в котором лучше всего не показываться.

В общем, я захохотал и говорю:

— Рано ты меня, Федор Петрович, хорошишь, рано. Никуда я не поеду, а будем мы с тобой рыбачить зимой и летом, а осенью грибки собирать, сушить да в Москву возить продавать — двенадцать рэ за нитку белых. Будь здоров, старая коняга!

Усмехнулся Федя как-то странно, жахнули мы (выпили) еще бутылочку и вспомнили такое, чего ни Вера, ни дети мои не знали не то что в подробностях, но до гроба не догадались бы, что я способен на авантюры всесоюзного масштаба.

Вторая глава второго письма. За это время Вова уехал в Москву несолоно хлебавши и понял, что если я сказал, например, приду в пять, то я приду ровно в пять, не раньше и не позже, и нет на свете силы, способной помешать мне распорядиться временем собственной жизни. Хотя вы убедитесь позже, что силы такие, к сожалению, имеются, что мы их опять-таки... совершаем, так сказать, с ними половые отношения, а они с нас не слазят. Не слазят, сволочи. Некоторые люди брыкались, бывало, вскидывали задницы, как кони под ковбоями в том фильме, ржали, хрипели, грызли удила, кровавую пену с губ схаркивали, разбегались и оставались словно вкопанные на всем скаку, но когда удавалось самым отчаянным, свободным и непокорным вышибить из седла какого-нибудь сраного бюрократа или политрука, их снова оседлывали и рвали удилами губы до тех пор, пока они либо не валились с ног, намертво запарившись, либо не демонстрировали в конце концов чудесной выездки. Я, дорогие, кое-что в лошадях понимаю. Так вот, во второй главе второго письма вы узнаете то, чего вы никогда не узнали бы ни из наших газет, ни из книг, написанных по указке Брежнева.

Выпивали мы, в общем, тогда, закусывали чем бог послал и тем, что Вова привез из столичного гастронома «Новый Арбат», смотрел я на Федю, чубастого еще в свои шестьдесят пять, но худющего, как скелетина, неизвестно чем вдыхающего (нет одного легкого) кислород, переваривающего (резекция желудка) нашу кирзовую ежедневную пищу, выводящего из бедного тела (отбитые следователями почки) пиво, водку, квас, чай и холодную воду, жующего, однако, своими съемными протезами весело и молодо, как годовалый волк, резиновую грудинку, смотрел и думал с теплотой, удивлением и любовью: «Я знаю, Федя, отчего в тебе душа не только держится, но и торжествует, знаю! Ты старая больная лошадь, и губы твои забыли, что такое улыбка, потому что разодраны они ржавыми колючими удилами политруков и защиты грязными лапами лагерных лепил, но, если бы все твой следователи выдавили тебе к тому же глаза и вырвали язык, все равно любой мало-мальски душевно грамотный человек не мог бы не почувствовать исходящую от твоего существа, изуродованного якобы самыми человечными из всех прошедших по земле людей, благодарную радость жизни, и даже безъязыкий ты говорил бы нам всем: “Держитесь, мужики, держитесь, не унывайте, пока живы мы еще, всем чертям и бесам мира с нами ничего не поделать, а если помрем, то не поделать тем более. Держитесь, оставаясь людьми, держитесь, беско-

нечно униженные насиллием, произволом, хворьями и голодухой, держитесь — и тогда десяти сталиным и шести советским властям не выжечь души, как бы неистово ни пытались они сделать это, ни в человеке, ни в народе...”

Вот как говорил ты и, говоря, не просто трепался, но ты победил, ты не продался бесам, ты поэтому весел, и ты еще шутишь, что твоему ангелу-хранителю повезло, ибо самому тебе и без него уже ничего не страшно».

Вот, дорогие, каков лучший друг моих дней Федя. Но они не прощали ему ничего. И они его схавали (съели) однажды, буквально съели. Помните, как он сказал парторгу завода: «“Давай” в Москве хуем подавился, до сих пор отрыгнуть не может»? Он так сказал, потому что видел всю туфту и нереальность завышенных планов реконструкции завода. Он, также как все мы, впрочем, видел, каких нечеловеческих усилий требуют от нас парторги и начальство, чтобы не обосраться перед Сталиным за выданные без нашего рабочего ведома обещания. Федя ведь великий инженер, золотая голова на плечах, которая думает всю жизнь о других, а не о себе, он ругался, предупреждал, предлагал разумные решения для выигрыша времени, экономии жил и средств рабочего класса, и именно потому, что он был во всем прав и это стало очевидным, его взяли. У них, мерзавцев, был один выход, чтобы не обосраться перед Сталиным и не полететь из своих партийных кормушек обратно на произ-

водство. Этого они бздели (боялись), дорогие, больше всего. И его взяли. Как вы думаете, что Феде в конце концов пришили?

Вначале поясню о нашем прошлом, о фронте, который мы с первого до последнего дня войны прошли вместе. Федя — командиром полковой разведки, я — простым разведчиком, но бесстрашной чумой, как называли меня друзья. Они думали, что я смелый, но это было не так. Просто я от страха заболел потерей чувства опасности, и мне уже было море по колено. Поистине только Бог спасает таких безумцев, как я, от ран, не говоря о смерти.

Так вот, однажды наш командир сделал ошибку (на войне, как у вас на бирже: иногда всего не угадаешь), пошел на зорьке на рыбалку (было затишье между боями) и анекдотически попал в плен. Я тоже был на рыбалке, но без автомата, и к тому же сидел метрах в ста от Феде, над сомовым омутом, сома мне очень хотелось поймать, перед тем как погибнуть в очередном бою. Сидел без оружия, нарушая многие статьи устава, и ничем Феде помочь не мог. В тот момент ничем. У меня хватило ума не поднимать шума, бросить к чертовой матери удочку и сома, который, сволочь, как раз клюнул, но сердце мое оборвалось не от удачной поклевки, а от глупого вида Феде — товарища капитана, уводимого четырьмя здоровенными амбалами в сторону фашистских траншей. Кстати, лучше бы я погиб, чем видеть такое. Что вы бы сделали, интерес-

но, на моем месте в такой боевой обстановке? Не ломайте, дорогие, зря головы. Не додумаетесь. Наш командир шел как убитый и шатаясь. Очевидно, его грохнули по голове прикладом и оглоушили, как рыбу. Я теперь думаю, и холод от этих мыслей охватывает мою душу, неужели так будет до конца времен, что щука, например, ловит маленькую рыбешку, мой командир ловит эту несчастную щуку, немецкие разведчики в свою очередь ловят такую щуку фронтовой разведки, что им и не снилась, причем ловят, как тупые везунчики, а не бывалые рыбаки. Они ловят, хохочут от удачи, выкручивают Феде руки, дают поджопника, они рады (словно дети, поймавшие голыми руками акулу в городском пруду), а Федя, очевидно выигрывая время и рассчитывая на то, что его «рыбаки» вряд ли начнут пальбу поблизости от нас, вдруг вырвался, побежал и начал игру в «салочки». Вы бы видели эту сцену.

Выход у меня был один, ибо Федя не барнаулил (любимое слово штрафников воров-рецидивистов, означает — не кричал), давая мне понять, чтобы я затрепыхался, если я на воле, а он в садке, и правильно полагая, что немцы не преминули бы прошить его очередью, когда бы он засветил их криком поблизости от наших. Последнее, что я видел, пулей метнувшись к лесу: снова взятого Федю связывали и делали для него что-то вроде носилок, ибо сам он, как я понял, идти пешком в плен не собирался. Это было бы для фрицев слишком жир-

но. И вот теперь я вам признаюсь в том, чего не знает ни один человек на свете — ни Федя, ни Вера, ни дети, при воспоминании о чем я краснел и мучился, ибо я думал и думаю, что я — уродина, каких больше нет, и мне снова становится смертельно стыдно. Пусть дрожь проберет вас, когда я скажу, что я сделал, и, может быть, от содрогания вы даже не ответите мне и не захотите увидеться с таким уродом, но я все-таки скажу, потому что я в отличие от Брежнева пишу сам и если уж пишу, то буду говорить всю правду, какой бы ни была она для меня уничтожающей и жестокой. Несмотря на ужас случившегося, лишивший меня в первый момент на какое-то время сознания, знаете, что я делал, пулей летя по лесу? Приготовьтесь выслушать правду. Я тогда смеялся! Да! Я хохотал, не понимая происхождения такого смеха, относя его к помешательству, потрясению, уродству своей души. Ведь надо было не смеяться, как от еврейского анекдота, а рыдать на весь брянский лес, чтобы кровь леденела у живых существ от моего горя и ужаса. Но я летел и задыхался от смеха. Приступы хохота вдруг пощадили меня, но, когда я снова представлял, как мой командир (впоследствии оказалось, что так оно и было на самом деле) говорит немцам: «Ну уж хуюшки, ребята, своими ногами я в плен не пойду», и немцы, вынужденные с этим считаться, несут его на своих хребтинах (плечах), наживая грыжи, не бросать же на дороге такую добычу,

такого задарма доставшегося осетра, веселый смех снова одолевал меня. И не он ли в конце концов, спасая душу от отчаяния, придавал мне сил и помог тогда же на бегу выбрать для спасения командира и своего лучшего будущего друга, возможно, единственное правильное решение из всех, что, несмотря на хохот, разрывали мозги на части? Я растряс дрыхшего переводчика, засунул его, как кота в мешок, в фашистскую генеральскую форму, умоляя ни о чем не расспрашивать, ибо будет поздно, я все расскажу по дороге, сам напялил на себя свой фельдфебельский мундир, схватил автомат и пару пистолетов. Никто, между прочим, так и не проснулся. Все дрыхли между боями по-чапаевски, и мы полетели наперерез, через хилый березняк, минуя еловую дремучую чашу, слава богу, все под гору, под гору и, упредив немцев, поспели-таки им навстречу. Увидев из-за кустов, как они плетутся, меняя руки, смахивая со лбов взопревших пот и зло уговаривая Федю идти своими ногами, на что он отвечал им излюбленным жестом руки, я снова задохнулся от хохота, но это уже были последние его спазмы. Теперь надо было безошибочно и артистично, чему нас, разведчиков, всегда учил наш командир, делать то, что виделось мне единственным выходом из положения, причем избегая боя, оставляя смертельный бой на самый худой конец, напоследок. На душе у меня стало светло и легко. Даже бой, даже смерть в том бою, наша и командира,

была бы уже победой. Только не плен, Федя, только не плен, такой нелепый, смешной и, наверное, позорный. Я говорю, дорогие, «наверное», ибо в жизни нашей частенько случаются такие неподвластные мудрому и осторожному предусмотрению вещи, что определять их чисто по-прокурорски и по-комиссарски, что одно и то же, просто неприлично. Позор не тем, кто, подобно Феде, случайно попадал в плен, а позор Сталину и его безмозглым жополизам типа Ворошилова и Буденного, позор позору еврейского народа Кагановичу за то, что они — выродки — не упредили любыми способами Гитлера и бросили миллионы моих братьев-солдат фактически на произвол судьбы, на окружение, плен и уничтожение. Вот кому позор! Помните это в своей Америке, когда вы миритесь с бандитскими штучками нашей компартии в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и в Европе, помните, дорогие, чтобы с вами не повторилось то, что пережили люди Страны Советов за свою историю. Но не будем уходить в сторону. Лучше вы взгляните на нас со стороны. Выглядело это представление примерно следующим образом: я двинул как следует по шее нашему переводчику, чтобы он перестал дрожать, как овца, от страха. Мы вышли из-за ельничка с полными фуражками белых грибов (их была тьма-тьмуша в том лесу)... Немецкий генерал прогуливался по старой привычке завязанного грибника в сопровождении младшего по чину, тоже якобы лю-

бителя собирать грибки. Автоматы свои немцы сложили на носилки, рядом с Федей, и были фактически безоружны.

— Рывкай на них, — шепчу своему «генералу», — рывкай, не то живым не уйдет отсюда никто, остальное сделаю я, рывкай!

И наш переводчик Козловский, когда мы свалились немцам как снег на голову, рывкнул с генеральской раздражительностью:

— Что за карнавал, сволочи, смирна-а!

Бедняги и ужасные неудачники вытянулись в струнку, и мне этого мгновения было достаточно. «Ложись, стреляю!» — заорал я безумно громко по-немецки. Солдаты бросились на землю. Я держал их на мушке автомата. Козловский перерезал финкой ремни на руках и ногах Феде и вытащил кляп у него изо рта — мерзко грязный носовой платок с вышитым в уголке пожеланием: «Будь здоров, Франц!»

— Вот за это я люблю жизнь, — как сейчас помню, первым делом сказал Федя и пояснил, что он любит ее за неожиданную смену губельных ситуаций спасительными и, если уж на то пошло, то и наоборот, иначе не было бы никому и никогда спасения. Вторым делом он обшаманил (обыскал) лежащих немцев, забрал гранаты и пистолеты. Автоматы их перешли к нам. Козловский потирал руки и говорил, что все мы получим по ордену Красного Знамени, а возможно, по Александру Невскому 1-й степени. Но у меня и у Феде заныло в душе от нехороших предчувствий. Надеюсь,

вы поняли, дорогие, чем это для нас пахло, если бы до командования, особенно до политотдела и гнусной контрразведки, дошла история с пленением Федей? Пока Козловский шаманил в свою очередь пленных, снимал с них, гнида, часы, кольца и отбирал сигареты, мы с Федей прикидывали: как нам теперь быть? Привести с ложными подробностями «языков» к генералу? Открылась бы самовольная отлучка из расположения части без оружия, но с удочками, пленение командира полковой разведки, дрыхшее без задних ног боевое охранение и так далее. Все это открылось бы, ибо немцы, мы прекрасно понимали, не преминули бы отомстить таким образом своим хитрым захватчикам. Я склонялся к варианту освобождения немцев. Пусть идут себе к чертовой матери обратно. Я в первом же бою верну этот долг фронту и убью четверых-пятерых немцев сверх плана. В конце концов, обращались они с Федей вполне прилично, исключая Франца, который, между прочим, от страха наложил в штаны большую кучу и отвратительно вонял, дрожа на траве всем телом. Пусть, говорю, идут себе. Ведь они тоже любят жизнь за смену гибели спасением и наоборот. Ведь и на войне может быть место великодушию и широкому жесту. Я говорил так открыто и смело со своим командиром, ибо мы дружили еще со школьной парты. «Такой вариант мне нравится, — отвечал Федя, — но неужели не ясно, что Козловский с ходу нас заложит за орден

Красной Звезды, и тогда — каюк: расстрели в лучшем случае штрафняк».

Да, подумал я, согласившись, такая мразь, как Козловский, заложит нас непременно, причем со всеми потрохами (кишки, внутренности). Интересно, как бы вы поступили на нашем месте, дорогие? Ликвидировали бы и фрицев, и Козловского? Не думаю. Если бы я мог эту сволочь не брать с собой, если бы не был мне мал генеральский мундир и если бы я знал немецкий язык, как знал его он, то, конечно, я попытался бы все сделать сам, и тогда отпустили бы мы к чертовой матери четверых идиотов, посмеялись бы от ужаса страшного воспоминания и остались бы, как говорится, при своих. Однако если бы да кабы, то не было бы в России кагэбы (наше гестапо). Пока мародер Козловский шаманил, не брезгуя, обосравшегося Франца, мы перебирали варианты и остановились на лучшем: героем вылазки должен стать Козловский, но Федя доложит начальству все, как оно было. Солжем мы только в одном: в преувеличении заслуг якобы смельчака и артиста — переводчика. Пусть он треплется в части и расписывает свою решающую роль во взятии четверых «языков».

Он был полный идиотина, и я на обратном пути внушил ему, что пленение командира всего-навсего инсценировка, заманка немцев в ловушку для того, чтобы, не сделав ни одного выстрела и не выдав дислокации в лесу полко-

вой разведки, захватить важных гусей из спецкоманды, обслуживавшей новый тип танка. Козловский, трепясь, будет, таким образом, у нас на крючке. В общем, одна версия, решили мы, для комполка, другая для солдат.

Фрицы наши шли в плен не то чтобы охотно — они радовались, как дети, которых папы сняли с уроков и вели в гости. Францу пришлось прополоскать в реке свои штаны, сапоги и подштанники, но все равно несло от него дерьмом, как от деревенского сортира в сырую погоду. В общем, все тогда обошлось великолепно. Комполка, любивший Федю всей душой, орал, топал на него ногами, обещал сорвать погоны, отнять ордена и отдать нас обоих под трибунал, но потом налил нам спирта, сказал справедливо, что на войне все бывает и если уж судить, то судить надо кое-кого другого, на кого он сейчас не будет указывать пальцем. Безусловно, он намекал на Сталина — отвратительного и ненавистного предателя армии и страны. Я знаю, что именно так, с ненавистью и презрением, относились к нему здравомыслящие, не отупевшие от вонючей пропаганды и большевистской лжи солдаты и офицеры. Все-таки мы тогда спасали Родину. Сталина же, к нашему сожалению и к его счастью, спасли по дороге. Итак, кончилась наша трагическая рыбалка благополучно. Козловского комполка представил к ордену, повышению в звании и отправил в другую часть.

Из следующей главы этого письма вы узна-

ете, что было потом, после войны, ибо написанное я должен сегодня отправить прямо в Вену с отъезжающими людьми. Не торопитесь понять, как я это делаю и почему я живу в Москве у Вовы. Всему свое время, да и читать мои письма, вероятно, интересней, чем вы мучаетесь в догадках, а что же будет дальше, что? Более того. Я теперь начинаю понимать, дорогие, почему я всю жизнь жил и живу с большим любопытством, а порой и с азартом: мне, безусловно, интересно, что же будет дальше? Мы восстановили на свою шею, оторвав средства от собственного народа, Китай. Теперь не знаем, как от него избавиться. Вкачали миллиарды в Индонезию и просрали ее. Залезли в Африку, в Азию, запутались в бороде Кастро, мутим воду везде, где только она мутится, держим на штыках и под гусеницами танков пол-Европы. Мы орем на каждом шагу: «Да здравствует светлое будущее!» — когда с каждым днем становится все темнее и темнее. В нашем сраном городе, как и в тысячах еще более отвратительных городов, давно уже ни мяса, ни колбасы, ни масла не видно, не то что светлого будущего. Так что же будет дальше? Не дай бог, думаю я иногда, впадая в уныние души, дожить мне до того дня, когда опять какой-нибудь умник залезет на Мавзолей с полной кучей в маршальских штанах от страха и призовет, перед тем как спуститься в бомбоубежище, миллионы своих братьев и сестер расплатиться жизнью, кровью и нечеловечес-

кой мукой за беспардонно глупую политику и ужасающие авантюры. Что же будет дальше, думаю я с еще большим унынием, когда я вижу толпы своих братьев-пролетариев у винных магазинов и пивных ларьков, где их единственная радость — распить с дружками портвейновую отраву, «словить кайф», как они говорят, потрепаться о хоккее, чтобы потом, задряхнув у телевизоров, проснуться с отравленной сивухой и пивом головой и с красными зенками (глаза) и переть в цеха, унимая по дороге тошноту, которую непременно вызывают с похмелья остоебенившие (набившие оскоми-ну) лозунги вроде: «Народ и партия едины», «Социалистическая демократия — высший тип демократии», «Слава труду», «Слава КПСС». А когда я наблюдаю за пятнадцатилетними сопляками, за подонками с пустыми, оголтелыми, уже залитыми той же бормотухой глазами, наблюдаю за выражением бессцельности и бессмысленности на их лицах, полузакрытых длинными, слипшимися, давно немывыми патлами, когда вижу, случается, как нагло и по-свински они терроризируют девочек, нормальных парней и невинных прохожих, потому что уже сейчас для них самое сладкое наслаждение — чужое унижение и чужая боль, мне страшно думать: что будет дальше? Если наши политруки скажут им: «Во всем виноваты евреи, американцы, немцы, китайцы, чехи, японцы, румыны и египтяне! Бейте их, братья и сестры!» — то, безусловно, эти скотоподоб-

ные существа с душами, вытравленными в самом начале своей жизни мертвыми словами лозунгов и призывов, заревут, распалаясь от предчувствия крови и наживы, и затопают копытами в бешеном и злобном нетерпении. Не забывайте и вы там о своих детях...

Пожалуй, я лучше сразу начну третье письмо, чем играть в игрушки с главами, частями и так далее. Вы правы, дорогие, в намеках своего ответа на мое первое письмо, что у нас в стране, да и среди эмигрантов, развелось слишком много писателей и что для меня было бы полезней думать не о главах, а о серьезных вещах. Может быть. Но сначала нужно выяснить, что именно вы считаете серьезными вещами, а что таковыми считаю я. У любого из тех, кого вы обидно называете бумагомарашками, так наболело в душе от многолетнего держания языка в одном месте, что нет иной возможности избавиться от накопленных мыслей и чувств, чтобы от них не пухла голова и не разрывалось сердце, как, посчитав себя для интереса писателями, взяться за перо и уйти с головой в лист бумаги. Вы также убедительно просите меня лучше относиться к городу, в котором я почти родился, вырос и в настоящий момент прописан. Хорошо, что у вас хватило ума не повторять в ответе слово «сранный-пересранный». А вдруг я называю его так с большой любовью и жалостью? Что тогда? Вам всего этого не понять, и больше не злите меня

в письмах молниеносными суждениями о том, в чем вы разбираетесь не больше, чем наши политруки в гуще жизни. Не надо. Затем Наум и Циля просят меня прекратить рассказы о моем лучшем друге Феде, ибо он не интересуется их ни с какой стороны, и наоборот, Сол и Джо умоляют сообщить, как развивались события впоследствии. Так вот, пусть каждый из вас читает интересные для себя места. Неинтересными можете потеряться. Пока на пятьдесят пятом году советской власти в нашем изумительном, в нашем лучезарном, сытом, приветливом, чистом и свободном городе не появилась каким-то чудом туалетная бумага, мы так поступали с центральными и местными газетами. Добавлю, чтобы не потерять основную мысль: не было в мире подтирки более мягкой, чем бумага из последнего собрания сочинений Сталина. Ее хватило нам на два, кажется, года. Сейчас нам иногда присылают туалетную бумагу из Москвы внимательные дети. Ее по-прежнему не хватает на душу населения. Ну вот что вы, зло меня сейчас разобрало, понимаете в нашей жизни, что? Вы можете себе представить следующее. В один прекрасный день исчезают из московских магазинов (мы отовариваемся в основном там) лезвия. Бриться нечем. Ходят всякие слухи. В том числе — все бритвы скупили евреи и переправили в Израиль резать горло арабам. На заводах начинают частным образом из лучшей, почти драгоценной стали делать опасные бритвы и торго-

вать ими. Вдруг через год, так же непостижимо, как и пропали, проклятые лезвия снова наполняют прилавки. На моем веку блудными вещами становились: мясорубки, утюги, колготки детские, валенки, калоши, сигареты, копченая колбаса, свиная тушенка, мотоциклы, губная помада, презервативы (гондоны), вата (вы бы знали, как тогда мучились девушки и женщины), лыжи, нижнее белье, электролампы — всего не перечислишь. Я берусь утверждать, что не было на свете вещи, не исчезнувшей хоть раз хотя бы на короткий срок из продажи. Это наши вонючие газеты называют проблемами и трудностями роста. Нет такой вещи. Но ведь существуют где-то, например у вас, вещи и продукты, даже не думающие попадать обратно в нашу мерзкую торговую сеть. Вобла, скажем, довоенные бублики с маком, необычайная колбаса «собачья радость», ратиновые пальто, ситец, теннисные мячики, речная рыба, тресковое филе, кукурузное масло и так далее Федя, добавлю, считает, что вещи иногда, как и люди, не могут не чувствовать дьявольской природы советской власти и так называемого социализма. Им при этом или не хочется жить вообще, или они куда-то намыливаются (эмигрируют). Но хорошо. Перед тем как продолжить рассказ о Феде и его жизни, я поясню вам, дорогие, почему и как я оказался в Москве у сына Вовы.

Вы помните, мы тогда (я, Вова, Вера и Федя) выпили и закусили. Я настоял на том,

что до выхода на пенсию никакого разрешения — ни формального, ни сердечного — Вове не будет. Он вошел в мое положение без обиды. Я же не отговаривал его вообще от эмиграции. Итак, он уехал.

Буквально через три дня меня вызывает к себе парторг. Сидит за столом, мерзавец. Не вышел, как обычно, навстречу, не поприветствовал, вроде бы по-свойски, бодро и весело: «Привет беспартийным передовикам».

Нет. Наш парторг сверлил меня розовыми, горевшими в полутьме кабинета глазками, и у него по-крысиному подрагивала верхняя губка. Я не стал садиться. Спасибо, сказал я, постою, привык, работа у меня, сами знаете, стоячая.

— А ведь ты, Давид Александрович, — говорит крыса, — оказывается, человек с двойным дном!

Я ему отвечаю для начала так (ибо нисколько не сомневался, о чем пойдет речь):

— Прошу говорить «вы» и выразаться конкретней. Меня ждет станок.

— Мы теперь знаем, чем вы, Давид Александрович, нафаршированы.

Последнее слово парторг произнес картаво.

— Ну и как, — спрашиваю спокойно, — фарш мой на вкус?

— Антисоветчиной и мировым сионизмом от него пахнет, точнее, разит, а если еще точнее — шибает! Вот у меня на столе запись ваших застольных разговорчиков. Передай я

эту бумагу сейчас куда следует, и вы все четверо, включая вашу жену, сгниете в Мордовии! Вы думали скрыть от нас отъезд сына в Израиль!.. Вам бы сорвать последний куш с завода, наполучить подарков и уйти неразоблаченным на пенсию? Не выйдет, господа сионисты, вы ответите за все перед коллективом завода! Теперь я понимаю, почему ты не в партии, двурушник! Прикидывался простачком, пятилетки выполнял в три года, интересы рабочих в месткоме отстаивал, а сам небось осведомлял своих земляков о положении наших дел!

— Не надо, — говорю, — запугивать меня как пацана, не надо, я не мальчик и не знаю, что там в бумаге у вас написано.

— Тут записаны клевета твоего сына на Советский Союз и его бредни насчет возвращения евреев на историческую родину.

— Ни о чем таком, — отвечаю, помня Федину науку глухо ни в чем не сознаваться, — говорено не было, а то, что Израиль и Палестина — историческая родина евреев, всем давно известно.

— Нет! Историческая родина всех простых людей доброй воли — Советский Союз, а вы там трепались, что даже у русских нет теперь родины, что истребила ихнюю родину советская, дьявольская власть! Трепались?

— Нет, — говорю, — трепались только о хоккее и плохом качестве местной водки. Сами-то, — говорю, — небось в закрытом обкомовском ларьке берете? А что касается

доноса, то за стеной у меня живет мразь, которую я побрезговал однажды раздавить двумя ногтями! Просто я харкнул ему недавно в рожу, как харкнул бы всякому подонку, издевающемуся над женщинами и детьми. Вот к кому, — говорю, — вы прислушиваетесь! Вот как, — добавляю, — беседуете со старым карусельщиком, этими вот руками заложившим первые кирпичи в фундаменте завода. Говорите, чего вы от меня хотите, выкладываете, чем вы сами нафаршированы!

— Я, — говорит крыса, — нафарширован идеями Ленина, идеями коммунизма, а также решениями последнего съезда партии и октябрьского пленума ЦК КПСС. Я также нафарширован пролетарским интернационализмом, стремлением к разрядке напряженности и сохранению мира во всем мире. Наш народ не свернет со столбовой дороги истории. Вашему брату не повернуть историю вспять. Вам не заменить нашего передового фарша тем, чем нафаршировали вас сионисты и ЦРУ. Одним словом, через неделю на заводском митинге в честь дня солидарности с народами Анголы и Мозамбика ты, Давид Александрович, должен выступить с угрозой в адрес мировой реакции, продажной верхушки американских профсоюзов, Пентагона и происков сионистов в нашем городе. Вчера еще пять любителей фаршированной рыбы подали заявление о выезде. Если ты, Давид, выступишь, учти, я тебе добра желаю, эта бумага пойдет в сортир. Я понимаю,

что вещи там бездоказательны и дела с их помощью не возбудишь, хотя твой дружок Пескарев хорошо известен нашим органам. Мы думали, что он притих после отсидки и реабилитации. Мы ошибались. Он — настоящая пятая колонна нашего города. Так вот, если ты выступишь, извини, я был несколько резок, все же у нас сейчас идеологическая война не на жизнь, а на смерть, мы с почетом проводим тебя на пенсию и оставим в Совете ветеранов труда. Я понимаю, что, проработав всю жизнь на заводе, ты не имеешь ничего общего с мировой финансовой олигархией и еврейским капиталом. Тебя совращают в лице сына безыдейная молодежь и махровые антисоветчики, не простившие Родине мелкой обиды, типа Федора Пескарева. Неужели ты хочешь оказаться среди отбросов истории, а не с нами, уже вступившими, как говорит Леонид Ильич, в первую фазу коммунистической формации? Чем плохо тебе при развитии социализме? Все у тебя есть. Есть у нас и трудности, но они общие. Это же прекрасно, когда у людей общие трудности.

— Не надо, — отвечаю для начала, перебив крысу, — зря трепаться. Ты ведь вчера с охоты примотал (приехал). Кабанчиков пару вы там с дружками и блядьми уделали. «Столичной» винтовой водочкой запили и черной икоркой до самых муде (органы) перемазались. Так что не ври, парторг. Нет у тебя с нами ничего общего. Все отдельное: от колбасы до са-

наториев, столовых, промтоваров и автомашин с персональными шоферюгами. И самое страшное для тебя и тебе подобной шоблы — не допустить ни за что на свете ликвидации этой отдельной жизни. Самое страшное для тебя — общая с народом жизнь. Я ведь помню тебя жалким сопляком, смахивавшим хлебные крошки в ладонь в заводской столовке. Помню, как, вроде кота, терся ты об ноги цехового и заводского начальства. Помню, как, распознав в тебе злобного, завистливого и верного лакея, бывший парторг почесал у тебя за ушами и ты замурлыкал на теплой лежанке в профкоме завода. Помню тебя, выпрыгивавшего на трибуны всех митингов с выгнутой дугою спиной и шипением в адрес империализма, Солженицына, Мао Цзэдуна, Пиночета, Сахарова и Моше Даяна. Помню великий день твоей жизни, в августе шестьдесят восьмого года, когда ты от нашего имени послал в ЦК телеграмму о готовности рабочих завода организовать военную дружину для отправки в Прагу с целью спасения братского рабочего класса от все тех же сионистов и фашистов Западной Германии. На твое имя пришла тогда телеграмма от Сулова. Спасибо, мол, справимся сами. Но тебя заметили, ты стал парторгом завода. Ты, наконец, начал соблазнять баб поездками на охоту, шмутками и своим влиянием на ход городских дел. Бабе так просто дать тебе невозможно. Ты жалок и плюгав. Все твои бляди получили без очереди квартиры, и

мое преступление в том, что я, кое-что зная об этом, молчал. Проклят будь мой отсохший тогда язык. Ты, — добавляю, — нафарширован не ленинскими идеями, а удовольствием от сытой, бесплатной и праздной жизни. Ты понимаешь, что после всего сказанного мне обратного пути нет. Но хочу предупредить тебя: на митинге я могу повторить все и кое-что другое. Иных речей больше не будет. Ты понял? А если ты попытаешься сделать зло мне или Федору Пескареву, то список всех твоих злоупотреблений, вымогательств, шантажа, борделей и браконьерских штучек будет отправлен в газету итальянских коммунистов «Уни-та». И тогда тебе, крысе, крышка. Этот список завел на тебя не я, но в нем есть и мои собственные свидетельства. Я не коммунист, слава богу, мне плевать на дела вашей партии, но как честный человек я не мог не сообщить рабочему классу все, что знаю о тебе и твоём двойном дне. По головке тебя не погладят. Придется тебе жениться на Рите Шварцман из планового отдела, которой ты заделал ребеночка, и линять в Израиль. Впрочем, я напишу, чтобы такое говно не брали на Землю обетованную. Сейчас я иду и подаю заявление об уходе на пенсию. Срать (по большому) я хотел на твои посулы, садовый домик, будильник и самовар, которые завод выдает своим престарелым рабам за выкачанные из них силы, здоровье и время жизни. Не нужно мне мизерных крох от всей моей многолетней прибавочной стоимости.

Крысенок (парторг на моих глазах превратился в него из крысы) быстренько соображал, как ему быть, что отвечать, слышал нас кто-нибудь или нет.

— Кроме того, — сказал я, — не вздумай мне пакостить. Я имею влиятельных родственников в Америке, торгующих с нами товарами первой необходимости. Не ставь под угрозу крупный товарооборот между нашими странами, иначе придется тебе покандехать (перебраться) из этого кабинетика обратно в цех, к шлифовальному станочку. Он скучает по тебе. Ты понял, засранец, старого карусельщика? Понял, что я не шучу?

Извините, дорогие, за то, что я выдал вас тогда за видных барышников (коммерсантов), но заговорила во мне вдруг бесстрашная кровь полкового разведчика, согрелась и забурлила, родимая, после долгих лет пребывания в холодном и свернутом виде, возмутилась от невыносимости выслушивать от какой-то крысы поучения, угрозы и блевотину партийных заклиний. Я высказывал ему свои мысли тихим, спокойным голосом, не удивляясь почему-то своей безрассудности, риску и тому, что так легко я порываю с заводом, откуда, казалось, только смерть или жуткая хвороба прогонят меня на пенсию, на заслуженный отдых.

— Разговор у нас состоялся серьезный и откровенный, — говорит крысенок, беря себя в руки и снова превращаясь на моих глазах в крысу. Правда, в слегка потрепанную, слегка

ошпаренную кипятком моих слов, но все-таки в жизнестойкую, злобную и упрямую крысу. — Из этого разговора мне стало ясно одно: вы; Давид Александрович, собрались уезжать, — продолжает парторг.

— Да, — подтверждаю, — и послезавтра еду...

Вы бы видели, как он вылетел от изумления из-за стола, как захлопал веками, красненькими веками без ресниц и переспросил:

— В Израиль?

— Нет, — отвечаю, — на рыбалку я уезжаю. Порыбачу и вернусь. В Израиль я пока не собираюсь.

— Жалею, — говорит, — что не раскусил вас вовремя, очень жалею. До свидания.

На этом тот наш разговор кончился.

Что вы на это скажете? Бывают у ваших рабочих подобные разговоры с представителями демократической и республиканской партий? Сомневаюсь...

Дома обо всем молчу. Жена чувствует, конечно, дурноту положения, но виду не подает, ни о чем не спрашивает, ухитряется, как японка, ежедневно делать из риса несколько блюд, ибо в магазинах — шаром покати: ни сыра, ни масла, одна скумбрия консервированная и овощное дерьмо в банках, от которого возникает гастрит, переходящий, как стало известно многим жителям нашего города, в язву желудка. К тому же прошли праздники. Перед ними на каждую семью выдали по талонам кое-что

из жратвы: вареную колбасу, ржавую горбушу и по полкилограмма жирной свинины на рыло (лицо). Поэтому торговая сеть после праздников обычно компенсирует свои предпраздничные широкие и даже купеческие, на ее взгляд, жесты. Пусто в магазинах. Разумеется, можно было смотаться в Москву, набрать продуктов, но это потеря двух выходных, стояние в очередях, тоска электричек и так далее. Взяли мы с Федей рыбацкие манатки, казанок, картошки, лука, пол-литра «Старорусской» (наша новая водка), хлебушка, квашеной капусты, соленых огурцов, достали мотыля (наживка), надели свои телогреечки и намылились (сбежали из города) на родимую нашу Оку.

Ах, как тогда, дорогие, клевало! Как клевало! Подлещики походили с ума от весны и заглатывали просто голые крючки. И до чего же это прекрасно, если б вы знали, нормально проработав неделю, рыбачить и не думать ни о чем, расслабившись над поплавком, — ни о пустых магазинах, ни о парторгах проклятых, ни о несправедливостях нашей жизни, когда продавцы и завбазами ходят, ворюги, в бриллиантах и ондатрах (мех), а нас оболванивают байками про коммунизм и тошнотворной трепотней про пятилетку качества, эффективность производства, светлое будущее и широкий размах соцсоревнования. Ведь мы, для того чтобы не рехнуться, привыкли за многие годы пропускать мимо ушей весь этот бредовый треп, за который высшие и мелкие

партийные трепачи сидят по пояс в черной икре и пускают в потолок из двух ноздрей фонтаны «Советского шампанского».

Рассказал я тогда Феде о своей беседе в «верхах» с парторгом.

— Плохое дело, — сказал Федя. — Как был ты, Давид, наивной дубиной, так и остался. Ты думаешь, что он, испугавшись угрозы, отстанет и забудет о твоём существовании? Не бзди (это слово здесь непереводимо, но оно значит не воняй), не отстанет и не забудет. Он начнет изводить тебя, идиотина!

— Ничего, — говорю, — не изведет. Он не страшной войны!

Тут Федя начал мне объяснять, что страшной войны вот такая партийная крыса и что я не академик Сахаров, которого КГБ радо бы испепелить в крематории или сшибить машиной. Меня в два счета сотрут в порошок дружки парторга из областного управления ГБ, милиции и местных бандюг. Сотрут, и ни одна Би-би-си, ни один «Голос Америки» не скажут обо мне ни слова прощания.

— Хватит, — сказал я, — не будем портить себе нервы и рыбацкое настроение. Я стар, Федя, для авантур и путешествий, да и от тебя я никуда не уеду. Если ты сам не зарубишь себе этого на носу, то придется зарубить мне за тебя вот этой кулачиной старого карусельщика. А ты знаешь, на что она способна. Не будь моим парторгом, — говорю, — не будь, не ставь свою голову (при всей ее замечательнос-

ти) мне на плечи, не то я с тобой ухи жрать не стану.

После этого мы рыбачили на расстоянии друг от друга, чтобы не бухтеть (не болтать) и не пугать доверчивую рыбу. Потом молча варили уху, молча выпили по стопке, молча похлебали изумительную юшку, а после второй стопки снова разговорились. Я успокоил Федю относительно себя и заверил, что все будет о'кей, как говорят мои внуки, и неужели он не помнит, как я выкарабкивался из заварушек (ситуаций) почище, чем нынешняя. Неужели он забыл мои сумасшедшие рейды на Воркуту и в Сибирь?

Надеюсь, вы не забыли Фединоного ответа парторгу на его хамское «давай-давай»? Тот старый парторг (сейчас он в ЦК) тоже этого не забыл. Он промолчал тогда, но не сомневаюсь, что успел высмотреть, волк, местечко на Федином горле, куда он вонзит, непременно вонзит желтые клычины (зубы) и рванет ими, раздерет ими живую плоть, чтобы хлынула на землю кровь Фединой жизни. Месяца три прошло, казалось, все забыто. Федя работал себе, станки новые конструировал, рыбачили мы частенько, отводя в разговорах с глазу на глаз душу, пытаюсь разобраться в происходившем вокруг сталинском блядстве. Горлодеры стояли над нашими спинами, что само по себе унижительно для рабочего человека, долдонили (крикливо надоедали): «Давай! Давай!» И конечно, прекрасно — можете мне поверить —

понимали, что именно при такой антинародной бездарной советской системе хозяйствования они смогут жить как рыбы в воде, сыто и долго, до самой старости, до пенсии, успев как следует пристроить в дипломатические, внешнеторговые, партийные и прочие придурочные ведомства своих уже развращенных сытостью и отцовской сановностью детишек. А там — душа из нас вон, пропади мы все пропадом вместе с марксизмом-ленинизмом, на который им всем было насрать в глубине души, пускай после них хоть тыща водородных бомб падает на эту непонятную страну и непонятный народ, покорно впряженный в оглобли пятилеток, железно сменяющих друг друга и не дающих натруженным битюгам и кобылам ни дня передышки... «Давай! Давай! Давай!» Кроме этого мерзкого словечка, дорогие, есть слово еще похитрей и погнусней — «Даешь!»: «Даешь пятилетку в четыре года!», «Даешь Днепрогэс!», «Даешь новый грузовик!», «Даешь тысячу тонн угля сверх плана!», «Даешь Родине молоко и мясо!».

Слово это употреблялось, когда политруки затыкали свои глотки и переставали орать «Давай!». «Даешь!» означало, что это якобы мы сами без подзадоривания и понукания сознательно реагируем на призывы партии и Сталина и сами же как бы говорим себе: «Давай, давай!» Этим идиотским, порой весело звучащим «Даешь!» мы подгоняли себя, как плетью, на почти невыносимых подъемах, авралах и

всяческих трудовых вахтах. И вот что странно, дорогие: казавшееся иногда непосильным, превышающим наши физические возможности дело вдруг каким-то чудесным образом делалось, свершалось, и мы, лошади взмыленные и взмокшие, изумленно переглядывались со своими погонщиками-политруками. Они с ходу мчались докладывать родному и любимому, мчались рапортовать, потом увешивали наши сбруи очередными медяшками орденов и медалей, перепрягали и снова покрикивали: «Давай!» — до тех пор, пока нам это не надоело. Тогда, оглушенные трескливой демагогией, мы от злобы и трудового рабочего азарта включали свое второе дыхание и перли, перли, пока снова не вывозили телегу кровососных планов на новый перевал, откуда погонщики, жмурясь, разглядывали какие-то видные только им одним «блестящие перспективы» и «зримые черты коммунизма».

Федя, когда мы собирались, бывало, с заводскими дружками отметить какой-нибудь праздничек или sprysнуть чей-либо уход в отпуск, вел себя сдержанно, знал, что стукачей на каждом шагу больше, чем лобковых вшей у вокзальной бляди, помалкивал себе, не вступая в разговорчики и не включаясь в острые споры. Но однажды и он сорвался, когда в Москву пожаловал Мао, а Сталин обещал ему построить с братской помощью СССР новый социалистический Китай. Выпил Федя, вдруг затрясло его от бешенства, застучал он кулаками

по столу, но тут же остыл и тихо, с огромной болью в сердце сказал:

— Он как был убийцей, так и остался. А мы все — самоубийцы. Посмотрите, что будет, когда, оторвав от себя, вбухаем в желтого брата сталь, хлеб, станки, технологию, нефть, танки, самолеты и «катюши». Хорошо, если на ветер пойдут только наши кровные миллиарды. Это ладно, хер с ними, с семнадцатого больше потеряли, крестьянам собственным своими руками геноцид устроили. Но вот когда китайцы с лихвой отплатят нам за «бескорыстную интернациональную помощь» вполне национальными атомными бомбами на наши головы и даже еще раньше, когда они, встав с нашей помощью на ноги, обнаглеют по-имперски и приделают самой преступно недальновидной в мире советской компартии глупые, обвислые заячьи уши, вы тогда посмотрите, что будет. Год сорок первый покажется конфеткой, как ни грешно так говорить. Несчастные наши дети и внуки полягут в новом побоище, хорошо еще, если освобождая родную землю от «самого вероломного и жестокого во всей истории человечества врага». Примерно так будут выражаться политические руководители, ответственные за очередную национальную трагедию. Безумцы и преступники. Тупые динозавры.

До сих пор неизвестно нам, какая мразь стукнула на Федю. Вполне возможно, никто не стучал. Просто не могло быть так, чтобы после

ряда откровенных замечаний в адрес заводских транжир и головоотяпов и того разговора с парторгом Раковым Федю не взяли. Взяли, сволочи. Причем взяли так, что никто этого не видел. Сгинул человек, словно сгорел в доменной печи, — и точка. Где я только не искал его (Федя — бессемейный), куда только не писал, какие не обивал пороги — все бесполезно. Сгинул человек. Парторг даже вежливо намекнул мне однажды, чтобы успокоился я и не совал свой нос (какой именно нос, он тогда не сказал, не то я свернул бы ему скулы) не в свои дела.

Месяц нет Феди, три, шесть, год нет Феди, полтора года, год восемь месяцев нет. Каждый день из всего этого времени был для меня, поверьте, я не преувеличиваю, днем глухой тоски, сердечной боли и душераздирающей ненависти к какой-то черной невидимой силе, махнувшей склизким крылом, и вот уже — нет человека. Я научился тогда узнавать по тоскливым лицам, по безнадежному выражению глаз людей, переживших то же, что и я, и стыд сотрясал мою душу оттого, что я не замечал, не узнавал их раньше, занятый своей ударной работой, трудовыми рекордами, рыбалкой и водочкой. Я понял с абсолютной ясностью: если уж в нашем прокопченном, грязном, пьяном промышленном городе столько людей, разлученных со своими близкими, то во всей нашей стране, рвущейся, не переводя дыхания, под знаменем Ленина, под водительством Ста-

лина к светлому будущему, их несметное множество. Хорошо еще, если пропавшие без вести вроде Феди и осужденные страшными, тайными, безликими судами выживали и давали о себе знать. Но каково жить годами без людского участия, с горчайшей мукой неведения в сердце насчет судьбы близкого тебе человека?

Представьте себе, дорогие, что в один прекрасный день ваш Джон пошел, например, развлечься на биржу или в публичный дом. Час ночи, два, три, на бирже уже никого нет, публичные дома тоже должны, на мой взгляд, сделать перерыв, а Джо все нет и нет. Вы обзвонили весь белый свет, у вас это просто, наняли гвардию сыщиков для поиска, поместили объявления в газетах об огромном вознаграждении, но все впустую, доллары ваши, хотя плевать на них в таких случаях, летят на ветер. Приятно вам было бы?

Думаю, что вам очень было бы неприятно и очень больно. Ведь если у вас всякие мерзавцы и ублюдки похищают богатых дядей, тетей и любовниц, то вы хоть выкупить их можете, если, разумеется, вам они милы и дороги. А нам как быть?

В общем, сваливается на меня однажды, на втором году неведения и потери надежды, как снег на голову весточка от Феди — письмецо без конверта и марки, измызганный, измятый треугольничек.

С комком слез в горле я велю Вере сию минуту бежать за бутылкой. Пока она ходила, я

сидел за столом и смотрел на письмецо. В каких только карманах оно, наверное, ни повалялось, через сколько добрых рук прошло, какой путь проделало, пока не попало в мой почтовый ящик. Оно лежало там между тошнотворной «Правдой» и журналом «Советские профсоюзы».

И вот с комком в горле смотрю на него и, поскольку адрес написан был Фединой рукой, думаю, надеюсь, что все с ним в порядке, руки-ноги целы, честное сердце не разорвано, светлая голова по-прежнему на плечах. Боже мой, если бы вы знали, какое множество таких самодельных конвертиков отправил я Вере с фронта! Не меньше пятисот, если не больше. И вот выпили мы с ней по стопке за здоровье Феде и чтобы нам дожить до встречи друг с другом, и я, протирая ежесекундно глаза, разгладил листки в клеточку.

Он ничего не писал о подробностях дела. Благодарил судьбу за то, что пережил следствие и не сошел с ума, хотя общее здоровье пострадало не на шутку. Впрочем, шутил он, если бы сейчас на нарах оказалась теплая толстушка, то он не ударил бы лицом в грязь, силенки еще имеются, я в этом могу не сомневаться. Он там на общаке (общие работы). Мастер стройучастка. Со жратвой худо. Север. Цинга, так как отсутствуют лук и чеснок. Народ разный. Блатные, полицаи, бывшие в плену, власовцы, растратчики крупных сумм, шпионы, вредители, троцкисты, верные ле-

нинцы, политруки, преданные лично Сталину, знаменитые артисты-педерасты (живут с мужчинами) и прочая шобла. Сидеть Феде осталось двадцать три года, два месяца и семь дней. Главное, писал Федя, отбарабанить семь дней, а годы и месяцы — хуйня на постном масле (кукурузном), вкус которого он уже позабыл. Федя много шутил в письме, конечно, для того, чтобы мне не было мучительно горько, и даже написал стихи: если в городе есть морг — будет в нем лежать парторг.

Перечитал я письмо раз, радуясь тому, что жив, слава богу, мой друг, перечитал второй раз, третий и десятый, пока не обиделся и не возмутился. «Мерзавец! Негодяй! Скотина!» — сказал я. Он ни о чем не просил. Ни денег, ни посылки, ни лекарств, ни книг — ничего ему не было надо. «Скотина! За кого он меня принимает, — спросил я Веру, — за говно-собачье? Я ему покажу!»

И я велел Вере незамедлительно готовить меня в командировку в северные края, в заводской поселок под Воркутой, где волок (отбывал) срок Федя. Моя жена имела от страха неосторожность заметить, что, кажется, Федор мне дороже семьи, детей, жизни, работы и покоя. Я взглянул на нее так, что она онемела на целые сутки. Я любил и люблю, дорогие, жену, ребят, свой карусельный станок, рыбалку, грибную пору, футбол, рюмочку и иногда дамочек, бросающих вызов моей мужской чести. Все это я люблю и уважаю. Однако, сказал

я Вере таким тихим голосом, что она буквально затрепетала, если бы не Федя, дважды спасший мне форменным образом жизнь, я не спал бы с ней, не зачал бы наших детей, не содержал бы семью и не продолжал бы уже много лет являться самим собой. Разве же непонятно, как потрясается и не может забыть потрясения душа человека, спасенного другом? Ведь он сам рискует всей своей жизнью в миг, когда, не задумываясь о последствиях, когда, забыв о себе, ради твоего спасения бросается на почти верную смерть, плюя на ничтожно малое количество шансов выкарабкаться целым и невредимым из страшной заварушки? Разве, говорю, тебе непонятно это, старая безмозглая курица?

Кстати, оба раза я умолял Федю бросить меня, идиота, к чертовой матери и уносить быстрее ноги, но он приставлял во гневе кулак к моей роже и командовал: «Цыц!» (молчи). Я дважды должен жизнь своему другу, поэтому я его беззаветно люблю, чувствую вину и сладостный страх перед непостижимостью человеческой души, способной, рискуя собственным существованием, вытащить из могилы другого.

Вы спросили у меня, дорогие, что это я так часто вспоминаю в своих письмах Бога, верую ли я, а если верую, то в какого именно бога и с каких пор? Отвечу вам коротко и просто. Если я всей душой до конца моих дней благодарен другу за спасенную жизнь, то кого же мне бла-

годарить вообще за появление на белом свете, за радость жить и за силу оставаться, несмотря ни на что, не самым худшим из людей, кого же мне, повторяю, благодарить, как не Бога? А насчет того, в какого именно бога я верую, отвечу следующим образом: думаю — на небесах нет политбюро и чего-то вроде Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина — Хрущева — Брежнева, так что выбирать себе бога, подобно тому как многие люди выбирают себе занюханых кумиров и поклоняются им, слепые кутята, теряя человеческое достоинство и верный взгляд на свою природу, лично я не собирался и не собираюсь делать это в будущем.

Я всегда полагал, пораскинув мозгами и прислушавшись душой, что Отец у нас, что Бог, сотворивший всех нас заодно с цветами, рыбой и прочими живыми тварями, — один. Один! И это — замечательно! Вот Его я и люблю.

Что касается Феди, сказал я тогда Вере, то на днях я вылетаю к нему. Беру отпуск. Я твердо велел собрать необходимое: смену белья и рубашку, а для Феди мои теплые вещи, рукавицы собачьи, кашне, японские трофейные шерстяные кальсоны и дубленую душегрейку.

Затем что я делаю? Подаю заявление об уходе в отпуск. Желая, написал, провести отдых на зимней рыбалке, а во-вторых, устал и разболелись фронтовые раны. Мне всегда шли в цехе навстречу, потому что я сам всегда ста-

рался так поступать с людьми в бытность свою предпрофкома и предместкома. Я был в цехе примерно такой фигурой, как ваш Джордж Мини, если, конечно, меня уменьшить в миллион раз. Заказываю билет. Изучаю на карте местность, где сидел Федя. Север, морозы, ужас.

Затем сажусь на электричку и еду в Москву. Никогда не любил я Вериного брата Яшу, но ради такого случая решил поклониться. Яша — прохиндеище (полугангстер) и жулик в нашей торговой сети. Директор продуктового магазинчика. Но говорить об этом дерьме мне не хочется. Жулик есть жулик, хотя он оправдывает себя полной невозможностью работать честно в советской торговле, не наживаться на излишках, пересортице, продаже левых (ворованных на мясокомбинатах и т. д.) продуктов, спекуляции дефицитом и прочих махинациях. Я привез от Яши, которому в споре о советской власти чуть не начистил рожу, тушенки, топленого масла, витаминов, пару бутылок коньяка, корейки и еще кое-какой бациллы (в лагерях так называют жирные вкусные вещи). А спор у нас с Яшей, с этой рыжей наглой тварью, вышел из-за советской системы жизни. Яше она исключительно была по сердцу, я же утверждал, что она — говно, созданное специально для благоденствия жулья, спекулянтов, взяточников, генералов, партийных придурков, балерин, футболистов, шахматистов и лживых писателей. И что нет ничего

легче, чем разворовывать так называемую социальную собственность, якобы принадлежащую народу. Я вам, дорогие, напишу как-нибудь о железной круговой поруке торговой сети нашего города с горкомом партии, милицией, прокуратурой и КГБ. На этом пока вынужден кончить, ибо один еврей летит на днях в Вену, я должен помочь ему собраться и отправить с ним эту часть письма. О том, как я съездил в Воркуту, в следующий раз.

Продолжаю в третьей главе свое третье письмо, из которого вы узнаете, что произошло после моего разговора с партторгом, нафаршированным, по его словам, марксизмом-ленинизмом и беззаветным интернационализмом.

Если вы не забыли, Федя на рыбалке уговаривал меня не дразнить гусей и быстро намыливаться, подав на выезд. Я не желал принимать его рекомендации близко к сердцу. Зачем? Я никуда никогда не собирался. Я спокойно готовился отдать себя тихой старости и несколькими скромным удовольствиям. И хоть город наш дрянь и хозяйничает в нем изворовавшееся и изолгавшееся дерьмо, жизнь везде есть жизнь, и главное все-таки, скажу вам от чистого сердца и громадного опыта, больше любить ее, чем ненавидеть всякую шуштуру (шоблу), без которой жизнь конечно же была бы окончательно ослепительной и прекрасной.

Но ладно. Я снова отвлекся. Итак, иду в

отдел кадров подавать заявление. Не поднимая на меня глаз, читал его бывший начальник горуправления МВД Кобенко, слетевший с поста за попытку прикрыть за взятку дело о крупных хищениях на оптовой базе. Всем нам было известно, что до 12.00 дня в кабинет к нему лучше всего не заходить. Злой бывал, как обоссанный поросенок, пока не опохмелится. Опохмелялся же у себя в кабинете. Приводил в порядок сердце, голову и печень с 10.00 до 11.30. Раскачивался, подлец, сосуды расширял. Но, пока не расширились они, гиблым было делом получить даже справку с места работы. Но справка-то, хрен с ней, со справкой. Кобенко минут десять смотрел на тебя мутными красными бельмами, молча, с хмурой ненавистью и брезгливостью. Затем эта падла доставал из сейфа твой учетный листок, который все называли кандибобером, и еще минут двадцать тщательно его изучал. Похмыкивал при этом, посапывал, поскрипывал зубами, вопросы дурацкие задавал с большим значением, как бы давая тебе понять, что ты давно уже, мудила, попал в искусно расставленные ловушки, что запирательства твои бесполезны, коготок завяз — всей птичке пропасть, сколько веревочке ни виться — тайное станет явным, и нет такой крепости, где большевики просили бы милости у природы, если она не сдается, когда ее уничтожают те, кто не с нами и против нас. Примерно так он трепался, подозрительно и злоехидно уточнял, есть ли родственники за

границей, были ли они или ты сам на оккупированных врагом территориях и слушаешь ли по радио вражеские голоса. Промурыжив и почти доведя до белого каления свою наивную жертву, гнусный Кобенко между делом просверливал ее невинным вопросом: куда нужна справка, кому и зачем? Человек терялся и, я уверен, в два счета подписал бы протокол о том, что им сделана преступная попытка получить справку с места работы с целью дальнейшей передачи последней в ЦРУ, Джойнт, Пентагон, «Голос Америки» и НТС. Хорошо, если в твоём кандибобере (досье) не имелось порочащих тебя выговоров, сведений о «нехороших настроениях», отсутствии энтузиазма при давнишних подписках на займы и о невыходе на грабительские бесплатные субботники в честь дня рождения все того же вечного именинника — Ильича. Тогда тебе в конце концов выдавалась справка. Но садист полупьяный доходил, бывало, до того, что требовал запроса с «места истребования справки». Вот что делал, сволочь!

Я же внаглую приперся к Кобенке ровно в 10.00 утра, когда он не успел еще рухнуть в свое кресло. Приперся и сунул ему в рыло заявление. Долго его читал Кобенко, очень долго, но я ведь не солёный огурец, я был больше чем готов к этому и вдруг испуганно спрашиваю:

— Что с вами? Что с вами?

— Что? Как? Что? Как? — всполошилась мерзкая бюрократина.

— Жилы, — говорю, — вспухли на лбу! Белки пожелтели! Удар сейчас будет! — Вынимаю из кармана чекушку (250 г) самого сивушного самогона, нарочно не очищал его, всовываю горлышко прямо в глотку Кобенки, трясу его за грудки. — Пей! Пей! Не то подохнешь! — втолковываю.

И что бы вы думали? Вбулькал, засосал в себя Кобенку всю чекушку сивухи, засосал, занюхал моим заявлением, отдышался и расплылся.

— Спасибо, — говорит. — Все-таки среди вас есть неплохие люди. Уволим тебя быстро. Не сомневайся. Но давай без фокусов и этих самых *ваших* штучек. Ты ведь скрыл от советской власти и родного завода, что имеешь родственников в самом центре империализма, в Лос-Анджелесе. Вчера по программе «Время» Валентин Зорин объяснял, как там беднячки с голоду умирают, работы по десять — двадцать лет не имеют и слюни глотают, глядя на витрины ювелирных магазинов. Понял?

— Понял, — говорю. — Бегунок давайте.

Бегунок — это обходной листок по всяким инструменталкам, библиотекам, кассам и так далее.

— Вот тебе, Ланге, бегунок. Твое счастье, что о родственниках поздно узнали мы. Поздно. Не то были бы у тебя неприятности, несмотря на твой большой стаж, честный труд и рационализаторские предложения. Нехорошо. Извини, что икаю. Перебрал вчера... Кем там и где работают твои империалисты?

— Половина, — говорю, — нигде не работает.

— Вот видишь! А ты у нас ни дня без работы не был. Вторая половина что делает?

— Вторая половина, — отвечаю, — вынуждена трудиться, ибо она в отличие от первой еще не вышла на пенсию.

— Место их работы? — возомнив себя после моей сивухи большим чекистом, спросил, закуражившись, Кобенко.

Терять мне было нечего. Вы уж извините, дорогие, но я брякнул:

— Пентагон, ЦРУ и котельная в ООН.

— Этим пускай занимаются другие органы. У меня своей работы по горло. А мне вот интересно, с чего это вдруг ты, Ланге, сионистом заделался? — спросил Кобенко.

— Что значит — сионистом? — говорю.

— Евреем, так сказать, и уехать хочешь.

— Евреем я всегда, — говорю, — был. Не скрывал и не смазывал происхождения. И умел вот этой кулачиной затыкать глотку тому, кто прохаживался на мой счет. Ехать я никуда не собираюсь. Поздно мне ехать. Я всю жизнь проработал и теперь рассчитываю отдохнуть.

— Все вы так говорите. А на заводе и в городе уже происходит лишняя утечка евреев, — обиженно сказал Кобенко. — Чем вам тут плохо? Зубы дергаете, в НИИ денежки гребете, в таксопарке директор из ваших, учителя

есть, завмаги, только ты, Ланге, белая ворона: рабочий.

— Я, — говорю, — такой квалификации карусельщик, что могу с бабочки пыльцу резцом снять, и она этого не заметит. Бывайте здоровы.

— Бывай, Ланге. Но подписочку ты мне оставь, что не собираешься закатывать в общественных местах свой уход на пенсию. Не баламуть воду. Нам стало известно, что ты ищешь повод для публичного выступления. Давай теперь моей «винтовочки» пшеничной глотнем. Оставляй мне подписочку и оформляй расчет.

— Ничего я подписывать не собираюсь, а парторгу Ракову, который, я вижу, устраивает вокруг меня нехорошую возню, передай, что он найдет приключение на свою жопу. Непременно найдет, потому что ищет. Так и передай.

— Не лезь на рожон. Советую по-дружески. И от Пескарева держись подальше. Ты ведь не враг наш, я чую, а тот — махровая нечисть и антисоветчина. Держись подальше.

— Спасибо за совет, — говорю, — но мы больше тридцати лет корешуем (дружим). Светлей головы и благородней сердца я не знаю. Если бы все русские люди были такими, как Пескарев, то ручаюсь, что бардака в России не было бы вообще, да и люди не грызли бы глотки друг другу, как волки.

— А ведь ты и вправду нафарширован черт знает чем, Ланге. Больше не о чем нам

трепаться. Можешь идти, пускай тобой занимаются... там. Спасибо тебе за первачок. Хорошо от него. Иди, — говорит Кобенко.

Конечно, по цеху, да и по всему заводу моментально слух прошел, что ухожу я на пенсию. Потирают руки весело братья пролетарии и говорят: «С тебя, Давид, причитается, но и мы за бутылкой не постоим. Когда проводы?»

А что мне было отвечать? Я ведь почувствовал, что прячут от меня глаза члены Совета ветеранов труда, профсоюзные боссы и месткомовцы. Прячут глаза, не заикаются даже о вечере во Дворце культуры имени Ленина, в котором уходящих на пенсию рабочих торжественно провожают начальство, молодежь и друзья. Преподносят им всякие идиотские, смешные и полезные подарки, выступает самодеятельность, всем весело и приятно, а потом свежеиспеченные пенсионеры приглашают не весь, конечно, зал, но самых близких друзей и родных врезать по стопке, закусить и спеть старые песни в малом зале, где уже накрыли жены и дочери скромные столы, и в душе у многих праздничное, хотя и грустное немного чувство.

Я сделал вид, что меня абсолютно не волнуют пышные проводы, о которых, если говорить честно, я мечтал как мальчишка. Ведь я кончал трудиться, я бросал труд, который позволял мне уважать себя как мастера, который даже в голодную послевоенщину веселил и радовал мою душу, который я любил, как крестья-

янин — землю, летчик — небо, хоккеист — шайбу и так далее. Разве не праздник — день, когда ты перестаешь быть рабочим человеком? Праздник! Надо, не сетуя, расставаться в положенное время с женщиной, с трудом; с вином, со своими физическими возможностями, которые всю жизнь не по-хозяйски нещадно разбазаривал, но если бы не разбазаривал, то вообще не ведал бы, как некоторые, что возможности существуют, вот какая штука. Надо, одним словом, расставаясь с чем-либо, радостно и мудро встречать новые самочувствия, включая старость и смерть, если, разумеется, Бог пошлет их нам, сохраняя в нас простоту и достоинство.

Трудно это, невероятно трудно, но когда ты превозмог тоску уныния по прошедшему, ты найдешь столько неожиданных радостей в оставшемся времени жизни, что подумаешь пораженный: недаром с первых своих шагов мы завидуем старшему возрасту.

Итак, я беру расчет. Удивленным этим фактом заводским людям объясняю свое увольнение плохим состоянием здоровья и желанием посвятить остальную жизнь рыбной ловле. Беру расчет, но перед окончательным уходом из цеха прибираю свою старую карусель, свой станок, вылизываю его соляжкой и ветошью, продуваю все пазы станины сжатым воздухом, чтобы ни стружечки там не было, сажусь на нее, ставлю рядом чекушку, кладу пару пирожков, помидорину, лучку зеленого, достаю из

своей старинной рабочей тумбочки пару стопок, наливаю станку на прощание, наливаю себе, чокаюсь с ним, спасибо тебе, дорогой, говорю мысленно, спасибо. После жены, детей и друга больше всех я любил и люблю тебя, будь здоров. Выпиваю стопку, вторую выливаю на станину, никого из-за слез не вижу вокруг, сижу, задумавшись, и вспоминаю по крошкам все свои рабочие годы, черные и светлые дни, счастье своих рабочих рук, умевших, слава богу, делать по-человечески то, что им приходилось делать, вспоминаю полезные общему делу инженерные мысли своей не такой уж глупой головы, и не мешали тогда почему-то моим воспоминаниям всплывавшие в них парторговские и директорские рожи и обидные для рабочей совести словечки: «Давай! Давай! Давай!»

Еще по одной выпили мы с каруселью моей дорогой и старой, взял я в руки себя, встал, прощай, говорю, спасибо, помирать начну — встанешь ты перед моими глазами, посажу на тебя всех близких своих, и будет это последним из всего, что пришлось увидеть мне, пока я был жив, на земле, прощай.

Вздыхнул, слезы смахнул, огляделся. Стопились вокруг меня и моей карусели друзья по цеху — рабочий класс, — все те, кого знал тыщу лет, и малознакомые, молодые люди. И вам, говорю, спасибо. Станок с собой не прихватишь, поэтому я с него начал, а вас жду

у себя в субботу, милости прошу, приходите, вы мне лучший подарок.

От идеи устроить банкет раз в жизни в кафе или в ресторане я отказался с самого начала. Вера моя хоть и курица, но не глупа. Она правильно рассудила, насквозь видя советскую жизнь, что в ресторане обдерут, как зайца, говна подсунут неполные порции, водку и вино разбавят водой, нахамят, и все это втридорога. Дома лучше.

Но что же оказывается, дорогие? Что вдруг чуть не подкосило меня, когда я узнал, что парторг и начальник цеха вызывают к себе по одному моих приятелей и просто запрещают идти ко мне в гости. Я, дескать, человек с двойным дном, сионист, собираюсь в Израиль, и надо мне испытать всю меру рабочего презрения как двурушнику, темниле (мошеннику) и, возможно, «пятой колонне». Фомин, Буряков, Загоскин, Пудовилов и еще человек десять сами после разговоров с начальством пришли и обо всем мне рассказали. Кроме того, их предупреждали, что нахождение в одной компании с Пескаревым — не такое уж безобидное дело, поскольку он ярый антисоветчик, умело скрывающий свою сущность и только и ждущий момента вцепиться в горло советской власти или выйти из-за угла с бандитским ножом.

Я поначалу впал в бешенство. Разбил стул о половицу и хотел бежать в партком чистить рыло Ракову. Хотел послать Брежневу письмо с перечислением всех раковских паскудств от

полового разбоя с использованием служебного положения до получения взяток за квартиры и садовые участки. Потом подумал, при чем тут Брежнев? Что он сам, что ли, из другой породы? Из той же. Только побойчей, понаглей, поподлей и понапористей. Был бы он иным человеком по натуре и мыслям — не расплодилось бы вокруг в последние годы столько откровенного вора, столько хапуг и лгунов, прикрывающихся чинами, партбилетами и пускающих нам пыль в глаза призывами и лозунгами. Плевать. Разве хоть раз за всю историю советской власти читал я в газетах отчет о судебном заседании по делу разложившегося парторга? Не читал. И не прочитаю. Плевать! Ничего нового в принципе мне не открылось.

— Ребята, — сказал я, — плевать нам на них, но не желаю я подводить вас под монастырь (делать подлость). Не желаю. Я на пенсию выхожу, а вам еще работать. Зачем неприятности, дерганье нервов и прочие штучки. Лишняя рюмка не сделает моего отношения к вам прекрасней. Я и так вас всех люблю и уважаю. Пусть Раков подавится моими проводами. Душа из него вон. Отметим как-нибудь втихаря, на рыбалке.

Обидел я ребят поневоле. Правда, хотел сделать лучше не для себя, а для них. Обидел. «Скотина ты, — говорят, — готовь стол и ни о чем не думай. Ракова мы ебем в его гнилую душу!» Именно так они и сказали, могу ли я из их песни выкинуть хоть словечко?

Вову с женой вызвал из Москвы на празднество и тут же обещал пойти в жэк заверить разрешение.

Вы спросите, почему я никогда ни слова не пишу о своей дочери Свете? Почему не вызвал ее, как Вову? Отвечу в двух словах, остальное при встрече. Ее как испортили душевно в детском садике, внушив, что дедушка Ленин самый хороший, самый благородный, самый умный и самый живой человек на всем белом свете и никогда не умрет, так дочурка моя помешалась на этом бандите с большой дороги, на этом любимом папе всех нынешних террористов, убийц и похитителей. Просто помешалась. Она была неглупой, славной девочкой. Я думал, пройдут все эти несерьезные штучки, переболеет Света портретиками Ильича, расклеенными ею над кроватью, так что места живо-го на стене не хватало, переболеет идиотскими полоумными стихами о добром дедушке, желавшем счастья всем людям, светившемся самой скромностью, простотой и сердечным вниманием даже к мелким людским нуждам, переболеет, надеялся я и старался не травмировать детскую душу, в которой мерзкая пропаганда подменила неременную тягу к чему-либо истинно святому поклонением лживому идолу. Светочка буквально молилась на него, зачитывалась книгами, от которых лично меня тошнило, по двадцать раз смотрела фильмы вроде «Ленин в Октябре». Школа только закрепила в ней уродливое чувство, заслонявшее —

я замечал это — живую жизнь, жизненные отношения, извращавшее нормальные привязанности к матери, к дому, к брату, к отцу. Она дрожала от негодования и презрения, когда я привычно говорил по какому-нибудь немаловажному поводу: «Даст Бог», «Не дай Бог», «Слава Тебе, Господи».

— Все, что у тебя есть, отец, тебе дал Ленин, — говорила Света — активная комсомолка. — Без Ленина кто бы ты был? Что было бы с миром? Каждая секунда подтверждает правильность его учения...

Спорить со Светой было невозможно. В спорах мне помогал Федор. Он вежливо по косточкам разбирал «великое учение», предлагал Светиному вниманию документальные факты — свидетельства чудовищной кровожадности и аморальности ее любимца, но все бесполезно. Бесполезно. Фанатики мне напоминают слепых от рождения людей. Разве можно им доказать, что белое — это белое, а черное — не красное? Нельзя. Единственный цвет, который мог бы безошибочно воспринять и навек запомнить фанатик, — оранжево-золотистый, но для этого фанатику нужно сначала врезать по лбу дубинкой, чтобы у него искры из глаз посыпались. Вот они-то и будут оранжево-золотистого цвета.

Однако хоть Света моя и была фанатичкой в полном смысле этого слова, я не мог пойти таким путем, не мог вроде бы с помощью праведной силы вышибить из ее души идолов, вы-

жечь их след, а потом устроить в Светиной голове сквозняк, чтобы она открыла заложенные глаза, чтоб она с ужасом убедилась в полном несоответствии картины действительной жизни со всякими сладкими посулами и ленинскими проектами и стала нормальным человеком, называющим белым белое, кроваво-красное не светло-розовым, а кроваво-красным и достойно, как все мы, несущим свой крест.

Одним словом, чтобы жизнь в ее глазах была такою, какая она есть на самом деле, а не такой, какой она кажется людям, изолированным от всех живых источников знания действительности, чьи глазки давно заплыли жирком, страхом и грязным цинизмом. Так формулировал Федя, а я был во всем с ним согласен. Что, вы думаете, отвечала на это моя бывшая дочь? Она спокойно, но несколько побледнев, отчего ее лицо становилось отвратительно красивым, говорила:

— Двадцать лет тому назад я не задумываясь отнесла бы запись нашего разговора в органы. Вы негодяи и политические трупы! Вы пользуетесь моей либеральной порядочностью! Почему бы вам не выйти на площадь и не сказать в открытую все, что вы думаете? Вы не видите ничего дальше своих поплавок! Вам плевать на то, что необходимо делать людей счастливыми, освободить от ярма капитала и унижительной потогонной системы! Вам плевать на голод в Африке, на кровь во Вьетнаме, на то, что миллиардеры живут в неслы-

ханной роскоши, а в Нью-Йорке крысы едят негритянских детей! Вам на все плевать! Мещане! Сытые, тупые мещане. Может быть, вы все-таки выйдете на площадь? Улыбаетесь? Страх — лучшее свидетельство вашей политической слепоты и неправоты. Рыбаки и алкоголики!

— Однажды Федор Петрович, — заметил я, — сказал парторгу все, что он думает о нем и о его партии. Знаешь, дочь моя, чего это ему стоило? Одного легкого, двадцати девяти зубов, пятидесяти процентов зрения, отмороженных рук и золотого цвета волос. Ты слышишь, уродина?

— Эрнесто Че Гевара отдал за свои убеждения и действия жизнь, — ответила Света. Портрет этого освободителя народов тоже висел над ее кроватью.

После одной из подобных бесед, дорогие, Света убежденно сказала, что больше я ей не отец, что она ненавидит меня как олицетворение темной и злой силы, мешающей человечеству расправить крылья и лететь над болотами жизни к обетованной земле коммунизма, где один смеется, а сорок девять тонких, звонких и прозрачных горько плачут и невесело поют. Последние слова добавил, разумеется, я и дал Свете по морде. Дал от обиды и чистого отцовского сердца, о чем ни капельки не жалею. Но вы бы посмотрели, что было тогда с матерью Светы! Она харкала кровью и билась в истерике. Она выла на весь дом:

— Господи, за что? За что ты послал мне такое горе, Господи! Лучше бы она родилась мертвой!

— Не плачь, мать, не вой, — сказал я тогда, — не одних нас поразила в самую душу, в самую плоть эта страшная зараза. Пусть живет эта дамочка. Ей ведь жить много лет, а не нам. И, не к нашей радости, верь мне, она еще получит свое.

— Не дождетесь! Куска хлеба больше от вас не возьму! Вы не стоите двух букв из его сочинений!

Света имела в виду сочинения Ленина. Она действительно ушла со второго курса своего истфака на службу пионервожатой. Сама питалась, сама одевалась, разговаривала с нами как чужая, обещала скопить денег и построить себе кооператив. До меня доходили слухи, что участвовала в облавах на каких-то бородатых художников, была однажды, а возможно, и не однажды, при обыске, писала статейки в областную молодежную газетенку, но по части жить с кем-нибудь — ни-ни. Чего, казалось мне, не было, того не было.

Видите, что получилось из моего желания рассказать вам вкратце об отвратительных отношениях отца и дочери? Ровно десять лет мы не сказали друг другу ни слова. Ровно десять лет. Когда наши политические руководители почувствовали в 1968 году, что если так дело пойдет дальше, то и у них задымится земля под ногами, а следовательно, недопустима по-

пытка чехов переделать полицейское мурло социализма в человеческое лицо, и захватили бедагу Чехословакию, я сказал Свете последнее свое слово. Это случилось после того, как я услышал по «Голосу» об избииении и аресте молодых людей, вышедших на Красную площадь и сказавших откровенно все, что они думают по поводу гнусного вмешательства сильного хама во внутренние дела маленького народа, возмущенного уродствами образа своей жизни.

— Вот что делают с теми, кто выходит на площадь, — сказал я.

— Это честнее, чем трепать языком за бутылкой и держать фигу в кармане, — ответила Света.

О, какой счастливой, довольной и радостной она была в те дни! Вечерами не отходила от радио, зарывалась с утра в газеты, кому-то звонила, поздравляла, обсасывала подробности, сожалела, что Дубчека публично не повесили, мерзко орала в трубку: «Ленка, наша взяла!.. Валька, включи радио!.. Юрка, ты читал? Ты так проспишь все на свете, балда несчастный!»

Может быть, это было жестоко и не по-еврейски, но я не выдержал и попросил Свету убраться из дома к чертовой матери, чтобы я не слышал мерзостей и мог сменить обои, заляпаннные идиотскими лозунгами и вспухшими от времени портретами благодетелей человечества, замызгавшими стены моего жилья.

Комнату тебе, добавил я, буду оплачивать, ибо ты уходишь из дома по моему желанию. И дело, говорю, не в том, что у нас разные взгляды и симпатии. В тебе не только нет человеческих чувств к тем, кто дал тебе жизнь, но ты, ко всему прочему, нас ненавидишь, ты стыдишься нас и нашей фамилии. Ты краснеешь, когда ее слышишь, мне рассказывали об этом учителя, и, уверен, продала бы нас на грязном базаре в обмен на другую фамилию. Ты и сейчас краснеешь, ибо я говорю правду, которую ты запикиваешь обратно в свою совесть, как я запикивал однажды на балу во Дворце культуры вывалившиеся из носков тесемки кальсон...

Света охотно ушла. Ушла без скандала, но мать глубоко задела и оскорбила, сказав, что она погубила свою жизнь, хлопоча на кухне и штопая мне носки, что она прожила в рабстве под пятой темного и тупого человека, сосредоточившего все свои интересы на рыбалке, друзьях, водке, телевизоре и в забивании козла (домино). Я напоследок ответил, что лучше жене быть в чудесном рабстве у любимого мужа, чем любить сушеного сифилисного идола и напоминать собой сумасшедших, которые живут как во сне, ничего не видя вокруг и стараясь не замечать фактов, тревожащих их бесконечные сновидения.

Света ушла. Она работала, училась, вертелась в райкоме комсомола, я платил за комнату, а мать — эта старая добрая курица — тайком от меня подбрасывала ей деньги и тряпок.

Могут ли у вас быть, дорогие, такие явления? Впрочем, что я спрашиваю? А Патриция Херст? Ей-то чего не хватало? Я понимаю, не хлебом единым сыт человек, но вот что я, однако, заметил, размышляя о наших странных временах и глядя задумчиво на поплавок: очень трудно поймать хорошую рыбку на плохую наживку. Вернее, не трудно, а невозможно. Точно так же черти берут на удочку человека. Ведь не предложишь человеку в качестве наживки откровенное чертовское зло? Правильно? Только преступники-выродки клюют на него. Но вот на хитрую пилюлину, внутри которой притаилось смертельное, острое зло, а снаружи она приманивает нюх сладким и аппетитным добром, человеческие души клюют зачастую моментально. Не успевают их подсекать всякие ленины, сталины, гитлеры, мао цзэдуны и прочие политруки. Клюют люди, а потом выпучивают белые от безумия глаза на небо, и растопыривает ихние жабры жуткое внезапное удушье. Я не могу иногда, как хороший рыбак, не восхититься хитрыми чертями, которые сначала шибко и умело взбаламучивают воду жизни. Люди при этом, подобно рыбам, не то что хлеба насущного не видят и кислорода не чуют, но и не соображают, наверное, в кромешной тьме, где дно, а где небо. Поэтому мечутся люди в поисках пищи и света, и самое теперь легкое — воспользоваться этим неистребимым, невнимающим рассудку инстинктом, наживить красного мо-

тыля на загнутое, чтобы рыбине не сорваться с него, острое жало и, зная, что клюнет вот-вот стерва, ждать (ведь секунду назад было рано, а через секунду будет поздно), ждать и подсечь именно в тот момент, когда, мгновенно распознав смертельную опасность, рыбина еще успеть могла бы сорваться с крючка, могла бы спастись...

Последнее время регулярно недосыпаю, так как должен дописать вам до конца обо всем. Голова иногда идет кругом: так много накопилось, а излагать трудно, и я жалею, что не вступил в свое время в литературный кружок при Дворце культуры. Но ничего. Даст бог — вывезет. Сейчас я опишу вам с некоторыми любопытными подробностями мои проводы на пенсию. Подсчитали мы с Верой гостей. Основных набралось пятьдесят с лишним человек, а тех, кто заглянет на стопку случайно, набралось бы, вероятно, не меньше, если не больше. Подбили сумму расходов. Прикинули приблизительно меню. У нас в нашем засраном городе не имеется, как у вас, супермаркетов на каждом шагу. У нас есть всего один универсам, по полкам которого изредка прыгают сардинки за ставридками и скумбрия за рыбными тефтелями. На месте мясного отдела продают скороварки, мясорубки и детские ночные горшки. Недавно в этом универсаме нескольких женщин арестовали и вломили по пятнадцать суток. Знаете за что? Возмущенные торговой пустотой огромного поме-

щения, они потребовали книгу жалоб и предложений. Им нахамил, конечно, директор, но книгу после ряда издевательств и угроз выдал. Тогда женщины на глазах у толпы, не знающей, кого бы ей сожрать от злости и гнева вместо отсутствующих продуктов, разорвали на части книгу и в знак протеста на глазах каких-то иностранцев, щелкавших фотоаппаратами, слопали в один присест и жалобы и предложения. Ни одного листика не осталось в довольно-таки пухлой книге. Тут кто-то крикнул вдобавок:

— Конституцию брежневскую пора сожрать! Она пожирней будет!

Если бы, на беду, протестанток в магазине не было иностранцев с их вездесущими аппаратами, то все, очевидно, обошлось бы. Но при сложившемся обороте дел милиция по звонку КГБ забрала и «незадачливых фотографов, и нарушительниц порядка, поддавшихся на провокации сионистских и диссидентских провокаторов», как потом выразилась газета нашего города «Рабочее знамя». Иностранцы оказались чехами и поляками, приехавшими перенимать передовой опыт советской торговли и нарпита, с делегацией от своих профсоюзов. Пленку у них отобрали, проявили, выявили главных едоков жалобной книги среди женщин и влупили съевшим с первой по пятую страницу по пятнадцать суток ареста, а остальным по десять. В книге было пятьдесят шесть страниц. Но посадили всего восемнадцать

женщин. Тридцать восемь из них оказались беременными, матерями-одиночками, больными на больничных листах и старыми пенсионерками. После этого одну половину универсама отвели под горпункт по приему пустой посуды, а вторую половину под винно-овощной отдел и бюро «Спортлото».

В общем, прикинули мы меню, и стало ясно, что необходимо ехать в Москву унижаться перед воровской рожей нашего родственника Яши. Без него проводы были бы не проводами, а грустными поминками по селедочке, колбаске, шпротам и баклажанной икре. Можно было, конечно, обойтись без этого прохиндея (говнодава), но пришлось бы толкаться в очередях по два-три часа и к вечеру сосать валидол, прислонившись к стене Музея Ленина, что около ГУМа. Я направился, как всегда в таких случаях, в культотдел профкома завода.

— Готовьте, — говорю, — экскурсию. Пора пришла.

Поясню вам теперь вкратце, что такое «экскурсия». Профком выделяет большой автобус, а то целых два или три. Составляются списки передовиков производства, почувствовавших необходимость побывать в мавзолее, музеях революции, Ленина и Вооруженных Сил. Рвались на эти экскурсии почти все рабочие и служащие, писали заявления, где клятвенно заверяли, что жить больше не могут без Мавзолея и Выставки достижений народного хозяйства. Но места в автобусах выделялись самым луч-

шим, самым активным, стукачам, разумеется тайным, вроде моего соседа, агитаторам и воинствующим атеистам. Меня обычно назначали руководителем экскурсии. Почему, вы поймете по ходу моего рассказа. Везунчики-экскурсанты брали рюкзаки, авоськи и простые мешки из-под муки и картофеля. Каждый везунчик обязан был в свою очередь взять деньги на продукты еще у пяти-шести человек. Если это условие не соблюдалось (от братской солидарности партия многих давно отучила и превратила в жлобов-эгоистов), то человека заносили в черный список и экскурсий по памятным ленинским местам он больше не видел как своих ушей. Потому что жрать охота не ему одному — черствой скотине, — а всем его товарищам по работе, которые практически и являются в нашем плохо снабжаемом городе соседями.

Итак, представьте следующую скульптурную группу работы Вучетича: автобус «ЛАЗ» битком набит экскурсантами, счастливыми до самой задницы. Сидят на коленях друг у друга и в проходе. При близости пункта ГАИ все сгибаются на полу в три погибели, а по Москве только так и едут, но никто не в обиде: впереди экскурсия и возвращение домой, где тебя ждут, как победителя, как Деда Мороза, и простили в душе все прошлые грешки по выпивке и блядоходу (измена мужу или жене). Мы поем песню про крокодила Гену, совсем как малые дети, но с похабными словами: «Прилетит Че-

бурашка в голубой комбинашке и устроит бесплатно стриптиз. Крокодил дядя Гена вынет член до колена — это будет детишкам сюрприз. Он играет на гармошке у прохожих на виду» и так далее.

Вот какой культурный уровень образовался у нас, дорогие, за шестьдесят лет советской власти. В общем, мы поем, считаем версты, останавливаемся иногда отлить (помочиться) и едем дальше. Выпивать по дороге в Москву после одного инцидента строго запрещено. Разуваев Игнат Иванович, фрезеровщик, поехал с похмелюги и в автобусе вылакал четвертинку самогона без закуски. По жребию ему выпало идти не в ГУМ, а в мавзолей. Пока сходили вниз, его замутило и вырвало. Хорошо еще, что там заставляют снимать шапки. Игнат Иванович догадался сплевывать в шапку и ухитрился как-то оставить ее в углу у стены. Потом, не глядя на Ильича, юркнул на выход — и бегом, бегом подальше от мавзолея. Отморозил уши и заблудился в Москве. Ждал нас на шоссе два часа. Подобрали мы его почти оцепеневшего от мороза. Он еще легко отделался. А Федотов вообще упал возле хрустального гроба, зарыдал и забил себя в грудь кулаками. Накипело, видать, что-то в душе. Из партии за это его исключили. Так что все едут трезвые. Но вот Москва. Задумываюсь, как Кутузов, и принимаю решение, где лучше устроить стоянку: в районе Колхозной площади (там много мясных магазинов и неподалеку Музей Воору-

женных Сил), на Ленинском проспекте (есть хороший гастроном с мясом, но никаких музеев) или на Манеже. Рядом Мавзолей, Музеи Ленина, революции, выставка советских художников и в двух шагах от них показ динозавров, бронтозавров и прочих ископаемых в голом скелетном виде. Это — самый интересный музей, но заход в него приравнивается к заходу в магазин и за культурное мероприятие не засчитывается. Обычно я предпочитал стоянку на Манеже, хотя это было сопряжено с риском подвергнуться разговору с милиционерами. Они же прекрасно понимают, что такое экскурсии по ленинским местам, увидят полный сидоров (сумки) с продуктами автобус и начинают, гады, вымогать на бутылку, а не то сообщат в партком, чем мы тут занимались под видом прохода через усыпальницу отца государства.

Продолжайте эту картину представлять на шестьдесят втором году советской власти. Рабочий класс — авангард трудящихся, взявший в семнадцатом году эту власть в руки, но передавший ее по глупости политрукам, рабочий класс — костяк ума, чести и совести нашей эпохи — устраивает в автобусе жеребьевку, кому бежать в ГУМ, а кому для галочки (формальная отметка) торчать в другой очереди — в Мавзолей.

Иногда мы тащили мундштуки от папирос «Прибой» из шапки, но чаще со смехом тараторили считалку: «В нашей маленькой компа-

нии кто-то сильно навонял. Раз, два, три, это, верно, ты...»

Везунчики с сидорами направляются после розыгрыша занимать очереди в кассы и в разные отделы, неудачники злобно идут на посещение какого-либо культурного объекта.

Между прочим, был у нас на заводе токарь Столешкин Юрий Авдеич. Лет пять совершал он с нами набеги на торговые точки Москвы и буквально ни разу, я подчеркиваю, ни разу не выпадал ему жребий идти в магазин. Или вытаскивал Столешкин пустой мундштук, или оказывалось, что он в числе других «навонял в нашей маленькой компании». Я уже пробовал, сердечно однажды пожалев Столешкина, предложить ему поменяться и пойти вместо него культурно отрабатывать колбасу, масло и макароны, но он твердо ответил, что всю жизнь стоит за справедливость и будет до конца соответствовать любому своему жребию. Мы уж, смущенные непроворотом такой невезухи Столешкина, пробовали мухлевать со жребиями, подсовывали ему счастливый, перебивали считалку, но жутким каким-то образом, к нашему ужасу и удивлению, Столешкин снова оказывался среди неудачников. С вызывающим душевную боль выражением лица Столешкин покорно выходил из автобуса и, чуть сгорбившись, торопливо, как от очередного пинка судьбы под зад, шел на Красную площадь. О чем уж он думал, следуя мимо «самого живого изо всех прошедших по земле людей»,

с какими словами к нему обращался, нес ли к нему обиды и вопли о царящей вокруг лжи и несправедливости, или, тупо уткнувшись глазами в чей-то затылок, выплывал в странном людском потоке на поверхность реальной жизни земли, останется неизвестным. Столешкину не раз предлагали не ездить в Москву за жратвой, обещая выполнить все его заказы, однако он отмахивался от товарищеских предложений из упрямства, страсть которого, по-моему, ему самому была непонятна, но от которой не было Столешкину в жизни покоя. Он и лицом как-то постепенно подменялся и на побитую собаку становился похожим, но не запищал, как некоторые на заводе, не бурчал, только однажды беззлобно сказал, неизвестно к кому обращаясь: «Неужто нельзя человеку прожить без бесконечного унижения?»

Семья у Столешкина была огромная. Пятеро детей. Зарабатывал он не меньше других и к тому же глиняных кошек и собак, собственноручно раскрашенных, таскал по субботам на рынок, где его баба ими подторговывала. Я так подробно о нем вспоминаю, потому что начали мы все из-за его неvezухи мучительно и неловко чувствовать себя в поездках за жратвой, в которых действительно было что-то унижительное, и унижительность эту к тому же заостряли навязшие в зубах придорожные призывы: «Больше молока и мяса Родине!», «Выполним и перевыполним планы партии, планы народа!», «Животноводству — зеленую ули-

цу!», «Партия торжественно обещает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!», «Народ и партия едины!», «В ответ на заботу партии о благосостоянии народа — ударный труд!», «Мы живем в первой фазе коммунистической формации! Л.И. Брежнев».

Но лучше ни о чем по дороге в Москву не думать, чтобы не осквернять и без того скверное настроение и не вспоминать старые времена, когда брал ты вечером кошелку, шел в магазин, набирал того-сего и радовался, что миновала всех военная голодуха, что можно хоть и не особенно жирно, но достойно и уверенно существовать. Вы бы спросили, дорогие, у своих американских коммунистов: как они представляют себе будущее своей страны? Или они все слепые, как их руководитель, которого нам показывали по телевизору?

В общем, вскоре после заданного пустому пространству вопроса насчет возможности прожить без бесконечного унижения Столешкин повесился. Записку оставил непонятную: «Все вы знаете, почему не могу жить. Прощайте».

Опять пришлось мне отвлечься. Но уж я доскажу, как мы делали голодные набеги на матушку-Москву. Непростое это дело, даже при наличии продовольствия в магазине №1 нашей Родины, в ГУМе. Я ведь отовариваюсь не только сам для своей семьи, но у меня имеется неременная сочувственная нагрузка на-

брать продовольственных товаров еще для нескольких семей. В основном мясо, яйца, масло, макароны, треску, если повезет и ее выбросят (продадут), и колбасу «Одесскую», которая три месяца в холодильнике лежит и не портится. Говорят, за ее изобретение академик Несмеянов получил орден Ленина и премию. В общем, набрать надо пуда три, не меньше. А так как за один раз в одни руки больше двух кэгэ мяса с некоторых пор не отпускают и на прочие продукты нормы ввели, то приходится занимать пять-шесть, а то и больше очередей, метаться до седьмого пота от касс к прилавкам и строить к тому же разные рожи, то снимая, то надевая очки, чтобы тебя не узнал продавец и не завопил на весь гастроном: «Спекулянт! Сейчас милицию позову!»

Разве не прав был Столешкин? Разве это не бесконечное унижение? Но здоровье семьи, детей, соседей или товарищей по цеху дороже самолюбия. Насрать мне на него, если хотите, в таких случаях. Строить рожи, поднимать воротник и надевать очки — легкая придумка. Бабы наши стали парики надевать и менять их тут же — рыжий на черный, шатеновый на седой и так далее. А Брежнев Иван, однофамилец Леонида Ильича, стал таскать из народного театра усы накладные и бородки, которыми в нашей заводской самодеятельности народных артистов загримировывали под Ленина. Пока набегашься, пока наберешь пуда три жратвы — сердце начинает бухтеть и подка-

шиваются ноги. Уже с трудом под конец сообщаяешь, сколько надо платить, лаешься с прохиндейками кассиршами, которые только и смотрят, сволочи, как бы охмурить «пиджака» (провинциала) вроде меня. Часа через три возвращаются из музеев, Мавзолея и выставок остальные. Они сторожат набитые в сторонке авоськи, а мы бегаем по ГУМу, высматриваем кое-что из тряпок и обуви. Москвичи — особенно хреново живущие люди — ненавидят нас, как волков. В очереди прямо в глаза, не стесняясь, говорят, что из-за нас в Москве все пропадать начало к чертовой матери, что живоглоты мы и спекулянты, сами набираем здесь мяса, масла, а у себя дома разводим коров и свиней и возим на рынок продавать по шесть-семь рублей килограмм. Основная проблема при этом не ввязаться в шумный скандал и, не дай бог, в драку, что однажды случилось. Нарымов Жора не выдержал, врезал в печень одному горлодеру с красными от злобы глазами, потом второму — и бежать. Чеки успел в руку мне сунуть. Пока эти два столичных мужичка кряхтели, скрючившись, мы отоварились, сделав вид, что не знакомы со сбежавшим хулиганом. Больше Нарымова на экскурсии уже не брали.

Но вот наконец все, что надо было, закуплено! Закуплено и уложено в наши многострадальные сидоры. Бухгалтерией будем заниматься в пути. На дорожку взят портвешок (красная дрянь) и закусочка приготовлена. Те-

перь задача — погрузиться с сидорами в автобус. Плестись нагруженными верблюдами по Манежу опасно. Было время, когда милиция интересовалась путевым листом нашего шофера и целью общей поездки в Москву. Власти пытались бороться с крестовыми походами на столицу и зверствовали, как всегда в таких случаях. Поэтому автобус обычно отъезжал в один из переулков на улице Герцена, за консерваторию. Мы грузились на глазах у враждебно наблюдавших за нами москвичей и — аляулю, здравствуй, моя столица, здравствуй, Москва! «Москва моя, ты самая лю-би-мая!» — пели мы, проносясь по улицам к окружной дороге. Думаете, на этом кончалось путешествие? Как бы не так! А посты ГАИ? Эти же краснорожие гаишники (полиция) только и ждут, чтобы остановить автобус, заглянуть внутрь и порыскать воровскими зенками, чего бы урвать у работяг. Без пары бутылок портвейна час-полтора прстоишь, пока они составляют протокол об «использовании экскурсионного автобуса для перевозки продуктов в количестве, превышающем естественные нужды одного человека, с целью дальнейшей спекуляции». Ну а если подкинешь в ихнюю прорву (пасть) портвешка и закуски, то пожалуйста — қандеайте дальше, дорогие товарищи. Как? Не волк у нас человек человеку? Никто, поверьте, лучше меня не умел заговаривать зубы милиции, оттягивать (ставить на место) нахалюг кассирш, дипломатично объяснять

рычащим на провинцию москвичам, что мы не барышники, что просто в магазинах наших на прилавках хуй (член) ночевал и поэтому мы тратим выходные дни на снабжение семей продуктами. Кроме того, я за несколько лет занимел знакомство с продавцами, бывало, платил им аккордно по сто—двести рублей в обход кассы, и они быстренько рубали нам мяса килограммов сто, причем без очереди, и всем было приятно. Вот за эти отличные интендантские способности меня непременно брали в Москву даже тогда, когда мне самому поездка была ни к чему, и я вынужден был ради товарищества отрывать себя от рыбалки. Понятно?

Я остановился на том, как мы с Верой прикинули меню, и я решил обратиться ради такого случая к нашему родственнику, прохиндею Яше. Позвонил ему, готовь, говорю, сто пятьдесят заказов для наших работяг. Всего чтобы было понемногу и всем поровну. С каждого заказа по 5 рублей тебе заплачу. А мне на этот раз собери, говорю, отдельно заказик, чтобы я человек пятьдесят—шестьдесят мог скромно, но не по-жлобски угостить. Водки не надо, потому что у меня имеется двадцать литров чистого, как моя, а не твоя, Яша, совесть, самогона. И настоян он на малине, клубнике, смородине и зверобое с мятой. Два ящика «Боржоми» сообрази, чтобы народ изжогой не страдал от современной советской колбасы. Ты понял меня, спрашиваю, Яша? Яша все прекрасно понял, ибо боялся меня как огня, но от души

уважал за прямоту и неглупые советы. Иду после этого в культотдел профкома. Заказывают автобус, и едем мы в Москву, в Яшин хитрый магазинчик неподалеку от Кутузовского проспекта. Проезжаем мимо дома, в котором Брежнев, говорят, живет. В окна его заглядываем, может, думаем, высунется сам поинтересоваться погодой и жизнью уличных людей. Где уж там! Ни разу не высунулся. Теперь слушайте, что было дальше. Приезжаем к Яше. Большую часть людей я посадил перед этим у Музея Вооруженных Сил. Заказы уже упакованы в ящики из-под конфет. Счет на каждом. Рассчитываюсь с Яшей и выслушиваю его жалобы на то, что снабжение в Москве с каждым днем становится все хуже и хуже. То этого нет на базе, то того, а что дальше будет, вообще непонятно. Затем мы с ним в его кабинете немного выпиваем, пока ребята грузятся. Выпиваем, и мне совершенно неизвестно, что за сцена разворачивается в этот момент перед нашим продуктовым автобусом. Яша толкует о знакомых евреях, уехавших кто куда, об аресте каких-то дельцов из фирмы «Океан», вздыхает, уверяет, что дышать все трудней и трудней, возможно, скоро вообще перекроют кислород молодцы из КГБ, что дочь Элли ему не удалось даже за десять тысяч устроить в Иняз из-за пятого пункта и что он просит у меня совета: ехать ему или не ехать? Я говорю, а кем ты там будешь работать? Ты же печенье даже не умеешь перебирать, но воровать за границей

тебе не позволят. Там нету социалистической собственности, которую уже шестьдесят лет разворовывают артисты вроде тебя. Там работать надо и иметь специальность. Ничего, отвечает Яша, переправлю ценности как-нибудь, в долю войду к приятелям в небольшое дело или в Штатах, или в Израиле. Элла будет учиться, Славик — работать, не пропадем. Ехать или не ехать? Хочу, говорит, последние лет двадцать прожить честно. Надоело химичить. Тошнит. И деньги девать некуда. Хоть жги их. Айвазяна к тому же на днях взяли и к Прошину подбираются... Это директора баз, которые снабжают Яшу левыми (ворованными) продуктами.

Не знаю, говорю, Яша, ехать тебе или не ехать, потому что это личное дело каждого, а во-вторых, не желаю я ни Штатам, ни Израилю таких граждан, как ты, не обижайся, но не желаю. Конечно, соглашается Яша, я говно и жулик, но хоть дети там будут лучше меня, хоть они сойдут с этой отвратной дорожки советской торговой сети. Из-за них надо ехать и из-за их внуков. Что скажешь, Давид?

Таких дел в кабинете за пять минут не решают, отвечаю, смотри не подсядь на последние годы жизни в каталажку, а если тебе денег девать некуда, брось к ебене бабушке свое воровское дело. Тут Яша внезапно ссутулился и приуныл. На этой работе, говорит, не воровать нельзя. Система такая. Сверху донизу повязаны все мы одной веревочкой. Конец ее от баз и

продавцов тянется к нам, директорам, а от нас в райпищеторги, в горотдел, в министерство и дальше. А кто берет на самом верху, говорит Яша, не знаю. Однако берут. Вон, председателя Палаты Национальностей Верховного Совета СССР Насриддинову арестовали и камней (алмазов) при обыске кучу нашли. Она такими делами ворочала, что я какашка по сравнению с нею. Она и от расстрелов за лимон (миллион новыми) убийц спасала, и аферы всесоюзного масштаба покрывала — и всё под носом у ленинского ЦК. Что о крупных шишках говорить и об их детишках, разъезжающих на «Мерседесах» и скупающих бриллианты! Если я лично каждый месяц посылаю начальнику моего районного ОБХСС штуку (тысячу) в конверте, ты можешь представить, Давид, сколько в свою очередь посылает сам он выше. А ведь у него в районе не один десяток магазинов и прочих торговых точек, не считая баз. Но ведь я не только в ОБХСС посылаю. Трудно сосчитать, Давид, просто так с моей работы. Это тебе не завод, где делают железки, которыми сыт не будешь.

Каждый, отвечаю, на своей карусели крутится, будь здоров, Яша, пойду, а то у меня сердце предчувствует недоброе что-то. Как бы по дороге в аварию не попасть.

И не обмануло меня тогда сердце, не обмануло. Подвожу на тележке свой заказ и пару ящичков «Боржоми» к автобусу. Еще издали понимаю: что-то произошло. Нельзя заводских

ни на минуту оставить одних в проклятых каменных джунглях столицы. Сгрудились они вокруг кого-то, базарят нервными голосами и размахивают рабочими руками. Слов разобрать не могу. Мне бы вернуться с моей нагруженной доверху тележкой обратно в магазин, но я как назло забылся, ибо беспокоился в тот момент не о себе, и подъехал к уличному шуму. Расступились ребята — мужики и бабы, — и с кем бы, вы думали, остался я с глазу на глаз? С Жоржиком, то есть с Георгием Матвейчем Малопятовым, с бывшим секретарем парткома, посадившим Федю, затем с бывшим первым секретарем нашего обкома, не раз приезжавшим на завод базлать: «Давай! Давай!» Я его знал как облупленного. Вот уж года три, как Жоржик жил в Москве и работал важной птицей в ЦК. Поздно было сматывать удочки. Уставил Жоржик на меня свои мутно-голубые незлобные на первый взгляд фары и освещает с ног до головы.

— Здравствуй, — говорит, — Ланге. Это ты руководитель «делегации»?

Голос у Жоржика негромкий был и тоже, на первое впечатление, как бы приветливый.

— Да, — отвечаю, — я руковожу, но для начала поздороваемся. Здравствуйте. — Протянул я руку и сжал пухлую лапку Жоржика так, что челюсть у него вбок пошла от боли.

— Ну, чем вы тут занимаетесь, Ланге?

— Да вот, — говорю, — жратвы, как видите, приехали набрать. Я для проводов. На

пенсию ухожу. А ребята — для детей, стариков и укрепления рабочей силы.

— Так, так. Для укрепления рабочей силы, — повторил Жоржик. — А у вас в магазинах продукты менее свежие или ассортимент ихний вас не устраивает? Вы гоняете в Москву технику, изводите бензин — и все это под маркой экскурсии по ленинским памятным местам. Думаете, до партии не доходят сигналы?

— Это хорошо, — отвечаю, решив не горбиться раз в жизни и все взять на себя. — Хорошо, что доходят до партии сигналы. Только чьи сигналы до вас доходят?

— Сигналы москвичей. Вы буквально терроризируете торговую сеть Москвы. Посмотрите на себя со стороны. Мешочники двадцатых годов. Я сам их прекрасно помню. Неужели в наше время у вас у всех — я и коммунистов здесь вижу — одно желание: нахапать продуктов с водкой, вместо того чтобы провести выходной день с семьей? Неужели задача у вас залить глаза и набить брюхо? Вы только посмотрите на себя со стороны глазами москвичей!

Жоржик еще что-то говорил. Я не слушал его. Я думал, что как был он слепым и упрямым козлом, так и остался, хотя козлиным же тупым и упрямым напором и дубовым лбом сокрушал, бывало, все ворота на своем пути — и вот в ЦК партии оказался.

Вдруг я взглянул, по совету Жоржика, на

всех нас со стороны и, взглянув, увидел картину странную, сообщившую моему сердцу отчаянное возмущение и непонятную неумную веселость. Крепкий пузатенький человек в ондатровой, несмотря на теплую погоду, шапке и в темно-коричневой дубленке, с поводком в руке, на котором бесчувственно болталась молчаливая маленькая псинка, стоял окруженный вспотевшими от смущения и страха бывшими крепостными своей губернии, и порол страшную хуйню (чушь) о советском народе, впервые в истории человечества создающем материальную базу коммунизма, о его авангарде — рабочем классе, обязанном давать пример остальной публике высокой сознательностью и готовностью к любым жертвам, объективно обусловленным данным историческим моментом. Но что же получается? Он, Жоржик, вышел погулять с Пусенькой, чтобы лично войти в контакт с советской действительностью и порадоваться благополучному течению мелкой бытовой жизни. И что же он видит неподалеку от важнейшей политической артерии Москвы — Кутузовского проспекта? Автобус с номером области, которой он отдал полтора десятка лет жизни, чье промышленное и сельскохозяйственное развитие было смыслом его существования, которая награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, которую с трибуны не раз хвалил Леонид Ильич, которая, казалось, никогда не заставит его краснеть, которая... которой... которую... и к

автобусу которой с лицами, искаженными нездоровым аппетитом, волокут кошелки рабочие всемирно известного завода, орденоносцы, бригадиры бригад коммунистического труда, рационализаторы, инженеры, техники. Судя по нашим лицам, мы питаемся нормально, судя по трудовым показателям, силы у нас еще есть, так почему мы даем пищу злопыхателям и нарушаем ритмичность работы московской торговой сети? Или мы превратились в мещан и дальше своего корыта ничего не видим?

Так вот, мне его речуга надоела. Из-за отчаянного возмущения и неуместной, непонятной веселости я взял Жоржика под руку и говорю:

— Отойдем, Георгий Матвеич, побеседуем в сторонке, а еще лучше залезем в автобус, и я тебе, бывшему нашему первому секретарю обкома, выскажу пару пролетарских слов в ответ на твое недоумение и обиду за наше поведение. Отойдем.

Подталкиваю его почти силком к автобусной дверце, пока он медленно реагировал на непривычное для себя обращение и на то, что перебито в самом интересном месте взволнованное выступление перед народом. Сели мы в кресла потертые.

— Знаете, — спрашиваю первым делом, — почем мясо у нас на рынке, если колхозники его подвозят по воскресным дням и перед праздничками? По семь-восемь рублей килограмм, и легче Зимний дворец, как гово-

рили мы, было взять, чем прорваться сквозь толпу горожан к мяснику. Знаете, — говорю, — что вместо масла, колбасы, творога, сметаны, трески и сыра в магазинах один перец, фаршированный овощами, рыбная солянка, «Завтрак туриста» с рыбной крошкой и перловкой, заквашенной тусклым томатом, соленая скумбрия, паста «Океан» из планктона, концентрат кисельный, и если бы мы, как шалавые волки, не набегали на Москву, то опухли бы уже от авитаминоза и детей превратили бы в форменных рахитиков, которыми они, кстати, постепенно становятся. Так что же ты, — говорю, — думаешь, что мы манну партийную должны, словно птенцы, из твоего клюва выклевывать и тем быть сыты? Так, что ли? Может, нам сталь, чугун, прокат, уголь и нефть следует жрать, закусывая продукцией нашего завода? Сам-то ты ходишь, Георгий Матвеич, в магазин?

— Был на днях, — отвечает, все еще не освоившись с непривычным для себя разговором, возвращающим его к давно забытой и похеренной реальной жизни, Георгий Матвеич.

— Ну и чего ты там взял, скажи, положив руку на сердце?

— Немного, всего понемножку, — замялся крокодил и залупнулся, почуяв близость подвоха с моей стороны. — При чем здесь вопросы моего питания?

— Так чего все-таки «всего понемножку»? Балычка, охотничьих сосисок, пяток отбив-

ных, нежных эскалопов для Пусеньки, вологодского маслица, клубнички и помидор? — продолжаю не отставать от надувшегося и пошедшего пятнами бывшего своего губернатора.

— Провокационно ты, Ланге, со мной разговариваешь. Провокационно, с чужого голоса. Распустили вас без меня. Распустили. Позвоню в обком, чтобы дали указание строжайше запретить эти популярные рейды и наказать кого следует. Скажите спасибо, что сейчас иные времена. Лет тридцать назад вы на этом же автобусе проследовали бы знаете куда?

— Знаю, — говорю. И добавляю: — Нас сейчас никто не слышит. Нет у нас свидетелей, хотя я мог бы обдристать тебя перед всем народом. Но я скажу тебе с глаза на глаз: в психушки надо запрягивать не мальчишек и девчонок — правдолюбов, не старых генералов и всех тех, кто задумывается вслух о несуразицах советской нашей жизни, а таких, как ты. Ты же натуральный крот, — говорю, — вылез из-под земли откуда-то, увидел не полупьяных, а полуголодных земляков и удивился, зажмурился, чего это они, сволочи, вместо того чтобы на агитпунктах к выборам народных судей готовиться, рыскают по московским магазинам. Так вот, от своего имени и от имени своих товарищей, хоть они меня не уполномочивали на это, заявляю тебе, что продолжать дальнейший разговор с тобой считаю ниже нашего рабочего достоинства. Если бы еще деятели вро-

де тебя заявили нам открыто и прямо: дорогие товарищи, братья и сестры! В этот очередной неурожайный для нашей Родины год, когда мы вынуждены униженно обратиться к заклятому врагу, к Америке, продать нам пшеницу, призываем вас, соотечественники, затянуть ремни потуже и походить подтянутыми еще год-другой, не переставая рваться в космос, а там и до коммунизма будет рукой подать. Не забывайте, братья и сестры, что на ваших интернациональных шеях впервые в истории сидят народы Кубы и Африки, Европы и Индокитая. Мы уже победоносно дошли, а им еще шагать и шагать под дулами и плевками мировой реакции к развитому социализму, иными словами, к недоразвитому коммунизму. Проявите сознательность, братья и сестры, как в военные годы, когда в нечеловечески трудных условиях вы вынесли горе и беду, но спасли мир от фашизма. Руки прочь от гастрономов и рынков Москвы! Наше гневное «нет!» обществу потребления!! Миру — мир! Если бы, — говорю, — нам было откровенно заявлено о трудностях, то мы в силу одной только единственной народной многолетней привычки ни черта не понимать в происходящем и в головоломных целях политических руководителей заплодировали бы и, отчуждаясь от интересов своего пуза, ответили бы: обойдемся, выдержим, валяйте, меняйте соотношение сил на мировой арене, но чтобы это было наконец к лучшему. А сейчас, — говорю, — когда мне

стало абсолютно ясно, что общество потребления мы строили не для себя, а для тебя, бледный крот, я тебя просто по-нашенски посылаю на хер. Вот если ты приедешь в наш засраный город и мы с тобой пройдемся по магазинам, поглядим на пьянствующую в овражках и закутках молодежь, побеседуем с матерями и проверим сводки о состоянии преступности, тогда поговорим по-другому, по-человечески, как два заинтересованных в довольстве и достоинстве родного общества гражданина.

— Да-а-а, Ланге, да-а-а, — буравя меня глазками, только и сказал Жоржик, но, вылезая из автобуса, гнусно, ибо нечем ему было крыть, подковырнул: — Какое это общество ты называешь родным?

— То, — отвечаю, — общество я считаю родным, в бедах которого и во лжи повинны не жидовские вроде моей рожи, как ты полагаешь, а кроты и крысы, то есть политруки, вроде тебя. Пошел на хер, поросенок! Поищи в душе стыд и совесть!

Тут Пусенька на меня визгливо залаяла, но замолкла, когда повисла в воздухе на поводке при выходе Жоржика из автобуса. Вот так, думаю, и меня бы ты вздернул, будь на то твоя сила и власть. Вздернул, но не отпустил, как свою Пусеньку, а ждал бы, когда вывалится из моего искаженного ненавистью и презрением к тебе рта синий прикушенный язык.

Плевать мне было в тот миг на последствия такого разговора, а Жоржик не спеша, не ска-

зав рабочим ни слова и не оглянувшись, словно не было у него минуты назад чудовищного разговора с каким-то пархатым жидом — провокатором сионизма, поканал прочь от нас. Он жестоко то и дело дергал поводок, срывая, очевидно, бешеную ярость на Пусеньке. Вдруг он остановился, как внезапно что-то вспомнивший человек, повернулся и дружелюбно помянул меня пальцем. При этом он улыбался, как бы извиняясь за то, что чуть не ушел, забыв сообщить очень важную и приятную новость. Я не трогался с места, пока он, улыбнувшись еще приветливей, не пошел мне навстречу. Шагнул и я. Поравнялись мы. Жоржик приблизил ко мне белое, отекавшее слегка от вечной учрежденческой житухи лицо и сказал следующее:

— Поскольку мы говорили, Ланге, с глазу на глаз, не могу не сказать тебе вот чего: не верил я, когда там, у нас, — он дал понять взглядом, что наверху, — утверждали, доказывали, будто все вы так или иначе, рано или поздно становитесь подрывными врагами, бациллами недовольства и мелкопотребительских настроений. Возражал против мнения ряда товарищей, будто каждый волк, сколько его ни корми, в лес смотрит. Примеры приводил. Зампред Косыгина — Дымшиц, редактор Чаковский, хоть и лицо у него преотвратительнейшее. Кинорежиссер Чухрай, академик Митин, скульптор Кербель, лауреат Нобелевской премии Канторович. Композиторы Шаинский и Давид

Ту́рманов. Скрипач Коган. Писатель-истребитель Генрих Гофман. Переводчики Расула Гамзатова Козловский и Гребнев. Футболист Гершкович. Политический обозреватель Зорин. Певец Кобзон. Драматург Самуил Алешин и многие другие евреи, не клюнувшие на сионистские и сахарово-солженицынские удочки. Ты, Ланге, разубедил меня. Я был не прав, возражая товарищам, и только навредил себе подобными возражениями. Спасибо тебе. Волки в лес смотрят. Но только лес этот, заверяю тебя, со временем будет нашим.

Я, наверное от нервишек, засмеялся и сделал Жоржику жест рукой: муде враскачку показал с отворотом. Вы, дорогие, не сможете понять такой выразительный жест, пока сами его не увидите.

Работягам же я раскинул черноту с темной (соврал), что разговор у нас состоялся с Жоржиком серьезный, что и он видит ненормальность положения, когда рабочие крупного промышленного города сосут ищачий член по девятой усиленной. Это выражение вам тоже будет непонятно.

Обещал, говорю, Жоржик провентилировать наверху продовольственную проблему, а также вопрос об алкоголизме и преступности среди молодежи. Наливайте, братцы, чернил (портвейн), хрен с ними, с жоржиками и с ихними пусеньками. У нас своя жизнь. Выпьем за нее!

Выпили мы, и, стараясь не вспоминать свое

поведение с бывшим хозяином нашей области, ибо не покидала надсадная тревога мое сердце, смотрел я и смотрел в окошко.

Мы проезжали места, где в сорок первом и сорок втором воевал я и Федор был моим командиром... Подлесок вымахал в стройный сонячок... Бывшая опушка густым ельником подступила к самой обочине... Не видать вон там, за белою стеной берез, низинки с лесною речушкой. Деревенька вымерла... Только надмогильная пирамида жива. Покосилась. Полу-стерты на ней и вымыты дождями и ветрами имена погибших товарищей. А если свернуть на большак, если проехать лесной дорогой, то увижу я тихую реку и крутой бережок, на котором оглоушили моего Федора немцы.

Рассказал я историю его пленения и освобождения ребятам, похлебывая портвешок, и попохотали мы все вволю, особенно в том месте, где бедный Франц обосрался от страха.

Правда, фигурировали в моей байке не я и Федор, не переводчик Козловский, чтоб он сгинул, если еще жив, а два друга Легашкин и Промокашкин... А там вон — ни пирамидки, ни могилки под ней не осталось. Точно на ее месте столб торчит с лозунгом «Слава КПСС»... Не развеяло тогда веселое воспоминание тревоги моей души. Не развеяло. Сами по себе нет-нет да и возникали, хоть и отмахивался я от них, проклятые мысли о еврейской судьбе. Чего же всякие чиновные хари, словно сговорились они, взялись напоминать мне, что

не дома у себя нахожусь я, а в гостях? Как будто не родился я здесь, не жил, не строил, не во-евал, не отстраивал, не отдал времени своей жизни труду, не помогал превратить вместе со всеми бесчеловечное это государство в то, чем оно сейчас является, — не для меня, не для друзей моих, трясущихся в продуктивно-экскурсионном автобусе, а для партийных придурков жоржиков — *в систему снабжения советских руководителей*, в ракетно-ядерный СССР. Как мне быть? В каких выражениях возражать? Как защитить свое достоинство и заработанное всю жизнь право на жилье, покой и нормальную смерть в кругу семьи?

Так я думал тогда в автобусе и, хоть горько мне было думать обо всем этом, вспоминал Федора. Вспоминал и запоздало соглашался с тем, что не раз говорил он мне, не раз внушал и раскрывал глаза на многое в советской жизни. Но я отмахивался и в свою очередь внушал ему, что, конечно, вокруг ложь, бардак, насилие и несправедливость, но разве есть у нас возможность пойти против ошетиненной и готовой к беспощадной защите своих привилегий машины? Разве есть? Метать в них гранаты? Извини, Федя. Я не убийца. Убийцей я уже побывал на войне. Хватит. Распространять листовки? Наши же приятели, даже не читая, тут же отволокут их в Чека. Писать письма, как Сахаров? Я не умею, а ты больше одного письма не напишешь и ответ на него получишь или в психушке, или в тюрьме. Кто-кто, а ты испы-

тал на своей шкуре последствия безобидного, в общем, сопротивления и инакомыслия, сказав всего-навсего парторгу: «“Давай” в Москве хуем подавился». Испытал? Испытал.

— Не знаю, что делать, — отвечал Федор, — но чую, что и жить так отвратительно и бессовестно.

— А может, — говорил я, — наоборот, именно в такие времена, если уж нет силенок сладить с черной силой и понимаешь, что протест твой одинокий безумен и самоубийствен, может, наоборот — именно в такие времена следует как раз считать целью именно честную, трудовую, радостную, несмотря на все лишения, жизнь и как-то стараться передавать из рук в руки, неприметно для политруковских глаз, словно угольки в доисторические времена, все то, что делает эту жизнь жизнью человеческой: веру, надежду, любовь, добро, солидарность рабочую, чувство справедливости, чистоту сердца, верность семье и страсть к лесу, к реке, к песне и веселью? Что ты на это ответишь, Федя?

— Не знаю, Давид, может, и прав ты, — говорил Федор. — Большинство людей так и живет, и, конечно, на них держится человеческая жизнь, а не на словах райкомовского лектора, у которого башка набита газетной трухой, давно побывавшей в наших задницах. Может, ты и прав, Давид, но одного я боюсь, только одного во всей видимой мною лично вселенной. Знаешь, чего я боюсь больше смер-

ти? Сейчас я скажу тебе: предсмертной муки сожаления, что холостым остался навек и не был пущен в божеское дело для раскрытия глаз толпы рабов заряд моего понимания лживости, звериной подлости, тупости и совершеннейшего цинизма тех, кто делал и делает из нас скотов. Жалок бугай, который полон сил, имел острейшие рога и лбину широкую и мощную, как нож бульдозера, плюс тушу многопудовую и, следовательно, имел возможность подойти с честью и сопротивиться, когда почуял неотвратимость угона на бойню имени Ленина. Мог оставить в лапах погонщиков стальное кольцо вместе с куском рваной губы и пролететь на своих четырех, хвост трубой, к зеленому лугу и расшвыривать до грома, достойного выстрела, и топтать пожелавших вновь его заполнить, но который вместо этого ступил, согнув хребтину и роняя слюну, на крутой мосток — попасть в кузов грузовика. Потом под смертельным электрокопьем, за секунду до гибели он пожалеет не о себе, а о погибшей возможности подойти свободным... Несчастнейший и жалкий, одним словом, бугай.

Вот чего я боюсь, Давид, вот что мучает меня и не дает покоя. Ведь если в человека вселяются бесы и он бесновато совершает черт знает что, не пошевелив даже пальцем, чтобы освободиться от наваждения и перестать, собственно, не быть самим собой, но тем более, раз уж не весь еще человеческий род стал бес-

новатым, должно существовать в душе спасительное повеление соответствовать тому, что, по высшему замыслу, есть *Человек*. В твоей воле не соответствовать, ты себе хозяин, нет свободы распоряжаться собой больше, чем та, что тебе вручена от рождения, но не избыть до самого смертного твоего часа, до последней малой искорки от угасающего огня твоей жизни, этой муки сожаления. Ты взмолишься: дай, Господи, еще сутки, дай, и я небесполезно потрепыхаюсь, я уложусь всего в одни сутки, Господи! Но не будет тебе нового срока бытия для должного действия, не будет ни малейшей на неотвратимом пороге добавки времени. Потому что его когда-то было в преизбытке. Ты вполне мог как следует им распорядиться, если бы делал для этого все, что в твоих силах. А уж если бы и тогда не хватило тебе времени, то не твоя в том вина, живи и помирай спокойно. Человек не всемогущ. Продолжаем, Давид, жить, — сказал в конце того разговора Федор, — авось судьба не даст ни тебе, ни мне запропасть вхолостую.

Я, как сейчас помню, вспылил.

— Нехорошо, — говорю, — так думать, плохо. Трудно мне тебе объяснять почему, слов не хватает и умения рассуждать, но чувствую, что думать так во многом плохо. Ты жил, учился, любил, работал, воевал, восстанавливал разрушенное, мыкался, недоедал, болел, сидел ни за что ни про что на каторге, здоровье потерял, был бит, оплеван, унижен, оби-

жен, оскорблен, втоптан в грязь, но выкарабкался из нее, восстал, выжил, жена тебя предала, харкал ты кровью в ссылке, и при всем при том любо-дорого смотреть на тебя, Федор: такой ты настоящий, без крупиночки подлянки на совести, мужик! Ты все мучаешься, что для людей ничего не сделал, но откуда ты знаешь, что Бог не приметил тебя с ворохом твоих обид, страданий, болячек и хворей? Наверняка приметил, и ты, несомненно, порадовал Его тем, как совершаешь свою жизнь, за что и послана тебе свыше сила жить, без которой ты давно бы уже свернулся в пороссячий хвостик от десяти процентов всего тобой пережитого.

Помню, в тот раз Федор весело позавидовал моему происхождению.

— Хотел бы я, — говорит, — побывать в твоей, выдубленной двадцатью веками рассеянья еврейской шкуре. Очень бы хотел! Может, я тогда не торопился бы, не мучился, а старался жить, по возможности, праведно и ждать. Ведь дождались вы в конце концов! Вот что удивительно и прекрасно! Только ты этого, старый козел, не чувствуешь и не понимаешь. Страна у тебя есть своя! Ты можешь там быть как дома, и ни одна свинья не скажет, что ты в гостях! А я рожден в своей от века стране, но не дают мне в ней ни жить по-человечески, ни хозяйствовать по-разумному, ни истинный смысл искать в единственном существовании. За какие такие грехи? Моя ли вина в том, что так низко прибиты за шестьдесят лет совет-

ской власти души людей, бестрепетно глядевших на бесовский разгул начальничков-уркаганов и даже пальцем не пошевеливших, когда дзержинские, ягодковые, ежовские, бериевские и прочие кровавые ветры отрывали мужей от жен, детей от матерей, отрывали безжалостно, освящая безжалостность холодными положениями ленинско-сталинского учения и затягивая миллионы невинных жертв в смрадную трясиину неволи и смерти? За что такое наказание моей России, кажущееся временами слишком несоразмерным видимым ее грехам? Может, за то, что миллионы позволили увлечь себя сотне фанатиков, поддавшихся дьявольскому соблазну жить не ради праведной и радостной жизни, а ради привлекательной на первый взгляд идеи, и, позволив, сами способствовали разрушению того, что кропотливо выстраивалось и в душе, и на земле долгими трудными веками?

— Будет, Федя, будет, — только и мог я тогда сказать с заболевшей душой другу.

Выводил он меня, надо признаться, своими разговорами из колеи, и не сразу я отвлекался от них. Рычал на семью, допекал до белого каления руганью в адрес большевиков свою идейную дочь Свету, надирался с полочки, блудил, бывало, с дамами из заводоуправления и не успокаивался, пока не выбирались мы с Федором на рыбалку. Там все во мне снова приходило в порядок: голова не чувствовала себя задницей, мочевой пузырь не думал, что

он главней сердца и печени, косточки уютно чувствовали себя на своих законных местах, глаза видели, уши слышали, и можно было опьянеть от счастья жить вдали от радиотрескотни и телетошниловки.

Вот так я думал и вспоминал кое-что, сидя у окна в автобусе. Отвлекался от тревожных мыслей, представляя, как мой Вова и его славная жена уедут с детьми в неведомый Израиль. Пусть едут. Я рад был за него. Опасно, конечно, жить там: то бомбы рвутся в таких вот автобусах, когда люди возвращаются с базара, то детишек захватывают в школах, но что поделаешь? Они там живут как на вулкане, но Вова опять будет иметь возможность копать в генах, читать открыто самиздат и не бояться, что только за это чтение можно вылететь с работы, а то и угодить в лагерь.

Но вам трудно себе представить, какая огромная страна Россия! Какая это огромная, красивая страна! Жуть и восторг вдруг потрясают всю душу, стоит только вспомнить на миг, что она действительно самое огромное государственное пространство на земле! Ведь пока трясешься в автобусе от Москвы до нашего города, целую Голландию проезжаешь, наверное, а то и пару Израилей! Пусть вокруг дождик моросит, провисли от него провода телеграфные, столбы отсырели, редко где увидишь скотину, мало жизни в придорожных деревнях, да и не деревни уже это, а стариковское доживание, пусто вокруг, пропадают

почвы, возделывать если которые под хлеба и прокорм коровушек, то и не пришлось бы нам трястись в автобусе туда и обратно. Непосильной для понимания становится советская, ебаная в душу власть (извините за выражение), стоит только задуматься на секунду: а зачем она вообще существует? Зачем существует и держится все шестьдесят лет на поголовном страхе, на нашем терпении, на покорности и на обновляющихся ежегодно посулах? Зачем? Что это за напасть, которая ни накормить, ни напоить, ни воспитать, ни вылечить как следует, ни распорядиться достойно богатствами земли не может и к тому же приставучей заразой своей поражает несмышленные, неопытные, необжегшиеся на построении социализма народы? Зачем она? Как понять ее простому уму, как согласиться с ней неискушенному сердцу? Успеем ли раскусить ее до того, как ввергнет она и себя и нас в окончательную пропасть? Кто уцелеет на ее краю и, собрав остаток слабых сил, горько глянет в поглотившую бесноватое чудовище бездну?

Несколько дней я не брался за перо. Живу сейчас у Вовы в Москве (почему, поймете потом). Как назло расхворалась Вера, внуки в школе, приходится шевелить рогами (зарабатывать, халтурить), но в Москве прожить можно. Магазин под боком, есть в нем все необходимое, не то что в нашем универсаме, и рынок рядом. Он ужасно дорогой, но мы денег не копим, позволяем себе купить парного мяса, не-

гнилых овощей, настоящего творожка, сметаны и человеческой картошки.

Опережать события не буду. Как рассказывал по порядку, так и продолжу. Вполне возможно, я прервал письмо по причине нервного характера. Вспоминать то, о чем вы сейчас услышите, нелегко. У меня стресс начинается, как уверяет Вова. Не знаю, стресс это или пресс, но в глазах у меня темнеет, сердце колотится почище, чем с перепоя, и сводит скулы слюна обиды и бешеной ненависти. «Суки. Вши. Падлы. Паскуды!» — шепчу я и жалею только об одном, жалею, что гнул спину действительно на совесть — почти полвека, — не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, болел за производство, вкалывал на субботах, заражал настроением товарищей, воспитал целую гвардию замечательных станочников, рационализировал, но не пер на рожон и в партию, не гнался за «трудовой славой» — и что же я получил за все это? Харкотину в душу! Вот что! Впрочем, глупо и недостойно жалеть о том, что ты делал свое дело как следует. Оно было смыслом твоей жизни, поскольку ты получал от него удовлетворение. Наши паразиты-политруки и держатся на этой человеческой способности, свойственной особенно русским и иным советским людям, самозабвенно (политруки любят это слово) трудиться. Немного бы мы настроили и наработали, если бы самозабвенно задумывались о всесоюзном лживом бардаке, а не самозабвенно

трудились. Скорей всего, сели бы, как индусы, поджав под себя ноги и полузакрыв глаза, и просидели бы в такой удобной позе все пятилетки... Но ладно. Я, кажется, специально оттягиваю разговор о самом говенном случае в своей жизни. Но пусть он будет не очередной главой третьего письма, а совершенно отдельным письмом, продолжением которого стала моя нынешняя судьба.

Останавливается автобус около нашего крупноблочного пятиэтажного «хрущевика». Повторяю кое-кому приглашение навестить меня, выпить, закусить, поговорить и спеть «Синий платочек». Меня поблагодарили за помощь в смысле организации заказов и за приглашение.

Живем мы на третьем этаже. За один раз я не смог бы поднять свои свертки и минеральную воду. Взял я в руки сколько мог, остальное оставил на лавочке около подъезда. Поднимаюсь по лестнице, а сердце болит, словно зуб из него выдирают, такая странная ужасная боль. Стучу в свою дверь носком ботинка. Дверь открывается. Недоумеваю. Не в свой подъезд попал, что ли? Прилизанный, гладкий такой хмырина стоит на пороге и, улыбаясь слегка, как бы приглашает входить и располагаться.

— Что за черт, — говорю и злюсь, что с тяжестью нужно снова спускаться и подниматься. Делаю уж было от ворот поворот, но хмырина шагнул на площадку, взял меня под руку и говорит:

— Вы уж и дома своего не узнаете, Давид Александрович. Заходите. Ждем вас уже часа два.

После этих слов второй хмырь вышел в переднюю, и из-за его плеча Вера на меня уставилась безумно испуганными глазами. Руки у меня опустились, когда вошел я в переднюю и первый хмырина, закрыв за мной дверь, сказал добродушно:

— Здравствуйте. Будем знакомиться. Игорь Никитич. Догадываетесь, из какого ведомства?

— Предъявите документы, — сказал я, мгновенно возненавидев это рыло, вторгнувшееся в мое жилище. Красная книжечка КГБ. Можно было и не разглядывать.

— Что вам от нас нужно? — спросил я.

— Зачем же так недружелюбно, Давид Александрович? Стоит ли так противопоставлять себя и нас? Нам нужно провести обыск в вашей квартире. Вот — ордер на него.

— А что случилось? — спрашиваю глупо, даже не взглянув на казенную бумаженцию.

— Обыск, говоря официально, на предмет обнаружения у вас машинописных, печатных и прочих материалов, в которых содержатся клеветнические выпады в адрес советского строя.

— Ничего такого, — вздохнул я неприметно с облегчением, — у нас нет. Не держим.

— Дома не держите? — не меняя улыбки, уточнил первый хмырина.

— Не держим.

— А читать — читаете?

— Читаю, — говорю. — Скрывать не стану.

— Ну и как? Нравится?

— Интересно. А кое-что нравится очень.

— Например?

— Кузнецова книга про угон самолета.

— Про несостоявшийся угон. Еще что?

— «Семь дней творенья» — хорошая, правдивая, но тяжелая для души книга. Про собаку Руслана — тоже здорово. Жалко собаку.

— «Архипелаг» читали?

— Не успел, к сожалению.

— Кто же вас снабжает всей этой литературой, Давид Александрович? На правдивый ответ не надеюсь. Просто разбирает неслужебное любопытство.

— Еврей один снабжал. Он уехал в Израиль и на днях умер.

Такой разговор состоялся у нас в передней, пока я снимал пальто и туфли. А ответил я так, как, по Бовиным рассказам, отвечали его приятели.

— Иван Кирилыч, просите понятых, — сказал первый хмырь второму.

— Я у подъезда оставил продукты, — сказал я, — пойду заберу. Я на них целый день угробил.

— Гнойков! Проводи вниз Давида Александровича.

Из первой нашей комнаты выполз еще один таракан. Фамилия к нему вполне подходила.

С ним мы и спустились по лестнице. Я быстро перебирал в своей башке возможные причины внезапного шмона (обыска). Федор? Бовины дела? Стукнула-таки наконец дочь Света? В чем дело? Они же понимают, что слух про обыск на квартире замечательного карусельщика, почти полвека отмоловившего на заводе со дня его основания и заложившего в это основание полуобмороженными руками один из первых кирпичей, вмиг облетит весь город. Судить меня не за что... Листовок я не разбрасывал. Солженицына ночами, как Вова, не перефотографировал, бастовать не призывал. В чем же дело?

И тут сотрясла меня догадка. Жоржик! Он! Только Жоржик мог, вернувшись домой, зеленый от хуев, которых я натолкал в его партийную душонку, может, впервые за всю Жоржикову жизнь, снял трубку и звякнул сюда, на квартиру своему дружку и ставленнику, генералу КГБ Карпову. Точно! Недаром ожулило мое сердце. Ведь посмотрел Жоржик на меня напоследок так, словно я уже в тот момент глотал на его глазах жареные гвозди и серной кислотой запивал, мстительно, с предвосхищением всех моих будущих неприятностей посмотрел, хотя не раз, падаль отекшая, своими руками нацеплял мне на лацканы ордена и медали, не раз с трибун партконференций и митингов призывал равняться в труде на таких, как я.

Может показаться, что, сходя вниз, я долго

обмозговывал случившееся. Нет. Все это вместе с догадкой мгновенно промелькнуло в моей башке, еще до того, как я вышел из подъезда, взглянул на скамейку и не увидел ни свертков, ни минеральной воды «Боржоми». Да. Ничего этого не было. Мне трудно сейчас вспомнить и описать все, что я почувствовал. Не было в тот самый миг, когда, не веря своим глазам, я смотрел на пустую скамейку, в душе у меня ни жалостной тоски по пропавшему, ни бешеного возмущения. Только холодная пустота одиночества, удивление и гадливость, которую старалась перебить надежда, что кто-то из приятелей-соседей разыгрывает меня всегонавсего и сейчас выйдет из-за угла, весело осклабясь, — человек, радующийся дурацкой детской выходке. Никто из-за угла, однако, не вышел, и, как ни закалена была душа моя за всю жизнь ужасными катавасиями, лицезрением подлостей и предательств, потерями своими и чужими, своим и людским унижением, согнуло меня почему-то в тот миг происшедшее и просквозило меж ребер каким-то смрадным ужасом, как в детстве, как во сне, когда кажется, что вцепилось сзади в твои плечи склизкими когтями мерзкое, безобразное, огромное насекомое. И, согнувшись, брел я обратно по лестнице в бесконечной пустоте и непереносимом холоде одиночества и, зайдя в квартиру, молча, повинувшись одному спасительному порыву помиравшей от обиды души, обнял подошедшую ко мне Веру. Слава тебе, гос-

поди, обнял единственное родное и близкое существо, оказавшееся тогда рядом, и не знаю, как это объяснить, но, наверное, за счастье иметь всю жизнь такую верную и любящую жену, скорей всего за это, я простил в ожившей душе того, кто унес к себе домой со скамейки еду для моих друзей и несчастную минеральную воду.

— Темнил он. Не было там ни черта, — доложил Гнойков первому хмырине.

— Не надо темнить. С нами это, Давид Александрович, не пройдет. Начнем обыск, — сказал он.

— Валяйте, — ответил я, прошел в столовую и увидел двух понятых: учителя физкультуры с пятого этажа и своего соседа Ященко. Он жил в квартире рядом и настучал Кобенке о разговоре с Вовой и Федором насчет Израиля и советской власти. Я с ним ни разу не обмолвился ни словом о происшедшем, потому что вообще лет десять назад перестал здороваться и разговаривать.

— Понятые вас устраивают? — спросил хмырина.

— Нет, не устраивают, — ответил я, хотя в принципе, мне было наплевать на состав понятых. — Категорически отказываюсь производить обыск и отвечать на вопросы, пока вот эта мразь будет находиться в моей квартире. И вообще, при нем я за свои действия не отвечаю. — Тут во мне заговорил бывший чума-разведчик, и я добавил, ловя хмырину на муш-

ку, а заодно и проверяя свое предположение: — Немедленно позвоните Карпову о моей просьбе, а ты, Яценко, пошел вон в переднюю, пока будет решаться твоя судьба, гнида, как понятого. Ну! — Я взял в руку подсвечник. — Пшел, говорю, вон!

Яценко, покраснев, устоялся на хмырину. Вера заныла мне в ухо: «Тихо, Давид, тихо, не делай хуже». Хмырина взялся было за трубку, но передумал и сказал Яценке, что обойдутся без него. Учитель физкультуры ушел за своей женой Тасей — неплохой и веселой бабой.

— Вот теперь начинайте, — сказал я, когда Яценко, с ненавистью глядя на меня, выперся из квартиры. — Послушай через стенку, сволочь, что здесь происходит! — крикнул я ему вслед.

— Ну-с, начнем! — потирая красновато-желтые от вечной экземы руки, сказал Гнойков. Он явно любил это дело, в чем мне, к сожалению, пришлось убедиться. Его прямо распирало от желания, когда он искал глазенками, с чего бы начать. Мне даже показалось, что у него встал, извините за подробности, член, когда он чуть не влез с руками и ногами в гардероб с вещами и начал в нем рыться, сладко посапывая и чихая от поднятой пыли. Гнойков, вроде моего Вовы, был аллергиком. Вера, вытирая глаза, следила за его действиями. Я, учитель физкультуры и его жена Тася сидели на нашем диване, и, вы верите, эта зараза откровенно прижималась ко мне своим теп-

лым бедром. Домашний халатик Таси был слегка распахнут на коленках. Загорелые красивые коленки, отметил я про себя и, кашлянув, ткнул Тасю в нежный мягкий бок локтем, чтобы бросила свои штучки. Нашла место, идиотина. Но она, словно машина, умеющая регулировать свою температуру, назло мне вспыхнула, и моя нога ощутила, как наливается еще бóльшим теплом Таськино бедро, наливается для меня одного жаром и жжет, подлое, нестерпимо в такие отвратительные для моей судьбы минуты. Поистине не понять человеку жизни во всех ее меняющихся ежесекундно объемах, со всеми ее неожиданностями, возникающими смыслами и устрашающими разум несоответствиями, поистине не понять, и я, чтобы не думать об этом, отодвинулся подальше от Таськи.

— Зря теряете время, — сказал я, — ничего не найдете, зря руки перепачкаете в грязном белье и нафталином провоняете.

— Все так обычно говорят, — сказал первый хмырина, — а мы находим. Такое наше дело.

— Не вздумайте мне подкинуть чего-нибудь, — сказал я.

— Помолчи, Давид, болтун проклятый! — вскрикнула Вера.

Я думал, что обыск — это очень быстрая операция. Долго ли переверорозить наше нехитрое имущество? Но вот прошел час, а трое легавых продолжали терпеливо перелистывать

книги и просматривать скопившиеся за много лет в старом портфеле справки, метрики, муру всякую, письма и документы. Этим занимался первый хмырина, второй приподнимал коврики на стене, вышивки Верины и фото в рамках. Очевидно, искал тайники, что меня сместило. Третий же, экземный Гнойков, то отодвигал от стен мебель и кровати, то, как шаман, замирал на месте, стараясь проникнуть в тайну нашего жилья и учуять самую главную заначку (тайник). Постояв, что называется, в трансе, он целенаправленно бросался то в переднюю, где перерыл обувь в ящике, то к стенным шкафам, а я наблюдал, с какой похотью он совершает свое грязное дело, как замасливаются его глазенки, как сладко он замирает, рукою нащупав в мыске моего валенка скомканную газету, и вытягивает ее, странно гримасничая и изгибаюсь, того и гляди, прыснет в штаны от сладчайшего из возможных напряжений. Зато я радовался мстительно, когда, поняв, что в валенке нет никакой заначки и что просто он мне немного велик, а комок «Правды», следовательно, не шпионская шифровка, Гнойков скрипел зубами и топтался на одном месте от внутренней опустошенности. Вид у него, клянусь вам, дорогие, был как у мужчины, промучившегося с дамой целый час и не поимевшего при этом конечного удовлетворения, к которому он так стремился, закатывая глаза и стараясь не думать о напрасных усилиях. На меня Гнойков смотрел пару раз буквально по-собачьи, как бы

умоляя не мучить его больше, не растревлять и навести в конце концов на след статей Сахарова (благодаря Вове и Федору я читал их), книги Марченко об ужасах закрытой тюрьмы, «Технологии власти» Авторханова или «В круге первом», навести, чтобы Гнойков содрогнулся, взвизгнул, чтобы на мгновение ощутил он на своих плечах не покрытую экземными струпьями головушку, а треск бенгальских огней, и после передышки снова бросился рыться в большом чемодане в надежде еще разок словить удовольствие.

Не думайте, что я все это время только и делал, что следил за ним. Нет. Я наблюдал за первым хмыриной, слонялся из комнат в кухню под присмотром второго, буквально не спускавшего с меня глаз, пробовал поесть, но кусок не лез в горло, смотрел в окно, снова садился на диван, представляя Жоржика, звякнувшего в бешеной ярости Карпову, отвергал эту версию, придумывал десяток других, проклинал свою бездумность, из-за которой украдена была какой-то сволочью закуска, перекидывался взглядами с Верой, поговорил шепотом о том о сем с Таськой, так и норовившей в разговоре прижаться поближе и, между прочим, делавшей это бессознательно и исключительно по необходимости чувствовать хотя бы кончиками пухлых пальчиков лицо противоположного пола вроде меня.

— Советую вам сэкономить время. Сегодня выходной день, — сказал я шмонщикам. — Нет у меня подпольных книжек.

— У вас выходной, а у нас рабочий. Спешить некуда. Работа должна быть выполнена до конца, — ответил мне первый хмырина. К звонившему несколько раз телефону он категорически, между прочим, запретил подходить. А звонков, как назло, было больше, чем обычно. Я нервничал и страшно злился, представляя недоумение тех, кто звонил в уверенности, что я дома. Страшно злился. Кровь от злобы и гадливости прилиwała к голове, и Вера еще ныла, чтобы я немедленно взял себя в руки, иначе меня хватит удар. Ну уж нет! Такой радости я бы им не доставил!

Таськин муж между тем клевал носом, клевал, а потом устроился поудобней и задрях.

— Всю жизнь проспал, скотина, и свою и мою, — шепнула Таська.

— Устает, — сказал я.

— С чего устает? Девчонок на уроках попридерживает за бока и задницы, а на жену после них наплевать. Чистая скотина. Бей его сейчас штангой по голове — не проснется, — пожаловалась Таська.

Второй подсадил Гнойкова, и тот ерзал по полатам над нашими головами. Вдруг я вспомнил всякую муру, прочитанную про работу угрозыска и контрразведчиков. Вспомнил, как на обысках подпольные миллионеры с потрохами выдавали себя взволнованно забежавшими по сторонам глазками, и шмонщикам оставалось только определить, что за сервант, половица, печная вьюшка, фарфоровая собака или ножка

стула, которые попали в поле зрения, заставили вздрогнуть и затрепетать обыскиваемого типа.

Гнойков и второй хмырь, ничего не обнаружив на полатах и в сортирном бачке, сами, казалось, предложили мне такую игру в надежде, что прием сработает и я расколуюсь. Гнойков ходил при этом по квартире, проводя рукой, как миноискателем, по чемоданам, ящикам, коробкам, швейной машине, а второй хмырь незаметно вроде бы наблюдал за моей реакцией. Я с озорством на уме был невозмутим, но вот когда Гнойков остановился у старинного, изъеденного жучком, трухлявого прабабкиного буфета, я закрыл глаза, как бы от невыносимости приближающегося разоблачения, сглотнул слюну, попросил Веру преувеличенно бодрым голосом притаранить из кухни воды, поднес стакан дрожащей рукой к губам, глянул мельком в сторону буфета, что-то сказал Гнойкову, стараясь «отвлечь» его любыми способами от тайника, ни с того ни с сего захохотал, демонстрируя полную развинченность нервов, не выдержавших дуэли со шмонщиками в самую критическую минуту, и тем самым бездарно себя выдавая на третьем часу обыска. Второй хмырь условно кашлянул пять раз и дважды сморкнулся. Гнойков, обласкав меня взглядом, снял пиджак, хотя при его похотливом взгляде уместней было бы снять брюки, потер в предвкушении чудного мгновения веснушчатые лапки, но не приступил тут же к большому

шмону буфета, а, наоборот, проверяя правильность предположения, отошел в сторону. Я, естественно, с огромным облегчением вздохнул, стараясь показаться шмонщикам неопытным, наивным и туповатым человеком. Они и взглянули на меня с откровенным сожалением и презрением, как я иногда смотрю на глупую рыбу, клюнувшую на туфовую наживку.

— Пожалуйста, осторожней! — встряла моя Вера, когда Гнойков потрянул старый буфет, примериваясь, с чего начать. Первый хмырина продолжал в это время простукивать стену.

— Смотри, — шепнул я Таське. Таська повернулась, задев мое плечо грудью, и это ее внезапное движение, не укрывшееся от глаз Гнойкова, и возглас Веры, дрожавшей над проклятым и надоевшим мне трухлявым буфетом как над писаной торбой, сообщили шмонщикам окончательную уверенность, что тайник где-то в нем и я, следовательно... накрылся.

— Золото, бриллианты, валюту и монеты царской чеканки имеете? — спросил Гнойков.

Я ничего не ответил, якобы из-за бесконечной подавленности. Теперь мне важно было выдержать и не покатиться по полу от смеха, начавшего щекотать горло. Не буду описывать, дорогие, мое наслаждение и неподдельный ужас Веры, бегавшей около шмонщиков, разбиравших на части буфет, умоляя их быть поосторожней с вещью, «которой в том году было двести лет» и от которой я лет тридцать

безуспешно пытался избавиться. Они разобрали буфет по косточкам, по досточкам, по полочкам, по ящичкам, по створкам, задничкам, ножкам, по резным набалдашникам, рамочкам, пузатеньким амурчикам, по розочкам и многочисленным дверцам. Все замки были вынуты из замочных пазов, все полые, внутри стоячки продуты.

— Позвольте! Кто все это будет собирать обратно? — вскричал я, когда Гнойков заиграл желваками от разочарования, стараясь не смотреть в сторону второго хмырины. — Мы будем жаловаться Карпову! — добавил я. — Мне известно, что вы здесь по его распоряжению!

Я снова брал первого хмырину на удочку, забыв про буфет и очень желая подтверждения своей версии насчет Жоржика.

— Откуда вам это известно?

— Из разговора с Георгием Матвейчем, — брякнул я. — Посоветуйте Карпову не вляпываться в эту историю. Я человек известный в городе и буду протестовать против произвола.

— Приказ есть приказ. Продолжайте, Гнойков, — сказал, подумав, первый хмырина и прошел в бывший кабинет Вовы.

— Ах, вот оно что! Прошу сюда понятых! — донесся сразу оттуда его голос. Мы с Верой переглянулись, догадавшись, в чем дело. Таська быстро скользнула в Вовину комнату, а ее физкультурник продолжал дрыхнуть.

— Ничего, — сказал я Вере, — не бойся.

Никакого нет преступления в том, что я настоял на ягодах самогон для друзей. Не бойся. Главное — самого аппарата у нас нет. Сиди и молчи. Скоро это все кончится.

Гнойков и второй хмырь возились с задней крышкой телевизора. Голосов первого хмырины и Таськи что-то не было слышно в Вовиной комнате, но там явно происходила какая-то возня, шуршал шелк Таськиного халатика, щелкнул замок. Моя Вера смутилась и покачала головой. Скотина все-таки человек, страшная и непонятная скотина из скотин, дорогие. Не буду скрывать: не по себе мне стало от мысли, что первый хмырина там, за дверью, ошалев от неожиданного напора Таськи, размяк и, поддавшись на уговоры, возможно, вот-вот приступит к нечаянно выпавшему на его служебную долю мужскому делу. Таська наедине с мужиком своего не упустит. Такая жадная до мужиков и голодная баба не то что шмонщика молоденького, но и часового в мавзолее, исхитрясь, изнасилует. Не по себе мне стало, скотине. Ревновал я, в метре от своей жены находясь, а если говорить правду (надеюсь на ваше порядочное молчание), Таська обратилась ко мне однажды с просьбой вернуть лампочку в ее люстру. Я поднялся наверх, встал, сняв туфли, на стол, а Таська с ходу взяла меня в такой нежный и горячий оборот, что лампочка так и осталась неввернутой, а я, возвращаясь некоторое время спустя в свою квартиру, не без удовольствия вспоминал блажен-

ную улыбку бешеной Таськи. Скотина я, скотина, но и Таська тоже, стерва, хороша. А если бы физкультурник проснулся, что было бы? Ну не странная ли, ответьте мне, штука жизнь? Очень странная, и, не подготовленные подчас к ее неожиданным странностям, мы безрассудно превращаемся в похотливых козлов. Вот и тогда мучила меня греховность моих непотребных чувств, но стоило только представить, что действительно произошло бы в квартире, если бы Таськин муж проснулся, разбуженный инстинктом сохранения невинности собственной жены, как грудь мою начал душить смех. Вот проклятый характер! Мне бы отогнать захватывающе смешные видения, но я представлял их себе, представлял, как физкультурник врывается в Вовин кабинет, рычит, разорвав на себе от горла до пупа футболку: «Ага-а!» Срывает огромной, как у гориллы, ручищей первого хмырину с огнедышащей Таськи, держит его, словно беспомощного кутенка, другую рукой, пресекая упрямые попытки этого донжуана из КГБ натянуть на себя трусики и брюки, затем распахивает окно и обращается к собравшемуся на дворе честному народу (кто из них стибрил мои продукты?):

— Вот, граждане, до чего мы дошли на шестьдесят втором году советской власти! Обыска не можем провести без того, чтобы не натянуть на халабалу понятую! Смотрите!

(Халабала, дорогие, это, как вы понимаете, член.)

Я согнулся, застонав, ибо не мог продохнуть ни глотка воздуха от удушливого приступа смеха. Вера, думая, что человека хватила кондрашка, взвыла на весь дом: «Ва-а-а!» — насмешив меня своей родственной истошностью еще больше. Физкультурник дернулся, вскочил с дивана, запрыгал вокруг меня, бормоча: «Дядьдавид... дядьдавид... дядьдавид», а дядя Давид и впрямь загибался, будучи некоторое время не в состоянии разрешиться спасительным смехом. Но я слышал, прекрасно слышал, как Гнойков сказал напарнику: «Косит, гадина! Чернуху разводит!» И я видел, как из Вовиноного кабинета бочком, бочком, временно не имея возможности выпрямиться из-за особенности мужского устройства, выходит первый хмырина, и лицо у него багровое, растерянное до полной глупости, рубашка торчит из-за пояса, полноса в губной жемчужно-розовой Таськиной помаде. Я, согнутый, как от удара в печень, присел на диван и охал, унимая хохот, но можно ли было с ним справиться, когда следом за первым хмыриной из комнаты вышла Таська, и вид у нее был такой серьезный и задумчивый, словно за пару минут перед тем она пыталась не мужика при исполнении служебных обязанностей на себя бросить, а читала «Анну Каренину».

— Ну что, Давид Александрович, перестанете с ума сходить или вызвать «Скорую»? — мстительно спросил первый хмырина, которого, как вы, очевидно, заметили, я принципи-

ально и из брезгливости не называю нигде по имени и отчеству. После этого вопроса с меня смех как рукой сняло.

— Смешного в вашем положении ничего нет, между прочим, вы ко всему еще и самогонварением занимаетесь! Вы знаете, что за это судят?

— Судят за приготовление, а не за распитие, — сказал я, и тут с хмырины вмиг слетели выдержка и вежливость.

— Мы будем судить вас за варение самогона с целью дальнейшего использования. Я передам дело в милицию!

— Передавайте. Только не надо мне грозить. Я пуганый. Делайте свое дело. Квартиру толком обыскать не можете. Если ваши специалисты не соберут буфет обратно, я буду жаловаться в Организацию Объединенных Наций. — Я так и сказал для большего шухера и чтобы поразить этих незваных ищеек. — Карпов вас по головке не погладит.

— Молчи, идиёт, молчи, мое вечное горе, — зашипела Вера, и я пошел в сортир. Мне ужасно захотелось побыть в одиночестве. А телефон все звонил и звонил, пока кто-то не накрыл его ковриком. Тогда он стал звонить совсем глухо и не так трепал взвинченные нервы. В сортире я достал из старой заначки в стенном шкафчике махорку, газетку и спички. Свернул с аппетитом самокрутку и закурил, хотя бросил курить года три назад и не сделал с тех пор ни одной затяжки.

Я курил и прислушивался к своему сердцу: прошла в нем стонущая от дурных предчувствий боль или нет, кончается наконец-то что их вызывало или, наоборот, катавасии моей жизни только начинаются? Не очень что-то интересовало меня в тот момент, что же будет дальше. Я прислушивался к шагам шмонщиков, к их голосам и понимал по дурацким репликам, что дела их хреновы: не знают они, ничего не обнаружив при шмоне, как быть дальше со мною. Впрочем, я и сам не знал, как мне быть. Федора бы сюда, думал я, он бы подсказал, у него бы не заржавело!

— Ну что ты, Давид, засел там? — зло спросила меня Таська, дернув дверь сортира. — Повесился, что ли?

— Да, — отвечаю, — повесился. Сама знаешь отчего.

Я пропустил туда Таську вместо себя.

— Козел старый, — прошипела моя бедная соседка.

— Ланге, — сказал первый хмырина, когда я вошел в большую нашу комнату, — советую вам сразу же указать местонахождение самогонного аппарата и тем самым облегчить свое положение.

— Только не надо, — сказал я, — меня парить. Я пареный и к тому же бывалый разведчик. Пойдем дальше. Обыск кончен?

— Обыск кончен, но дело продолжается, — ответил хмырина.

— Какое дело? Конкретней! — сказал я.

— Он ни в каких делах не замешан, дорогой товарищ кагэбэ, — вмешалась Вера. — Он рабочий. Его весь город знает. Вы сами нашли в шкафу все его ордена.

— Однако ваш муж регулярно организует с провокационными целями группы рабочих, инженеров, техников и членов их семей для поездок в Москву под маской экскурсий. Думаете, это не стало известно где следует? Думаете, не узнали ваших лиц на злопыхательских фотографиях, отобранных у иностранных туристов в ГУМе? Узнали! Специально им позируете, Ланге? Для этого сколачиваете группы недовольных?

— Ах, вот как вы повертываете? — говорю. — Только не прите на буфет. Вы его сломали. Разговор с вами продолжать не желаю. Действия ваши считаю противозаконными. Пишите протокол обыска и покиньте наш дом. Иначе я сам позвоню вашему генералу и тоже сообщу куда следует.

— Куда? — поинтересовался хмырина.

— Пишите протокол, — сказал я. Мне было скучно и отвратительно беседовать с легавым, растерянным из-за полного непонимания, как ему быть дальше. — Пишите и выматывайтесь, дайте отдохнуть рабочему человеку.

— Зря вы так, Ланге, разговариваете с нами, зря, — сказал хмырина. — Пожалеете ведь еще об этом.

— Вот о чем не пожалею, о том не пожа-

лею. Я еще, по-моему, слишком вежлив, особенно с вами, гражданин старшой.

Хмырина запылал, поняв, на что я намекаю. Тут вернулась из сортира Таська и, как у себя дома, расселась на диване. Видно, происходившее было ей интересно, как представление в театре. Физкультурник же по-прежнему клевал носом. Хмырина сел за стол и разложил какие-то бумаги. Вы теперь понимаете, дорогие, что я не ошибся? Понимаете, что обыск явно был связан с моим откровенным разговором с Жоржиком? Вы понимаете, как эти полновластные в течение шестидесяти лет жоржики, привыкшие к рабскому отдрессированному поведению своих подданных, яреют вдруг от несогласия с ними, от вольного изложения своей точки зрения, от намека на существование в тебе чувства собственного достоинства, от бесстрашия и отсутствия в словах и манерах рабской почтительности? Они яреют и, не гнушаясь никакими, даже самыми мелкими подлостями, которыми зачастую брезгуют наши младшие братья — животные, стараются заткнуть твой правдивый рот, искривить твои осмелившиеся противоречить губы, стараются изничтожить в зародыше твой протест против лжи и харкнуть в твои глаза, чтобы ты не замечал, сволочь, в дальнейшем того, что считается жоржиками несущественным и нежелательным.

Я опять отвлекся. Извините. Пора переходить к основным событиям того дня, изменив-

шим и поставившим на попа мою жизнь и судьбу. Итак, хмырина соображал, мне это было ясно, что ему доложить Карпову, а я еще подлил масла в огонь, сказав:

— Чего вам беспокоиться? Вы ведь много сегодня успели.

— ДИссидент ты проклятый, Давид, и сионист, вот ты кто, — поняв мой намек, сказала Таська. Но это были беззлые слова.

— Понятая, — сказал Таське хмырина, — пересчитайте количество самогона, укрытое в квартире Ланге.

— Одна я не справлюсь. Мы плохо считаем и только до трех, — заозорничала кокетливо Таська.

— Возьмите, понятая, с собой на подмогу вашего мужа, — сказал хмырина.

— Если хочешь знать, — сказала Таська с глубокой обидой, — я не понятая какая-нибудь, а непонятая! Понял?

— С самогона этого вы не разживетесь, — сказал я.

— Разживемся. Дело фактики любит, иногда самые вроде бы неприметные, — отозвался хмырина, начав заполнять протокол.

И тут я услышал дрожащий голос Веры:

— Это не наше! Я ничего не знаю! Это — не наше!

Я закрыл глаза уже не от дурного предчувствия, а от ощущения настоящей беды, хотя не мог понять, лихорадочно соображая в то мгновение, что так сильно испугало мою Веру.

И когда Гнойков с экземной физиономией, расплывшейся от похабного удовольствия, вошел в комнату, держа в руках амбарную книгу для записей, я не хотел в первый миг поверить, что это та самая книга, в которую я записывал несколько лет интересные рассуждения Федора на разные жизненные и политические темы. Я с колотящимся сердцем уговаривал себя: не она, не она... не она.

Ведь эту амбарную книгу у меня выпросил Вова, чтобы познакомить своих друзей с мыслями Федора, которые сам он никогда не записывал, несмотря на мои неоднократные попытки изменить его отношение к плодам своего ума и опыта собственной тяжелой жизни.

Ах проклятый Вова, ах мерзавец, щенок, растяпа, подлый обалдуй, ты подвел под монастырь родного отца на старости его лет! Почему ты не увез ее? Почему? Убью! Убью! Убью! Вот отсижу свое, освобожусь и убью тебя, бессердечную дрянь, своими отцовскими руками и вовек не прощу такого погибельного для всех нас распиздяйства (это слово, дорогие, к сожалению, непереводаимо).

Думая так, я был вне себя от бешенства, горя, страха и невозможности быстро сообразить: как же мне теперь быть, старой безмозглой жопе? Как же мне быть? Притом я старался не выдать своим видом, что за крематорий пылает в моей душе. А первый хмырина буквально зарылся носом в амбарную тетрадь, что-то вычитывал, перелистывал, торжествуя

и злорадствуя, поглядывал на меня, затем как бы сочувственно сказал:

— О-хо-хо, Давид Александрович, о-хо-хо! — Снял трубку, набрал номер, заслонив от меня диск аппарата, подождал и будничным голосом, в котором только я мог тогда различить самодовольную радость предчувствия кровавого пиршества и звериное урчание, доложил:

— Говорит Скобликов. Да... Вы были правы. Хорошо. Сейчас оформим протокол.

После этого хмырина положил трубку. Из каждого его движения сочилась охотничья удача, он словно бы перестал замечать меня, снова углубившись в чтение проклятой амбарной книги.

— Ваш почерк? — спросил хмырина.

— Мой, — ответил я.

— Мысли тоже ваши? Подумайте, перед тем как ответить, чтобы потом не менять свои показания.

Думать мне, дорогие, было нечего, как на войне. Но я молчал, и хмырина мог при желании истолковать мое молчание как муку раздумья и бешеное метание от одного выбора к другому, метание загнанного зверя в поисках спасительного выхода из загона. Я молчал от сдавившей горло неизбежности принятия единственного из всех возможных решений. И я бы проклял свою душу, если бы в тот миг просто так позволил себе хотя бы вообразить иным свое поведение, не говоря уж о его по-

следствиях. И я имею право заявить вам, что человек, заслуженно считающий себя порядочным человеком, не нуждается в долгих раздумьях, как ему следует поступать в крайних случаях, когда можно откупиться от тюрьмы и гибели ценою предательства.

— По-моему, дураку должно быть понятно, что раз почерк мой, то и мысли мои, — сказал я спокойно, и мне моментально стало ясно, что нечего испытывать еврейские муки с посыпанием головы пеплом, проклятиями, истошным завыванием и соблазнительными представлениями о том, как прекрасна была бы и беззаботна жизнь, если бы ты, мудила грешный, оказался ранее чуточку мудрей и чуточку предусмотрительней. Это стало мне ясно. А раз охота, то я, господа, не воробей, я бывший солдат, и сцапать меня мало, меня еще надо повязать, чтобы потом взять за горло и удавить, а это не так просто, уверяю вас, не так просто.

— Вера, — обратился я при всех к своей жене, — если сию секунду в твоих глазах не загорится жизнь, если ты еще раз хрустнешь пальцами, которые не знаешь куда деть, если ты не бросишь приготовлений к моей гражданской смерти, если ты позволишь этим людям и впредь испытывать удовольствие от твоего горя и нашей беды, то я обломаю остатки прабабушкиного буфета о твои ребра. Я тебе это твердо обещаю.

— Хорошо! Хорошо! Все будет по-твоему.

— А вы знаете, Ланге, — сказал хмырина, — что вы правы. Дураку все это, возможно, понятно. Но не дураку, простите, непонятно. Не ваши это мысли, не ваши. Чем дальше читаю, тем больше, несмотря на чтение беглое и невнимательное, убеждаюсь в этом. Не ваши мысли. Почерк, конечно, сличим, а мысли не ваши. Попросите третьего понятого, — приказал хмырина своим подручным.

Мне уже было наплевать, что сейчас снова явится в мой дом застенная крыса нажраться от пуза мстительной радостью, поняв, что погорел ненавистный ей человек довольно серьезно, так серьезно, что, возможно, надолго перестанет быть ее, крысы и стукача, соседом.

— Что тебе с собой приготовить? — спросила Вера голосом жены, собирающей мужа в Кремль для получения ордена Ленина за самоотверженный труд.

Хмырина улыбнулся, а Гнойков продолжал самоуверенно и нагло, после долгожданного успеха, шнырять по полкам, закуткам и исследовать с помощью лупы плинтусы.

Сам я думал исключительно о том, что Федор, узнав сущность дела, попрет как танк доказывать свое авторство, с тем чтобы меня освободили, а его ко всем чертям забрали и осудили. Думать об этом было ужасно. Он же не знал, что я записываю его мысли, как Петька записывал мысли Чапаева, когда Чапаев, наговорившись вечером за рюмкой водки, ложился спать под бурку (походный плед), не

знал Федор, что я лелеял мечту сохранить эти мысли для людей и когда-нибудь, с его разрешения, пустить по рукам в самиздате. В амбарной книге было много замечательных мыслей. От каждой из них у политических руководителей глаза полезли бы на лоб, если, разумеется, они поняли бы их. Но как понять простейшие и очевидные вещи тем, кто давно оторвался от реальной жизни. Об этом соответственно не раз рассуждал Федор. Я, после того как мы прощались и он уходил, доставал амбарную книгу и на память, иногда два-три часа подряд, записывал, стараясь не пропустить ни словечка, даже то, чего я до конца, по своей необразованности пролетарской, не понимал. Нет! Я не мог в те минуты представить лицо Федора, представить взгляд его глаз, повидавших на своем веку столько, что другой давно надорвался бы, и ко всему прочему неожиданно-негаданно имеющих цыганское счастье увидеть дело рук своего преданного друга, нечаянное дело заботливых рук, движимых исключительно почтением к тому, что, на мой взгляд, обязано принадлежать людям. Разумеется, я бушевал бы на очной ставке, и Федору при всем его желании не удалось бы доказать своего авторства. Как бы он его доказал? Утверждением, для меня не обидным, что я человек недалекий — при всей моей честности и доброте? Тем, что любая экспертиза может подтвердить отсутствие у меня философских способностей и знаний? В общем, я почув-

ствовал тогда, что упала частично гора с моих плеч. Не обманут я предчувствиями, теперь нужно расхлебывать кашу, а не питюкать (ныть и упрекать судьбу) и, собравшись с силами, выдерживать ее удары. Так я и решил, если спросит меня однажды Федор одними глазами: «Что ты наделал?» — я попрошу его позволить великодушно мне самому за все расплатиться, а этого байстрюка, эту ученую харю, этого паскудного молокососа Вову... я не знал, что я сделаю бы, окажись он в тот момент под моей рукою! Зубы вышиб бы, измордовал бы в кровь, чтобы до гроба помнил об ответственности, мерзавец и предатель, и можете сколько вам хочется возмущаться моей строгостью и жестокостью. Потом я подумал, что в конечном счете во всем виноват я один. Я, подлец, виноват, летописец хренов, виноват во всем, и слава тебе, господи, что догадался я не называть в записях ни одного имени, ни единой фамилии, кроме Ленина, Сталина, Никиты, Брежнева, Гитлера, Берии, Косыгина, Суслова, Че Гевары, Мао, Маркса (Кырлы Мырлы) и Филонова.

Филонов — поясню — был участковым ментом в центре города. Держиморда страшная. Зверствовал на своем участке, как тигр в джунглях. Шил дела, врвался беззаконно в квартиры, бил детей и подростков за нарушение тишины, конфисковывал самогон, вымогал взятки у цветочных спекулянтов, чистильщиков сапог, продавщиц пива и кваса, — од-

ним словом, гулял по буфету. Весь наш чуткий на ловлю слухов город вдруг просыпается и узнает, что ночью Филонов собственноручно расстрелял всю свою семью из служебного пистолета, зачитав ей предварительно приговор, который сам же написал безграмотной рукою. Приговор этот потом кто-то перепечатал и распространил. Вот его приблизительный текст:

«Именем союза работников карательных органов... служебный суд городского изолятора в лице старшего участкового Филонова приговорил за все прошлые и будущие преступления к высшей мере социальной защиты — расстрелу через повешение — следующих товарищей: Филонову А. А., Филонова Б. А., Филонову Р. А. и Филонова К. Л. Он же счел возможным в связи с преклонным возрастом заменить Пологовой К. Л. высшую меру пожизненным наказанием.

Приговор приведен в исполнение 4.04.1971 года в 03 часа 00 минут по моск. вр. ст. упол. Ф...в».

Видать, участковый торопился после казни и прибегал к сокращениям. Его девяностолетняя теща была свидетельницей этой жуткой истории. На следствии выяснилось, что Филонов распивал с семьей с самого вечера чачу, преподнесенную ему неизвестным с одним золотым передним зубом и иностранным акцентом. В чачу была подмешана настойка белены. Объевшись ею, Филонов и очумел. Выжившая теща показала, что участковый регулярно пил

и, выпив, грозил перестрелять всех к чертовой матери, начиная... С кого именно он хотел начать массовые расстрелы, так и осталось невыясненным, хотя на следствии Филонов был, что называется, открытой рубахой-парнем и ничего не утаивал. Ходили слухи, что он объяснил свое соучастие в злоупотреблении служебным положением (так он сам квалифицировал преступление) «звучанием в ушах и прочих органах слуха строгого приказа: расстрелять к чертовой матери, и что было приведено в исполнение без обжалования и последних слов».

Филонова навечно поместили в нашу новую, известную теперь во всем мире психушку. Там он и живет до сих пор, работая санитаром в спецотделении, где держат людей, которых политруки считают сумасшедшими за их нормальное отношение к нашей безумной действительности. Хорошенького санитаря назначили к здоровым и честным людям, не правда ли? Но самое странное в этой истории вот что. Девяностолетняя теща продолжала жить-поживать, пуская за деньги на ночевку грузинских цветочников в широких кепках и с бешеными деньгами. И вот в один прекрасный день по городу нашему, населенному людьми нового типа, пополз интереснейший слух: Филониха старая замуж выходит. Жених старше ее на пятнадцать лет и занесен в какую-то международную то ли Белую, то ли Красную книгу как выдающийся долгожитель.

Разумеется, все мы понимали, что за сватовством Филонихи стоят крупные финансовые магнаты Грузии и чуть ли не самый первый секретарь ЦК Мжаванадзе и что цель у них у всех одна: оттяпать квартиру Филонихи из трех комнат, чтобы прописать там часть огромного семейства Валико Джаджелавы. Предполагалось, что в дальнейшем оно усилит наступление на жилфонд города, потеснив очередников из местных. Наступление будет поддержано мощными банкетам, подкупом представителей горжилотдела и горкома партии. Многочисленные внуки и правнуки долгожителя надеялись, по слухам, охмурять наших телок безмозглых, жениться, прописываться и легализовать таким образом свое тунейдское пребывание в нашем городе, торгуя цветами, орехами, гранатами, кинзой, укропом, петрушкой, сезонными фруктами, маринованным чесноком, перцем и черемшой.

Вы бы посмотрели, дорогие, что творилось в день свадьбы у загса Ленинского района, вы бы посмотрели! Не могу, несмотря на лишнее отступление, не вспомнить об этом. «Жигулей» и «Волг» прибыло в наш город столько, что на колонках не хватало бензина. На местном военно-спортивном аэродроме приземлился двухмоторный самолет. Есть свидетели, видевшие, как из самолета выгружались парные поросята, клетки с цыплятами, корзины с зеленью и фруктами, огромные бутылки белого и красного вина, цветы, ковры, тушки барашков,

головки сыра, казаны, мангалы, древесный уголь для них, грецкие орехи, банки с пряно-стями, говяжьих ноги для хаша, которые в народе зовут «босоножками Брежнева», и прочую снедь. Последним из самолета вылез гигант и красавец повар. За ним захлопнулась дверь черной «Чайки». В сопровождении таких же черных «Волг» «Чайка» полетела в наш город. Впереди нее неслась милицейская шмакодявка с сиреной, сгоняя на обочины колдоебинного (щербатого) шоссе грузовики, мотоциклистов и пешеходов. С таким шиком и эскортом к нам приезжали только члены политбюро и однажды сам Косыгин. Его завели, помню, в подготовленный гастронорм, показали прилавки, набитые всеми продуктами, и внушили, что город наш снабжается бесперебойно, а жалобы в высокие инстанции с жиру бесятся и от разврата хер за мясо не считают.

Так вот, для предупреждения возможных волнений среди обывателей гости из Грузии купили целую телепередачу, в которой рассказывалось о долгой трудовой и семейной жизни Валико Джаджелавы. Мы ровно час рассматривали на экране фотографии славных горцев, их родственников, пейзажи красавицы Грузии и букеты различных цветов, пользующихся огромным спросом в нашем прокопченном городе. Затем жених внятно рассказал, как во время пребывания в гостях у правнучатой внучки — главного гинеколога области — он встретил на улице имени решений XXV съезда

Пологову Аглаю Васильевну, стоявшую в очереди за говяжьим выменем, и полюбил ее с первого взгляда. Естественно, после этого он как человек чести предложил Аглае Васильевне руку и сердце. После интервью с женихом телеоператор пригласил нас в трехкомнатную квартиру невесты, в которой на одной из стен власти еще не успели заштукатурить дыры от нелепых пуль участкового Филонова. Квартира была что надо. В нее уже вносили кухонный, спальный, кабинетный и столовый гарнитуры. Сантехники меняли сантехнику отечественную на финскую. Невзрачные белые рамы в запекшихся шкварках масляной краски обновлялись и красились под дуб. Отколупывалась также старая замазка. Невеста, приборохлажденная (приодетая) в национальный костюм горянки и перекрашенная, подобно рамам, из блондинки в брюнетку, сказала в микрофон, что она за все благодарит родную партию и правительство, а ради дружбы народов готова прожить еще сто лет, до самого коммунизма, где, добавила она, будет меньше, чем нынче, смертей на душу населения и участковых уполномоченных. За упоминание о Филонове редактора передачи «Живем долго, долго» впоследствии исключили из партии и назначили директором городского музея счастливой старости, где он и спился, воруя спирт из банок с заспиртованными животными: лягушками, тритонами, летучими мышами, пауками и рыбами.

Ну а то, что творилось в день свадьбы Аглаи и Валико около загса, описать невозможно. Но я попробую, ибо желаю, дорогие, отвлечься пусть даже в самом трагическом месте этого неожиданно растянувшегося письма.

Улица имени Сотой погранзаставы была перекрыта нарядами переодетых в косоворотки и сталинские кителя ментов. В сталинские кителя их переодели в знак уважения к великому земляку жениха Аглаи Васильевны. Почему улица, раньше называвшаяся Тринадцатой заводской, была переименована в Сотую погранзаставскую, я не знаю, какими подвигами она прославилась — неизвестно. Поговаривали, что на сотую заставу отсылали для ловли нарушителей границы немецких овчарок из нашего городского собачьего питомника, но я этому не верю. Овчарки из питомника еще ни разу не взяли ни одного следа грабителей, убийц, хулиганов и насильников, до сих пор наводящих ужас на моих земляков.

Так вот, у загса в день свадьбы было столпотворение. Когда стодесятилетний Валико вывел под руку Аглаю Васильевну из подъезда загса, грянули шампанские выстрелы. Новобрачных закидали разноцветными гвоздиками, которые подбирали с асфальта пронырливые базарные барыги-перекупщицы. Два небольших оркестра, грузинский и балалаечный из Дворца культуры металлистов, играли, представьте себе, наш «Фрейлахс», и какое-то время на улице у загса действительно была неко-

торая дружба народов, песни и танцы. Вереница машин, подобная той, которая едет по проспектам Москвы, когда Брежнев встречает во Внукове африканских и азиатских тиранов, проследовала от загса к снятой родственниками Валико фабрике-кухне имени Кирова. Киров, чтобы вы знали, был убит по приказу Сталина в 1934 году и, в отличие от Микояна, не имел никакого отношения к народному питанию. Но старые большевики частенько утверждают на единственном в нашем промышленном городе бульваре, что если бы все было наоборот, если бы Киров ухлопал Сталина, то сейчас с продуктами было бы более сносное положение.

Поговаривают до сих пор, что в трех залах фабрики-кухни разместилось не менее пятисот гостей. Пьянь там шла до утра. Дружинники отгоняли от окон любопытных, потому что вид столов, уставленных жареными поросятами и прочей снедью, сводящей с ума желудки, черт знает до чего мог довести возмущенных горожан. Зато неподалеку стояло десять машин-цистерн, в обычные дни поливавших клумбы около статуй Ленина и Маркса. В цистернах на этот раз была не вода, а грузинское, очень неплохое, вино. Продавалось оно по дешевке, брало с ходу, перевинчивало мозги надолго. Опустошенные поливалки срывались с места и мчались на Товарную под новый залив к железнодорожной цистерне, прибывшей из Грузии. Так что к вечеру несколько сот человек

прилично накачались. Все там было около фабрики-кухни: мордобой, песни, хороводы, здравицы и похабные шутки насчет первой брачной ночи Валико и Аглаи Васильевны.

Попробуйте, дорогие, догадайтесь, чем кончилась женитьба двух долгожителей?

Эту часть письма я вынужден сегодня же отправить. На днях, остыв от воспоминаний, возьмусь за следующее, самое, пожалуй, тяжелое для меня письмо. В двух словах о моей московской жизни. Мы ждем ответа из ОБИРа второй месяц. Я по-прежнему помогаю старым евреям паковать на почтамте манатки. Если я вижу, что денег у них кот наплакал, то за свою квалифицированную работу не беру ни копейки, сколько бы мне ни предлагали. Но если меня умоляет упаковать и подготовить к таможенному осмотру мебель, посуду, пианино и прочий домашний скарб какой-нибудь гешефтер или акула из торговой сети, у которой денег куры не клюют, хоть жги их на Красной площади, то я, будьте уверены, беру свое. Цену в таких случаях назначаю я, и меня еще при этом носят на руках, потому что я не деру три шкуры, как казенные упаковщики, и пакую на совесть, не то что эти наглые и бессовестные прохиндеи. У них задача одна: взять побольше, а упаковать похуже. Чтобы эмигрант — еврей, русский, немец, литовец, армянин, украинец или негр, — приехав на место, отколупнул от ящиков жестяные накладочки, повытаскивал гвоздики из дощечек и, горя от чело-

веческого нетерпения встретиться с близкими, а иногда и любимыми как пустяковыми, так и ценными вещами, заглянул внутрь и отпрянул от багажа в горе и досаде. Одни черепки, дорогие, приходят иногда во все страны мира после упаковки казенными упаковщиками эмигрантского багажа. Черепки, труха, обломки, каша. Каша от пианино «Красный Октябрь», черепки от сервизов, фужеров, зеркал, труха от коробочек, шкатулок, обломки сервантов, книжных стенок, столов и стульев. Один подонок, алкоголь и продажная падаль, которую уже вообще никуда на работу не брали, а в упаковочную приняли за подписку о сотрудничестве с КГБ и таможней, признался однажды за рюмкой, не разглядев во мне еврея, что впервые в жизни получает он душевное удовлетворение от труда, ставшего теперь, можно сказать, любимым. Я, говорит, с радостью хожу на работу и знаю, для чего тружусь, не то что на ЗИЛе или же на стройках. Я Мойшам и Сарам так говорю прямо в лоб: триста, например, на бочку, и шмотки будут в ней лежать, как тихоокеанские селедочки, ровнехонько, бочок к бочку, тютелька в тютельку. В противном случае все может быть, и я за это не отвечаю. Как миленькие выкладывают. Кто же за сохранность вещей не выложит любые денежки? А их жидовня накопила за тыщу лет миллиарды. Даже в газете «Известия» и в журнале «Огонек» писали недавно об этом и прочем сионизме. Вот я и делаю им из сервизов сюрпризики, радуйтесь,

думаю, Бори, Яши и Изики. Бой в багаже происходит. Я иногда подсурупливаю (подкладывает свинью) кое-что почище. Вынюхивают, скажем, у меня, не мог бы я за большие деньги заначить с концами (хорошо спрятать) в багаже камешек, золотишко, валюту, картину, гравиюру и прочие цацки. Не соглашаюсь. Тяну. Делаю понт (притворяюсь), что узнаю, кто будет дежурить на досмотре, какая смена, своя, мол, или не своя с незнакомым начальником. Потом соглашаюсь. Конечно, редко это бывает. Все же большинство евреев не дураки, отдаю им должное. Отдаю. А куш крупный беру. Багаж, в котором притырено что-нибудь, спокойно проходит досмотр, евреи ручки потирают, в пояс мне кланяются, добавляют еще денег, тут они не скупятся, коньячком заливают так, что пару дней потом череп гудом гудит, дребезгом дребезжит, и улетают в Вену в спокойствии за некоторый завтрашний день. Улетели. Таможенники тогда же после досмотра снова багаж раскурочили, забрали что надо по моей наколке (информации), поделились друг с другом и с начальством, потому что за назначение на таможенню сейчас огромные деньги люди платят, и меня похвалили. Спасибо тебе, Курносов, за службу. Не пей только на работе, деньги копи, скоро машину себе купишь. Они, суки, не знают ведь, что я на еврейские денежки уже две купил и перепродал. Дом в Малаховке приглядываю. Я бы, конечно, и сам мог перепулить камень из багажа себе в карман, но они

меня предупредили, что однажды я неизбежно погорю на таком фуфле (обман) и проволоку остаток дней на строгой каторге. Так что играть в кошки-мышки с таможенной мне ни к чему. И так хватает.

Вот такая сволота гнилая этот Курносов. Когда он рассказывал мне о своей подлянке, я сидел в вокзальном ресторане и думал, что бы мне с ним такое сделать, с пакостью бесконечной? Бутылкой между рог вдарить или схватить за чуприну (волосы) и тыкать носом в тарелку, пока невзрачная солянка не станет багровой, как хороший украинский борщ? Может, завести в темную подворотню и печень как следует отбарабанить, чтобы отлилось Курносову горькое позднее разочарование обнадеженных людей? Как бы возмездие сотворить заслуженное такой чудовищной мрази, вместо того чтобы пить с ним за одним ресторанным столом, пусть даже случайно? Его счастье, что накачался он, пока хвастался своими подвигами над безоружными и беспомощными людьми так, что сполз под стол. Я ушел, отплевываясь от гадливости и от того, что мои и без того немаленькие представления о человеческой подлости существенно расширились после Курносова. Но молчать я, конечно, не мог. В течение месяца один старый еврей предупреждал около голландского посольства всех отправлявших багаж из Москвы малой скоростью о существовании мерзкой твари — упаковщика Курносова, краснорожего, голубогла-

зого, седоватого, обходительного и на вид душевного человека. Стараться избегать его услуг. При случае говорить в глаза, что он — гнида и что колун по нему плачет. Давать упаковывать только одеяла, белье, перины, подушки, одежду, футбольные мячи, ковры, кухонную посуду и так далее, то есть то, что повредить в дороге трудно и не жалко. И что вы думаете? Прогнали подонка. Прогнали, потому что перестал он сдавать таможенникам заначки с цацками, и те, естественно, подумали, что Курносов, зажавшись, сам перепуливает их куда-то. В два дня его съели с потрохами. Подняли жалобы, присланные эмигрантами из-за рубежа, выгнали Курносова из упаковки, а эмигрантам сообщили, что виновные в халатном отношении к служебным обязанностям сурово наказаны и что оно больше не повторится. Как будто можно было повторить выезд людей из СССР, обеспечив при этом более качественную упаковку. А у меня зато теперь целое упаковочное дело. Иногда Федор приезжает в Москву, и мы на пару трудимся. Пилим доски, сколачиваем, прокладываем мягким бьющееся и полировку и так далее. Наладил я связь с хлопцами. Нарезают мне в одном месте доски нужного размера — только сколотить их остается, — снабжают картоном, стекловатой, жестью и веревками. Пара грузовиков всегда у меня под рукой. Кто в наше время не хочет приработать? Все хотят. И председательница Палаты Национальностей Верховного

Совета Насриддинова тоже хотела, но аппетиты ее подвели, говорят. Деньгами уже не брала. Только крупными бриллиантами. А шоферня и ребятишки со складов, славные, надо сказать, ребятишки, и все до одного антисоветчики, рады, когда им сотня-другая перепадает на харчишки и выпивку. Они при этом весело говорят:

— Ты не думай, Давид, что мы у государства воруюем. Не воруюем мы, а боремся с инфляцией.

Вы бы написали, кстати, дорогие, запрос из своей Америки в газету «Правда», как у нас в стране обстоит дело с инфляцией. Интересно, что ответит газета, призванная говорить, если верить ее названию, все, как оно есть на самом деле? Очень интересно. Наверное, «Правда» ответит примерно так, как предполагает Федор: «В ответ на ваш запрос относительно инфляции в Советском Союзе рады сообщить, что инфляция является верным спутником капиталистического способа производства. В нашей стране уничтожена социальная база для ее возникновения и развития (см. работу В. И. Ленина «Что делать?» и второй том Сочинений Л. И. Брежнева). С приветом американским рабочим, чл. редколлегии Валентин Зорин».

В общем, если некоторым мазурикам из московской упаковки доставляет удовольствие мелко пакостить людям и вымогать у них при этом немалые деньги, то мы с Федором раду-

емся, когда из дальних стран вдруг через кого-то нам приходит «большое спасибо». Приятно помогать людям и делать свое дело на совесть. Но чтобы больше не возвращаться к малоинтересной теме упаковки, скажу вам следующее: безусловно, если бы начальство распорядилось по указанию политруков сверху относиться к покидающим страну людям по-человечески, не унижая их достоинства и не плюя в души, скорбящие зачастую из-за разлуки с какой-никакой, а все-таки с родною страной и с друзьями, но подножная шваль, вроде рядовых шмонщиков на таможах, упаковщиков и носильщиков, которая продаст за сто рублей родителей и ту же Родину, если представится удобный момент, побоялась бы творить бездушный произвол и делать все, чтобы напоследок у человека осталось в душе ощущение гадливости и смрадного страха.

Вот я сейчас готов продолжить рассказ об обыске, чтобы перейти затем к последующим событиям в моей жизни, в жизни Федора и всей моей семьи, готов, но опускаются руки и душу воротит от стола с листком ожидающей меня бумаги, настолько тяжело все, что было, настолько робеет все мое существо пережить мысленно все происшедшее.

Впрочем, не надо корчить из себя большого страдальца и думать, что пережить нечто было гораздо легче, чем вспоминать его впоследствии. Не надо. Не то, заметив такое твое лукавство, Всевидящий возьмет да и лишит

тебя мучительной памятью, а переживаний подкинет столько, что вспоминать их будет просто некогда. Пусть лучше душа твоя будет благодарно памятливая за малюсенькие проблески в тяжелой цепи бед, утрат и перенесенных несправедливостей, пусть она будет всегда благодарно памятливая за продолжающуюся вокруг тебя и в тебе самом после всего, что было, яростную и нежную жизнь, с неосуществимой снисходительностью терпящей сопутствие с собою страданий и смерти. Не больше ли она их всех — страданий и смертей, вместе взятых? Неизмеримо больше! На то она, дорогие, и жизнь... Двинемся дальше. Возвратимся в тот злополучный день.

Таська, ее прекрасно выспавшийся физкультурник, стукач-сосед, Гнойков и второй хмырина с нетерпением ждали, когда первый хмырина закончит составлять протокол обыска. А мы с Верой сидели и печально переглядывались. Квартира наша, такая уютная и чистенькая еще несколько часов назад, была похожа на растрепанную, изнасилованную девку. Казалось, она сильнее, чем мы — близкие ей люди, — переживает случившееся и не может после него опомниться. Все в ней страдало, верьте мне, все! И сбитые набок рамки фотографий, с одной из которых прабабушка моей Веры, странно усмехаясь, смотрела на остатки пережившего ее буфета, и сдвинутая со своих мест мебель, и опущенные, несмотря на дневное время, шторы, и перекособоченные поло-

вики, и полусдернутые с гвоздиков коврики, и перещупанные подушки, и перевернутые постели, и многое другое. Только мелкие, разбросанные там и сям по полу вещицы и пустяковины, о существовании которых я лично давно забыл, красовались в самых неподходящих местах, откровенно вызываяще радуясь случайному вызволению из давнего забвения и поражая разум своей очевидной никчемностью.

— Все — на помойку! — скрипнув зубами, сказал я Вере. — В доме не должно быть ничего лишнего! Тебе понятно?

— Да, мне понятно, что из дома должно быть выброшено все, кроме вон той амбарной книги, — ответила мне Вера, и я почувствовал, что упрек жены справедлив.

Стукач-сосед то и дело заглядывал в то, что писал первый хмырина. Гнойков, удовлетворенно подергивая ляжками, смотрел в окно. Он ими, сволочь, подрагивал, как шелудивый пес, стряхивающий с конца каплю мочи. А Таська пристроилась к первому хмырине, локоть к локтю, и замороженно следила за движениями его здоровенной никелированной винтовки — шариковой ручки. Физкультурник вполголоса обещал второму хмырине устроить его дочку в гимнастическую секцию Дворца спорта. Когда они успели снюхаться — непонятно. Телефон звонить перестал. Зато начались звонки в дверь.

— Говорите, Тюрин, что Ланге скоро освобождается, — велел первый хмырина.

— Слышал? — с ужасом спросила Вера.

— Ты хочешь, чтобы я освободился не так скоро? — переспросил я шутливо, но кошки заскребли мою душу от этого слова и даже не столько от него самого, как от тягостного непонимания — с расчетом на трепку нервов употребил это резанувшее сердце слово «освободится» хмырина, с намеком на возможное изменение течения моей жизни, или же мне следует возликовать в душе от некоторого прояснения тоски ожидания, выкинуть из головы мысли о тюрьме, следствии, суде и перестать гадать, сколько я заработал: три года, пять или все десять.

Может быть, я действительно скоро освобожусь? Подпишу протокол и на радостях, что меня не забирают, потрясу подобострастно руки шмонщикам на прощание и на радостях же приглашу распить бутылку стукача-соседа, ибо, взмолившись о том, чтобы не забирали меня в каталажку, я чувствовал, что готов простить даже гнусную гадину, готов отказаться от всех своих претензий к людям, к советской, будь она трижды проклята, бездушной власти, готов просить у Бога прощения за различные сетования, ничтожество которых стало мгновенно очевидным рядом с безмерностью свободы, вообще не ощущавшейся мною всего каких-то несколько часов назад и по безумной легкомысленности, по привычному самодовольству не принимавшейся в расчет в моих отношениях с людьми, миром и временем жиз-

ни. Господи, говорил я, повторяя про себя: «Ланге скоро освободится... Ланге скоро освободится... Ланге скоро освободится» — и надеясь, что это «скоро» не растянется на неведомо сколько лет, уже навалившихся на мои плечи черным гнетом предвосхищенной от страха адской неволи. Господи, говорил я, пусть болезни, пусть нищета, пусть недоедание, пусть бесконечные унижения, пусть беспросветность мертвословья газет и парторгов, пусть даже вечный страх потери свободы, пусть, но не лишай Ты меня за все это хотя бы ее самой, не лишай, Господи, ибо внезапная ясность того, что нет на свете ничего ее дороже, потрясла и теперь уже до гроба не прекратит потрясать мою душу...

Так я говорил, трепетал, словно маленький мальчик, и вдруг кровь ударила мне в голову так сильно, что я почувал испарину на лбу и безмолвно сжался в комочек от явного присутствия в моем существе ничем не измеримого стыда.

— Краснеете, Ланге, — сказал первый хмырина. — Это хорошо. Краснейте. Есть за что краснеть.

От этой швали не укрылось, что со мной что-то происходит. Но я промолчал. Я в тот же миг понял причину явления такого горячего стыда и ужаснулся. Меня ужаснуло, какие возможные бездны подстерегают человека и его душу при осознании им величайшей из ценностей жизни — свободы, при инстинктивном

страхе ее потерять, при слепой защите ее всеми силами, всеми средствами, всей изворотливостью ума. И вот я, Давид Александрович Ланге, затрепетав от приближения неволи, взмолился не отлучать меня от свободы и как бы давая понять — бесстыдная я тварь — не кому-нибудь, а самому Господу Богу, что на все я способен ради нее, на все! Это значит, что где-то в глубине души или ума, черт меня знает где, я прикидывал возможность такой выгодной махинации, такого славного гешефта, при совершении которого я мог рассчитывать остаться на свободе. Так, что ли? Неужели присутствовало во мне желание встать и сказать:

— Товарищ Скобликов! Считаю необходимым дать следующие показания для облегчения своей участи и выяснения правды. Да! Это я записывал в тетрадь крайне антисоветскую клевету. Но это не моя клевета и не мои мысли. Я — глупый. А наговорил мне все это Пескарев Федор Ипполитович. Зачем переписывал, сам не пойму. Простите! Оставьте меня дома для семьи и оклеветанной Родины.

Боже мой, думал я, неужели во мне живет и человек, и мокрица еще хуже и гадливей той, что обитает за моими стенами и сочится сейчас от счастья, что сделали ее понятой при обыске человека, которого она ненавидит за вмешательство в ее изгильяния (издевательства) над беззащитной женой и старухой матерью?

Господи, прости, взмолился я, просвещаясь

все больше, не с Тобою вступают в такие сделки, не с Тобою, но с чертом, и спасибо Тебе за ясность, какую должна быть молитва благородного и верного человека, дрожащего от страха кануть из свободы в неволю. Я к Тебе, Господи, обращаю ее в сей миг: упаси всею силой Твоей и благорасположением Твоим ко мне, червю ничтожному, от омерзительных искушений, не принимай вовек моей платы слабостью бесчестья и низостью предательства за желанную и сладостную свободу, ибо Ты открыл мне, как, нечто сохраняя, теряют и поистине живут в заблуждении, что сохранили свободу, как в черной темени тюрьмы. Поистине теперь мне смешно думать, Господи, что кто-то может лишить душу Твоего сохраненного в целости дара, но с ним и тюрьма — не тюрьма, а лишь испытание. Так вот, дай Ты мне силы и впредь для страшного испытания свободой и тюрьмой, не смешивай меня с грязью, бросая в сомнения и недомыслие, избавь от последующего стыда...

Возможно, я только сейчас облакаю в точные слова все прочувствованное тогда за какие-то мгновения, но пока они там молчали, составляя протокол, я, может быть, и не старый, но очень пожилой человек, ощущал себя таким маленьким мальчиком, пережившим умопомрачительный страх и тут же, до мучительного стыда, утрашившимся его самого, что внезапное прояснение души довело меня до потрясения в чистом покаянии и исторгну-

ло горькие и счастливые, словно в детстве. слезы из глаз.

— Ничего... ничего... поплачь... я с тобой, — шептала мне Вера, тыркая в руку носовой платок и, несомненно, правильно понимая все, что во мне происходило, и, хотите верьте, хотите не верьте, именно в те минуты я был счастлив и свободен, как редко бывал свободен и счастлив.

— Слезы лить поздно, Ланге. Москва слезам не верит, — сказал Скобликов. — Теперь ваши показания важны, а не слезы.

— Плакать надо было, когда притыривали книжицу, — не удержавшись, добавил Гнойков. Его прямо распирало от хвастовства, что нашел-таки он, нашел притырку, когда уже всем казалось, что искать больше нечего.

Кстати, дорогие, в телефонном разговоре со мной вы имели глупость поинтересоваться, где это я набрал таких «словечек». Хорошо еще, что вы не брякнули прямо в подслушивающие уши о моих регулярных нелегальных письмах. Спасибо вам большое. А «словечек» я не набирал. Они въедаются в язык, как, повторяю, железная пыль и стружка в ладони. Если вы могли бы вообразить, сколько людей за шестьдесят героических лет политруки от имени нашей Родины продержали в тюрьмах и лагерях, где коверкается все нормальное человеческое — язык, совесть, душа, половые органы, мозг, ноги, желудок, руки, кожа, кровь, цвет глаз, зубы и многое другое, коверкается бывает

настолько, что даже ничтожный барачный клоп считает абсолютно невозможным делом продолжать жизнь за счет исковерканного условиями неволи человека, то вы не задавали бы, особенно по международному телефону, дурацких вопросов. Да! Хранил меня Бог и хранит. Сам я сживал только на «губе», специально не объясняю, что это такое, поищите в словарях, но и на фронте, дружа со штрафниками-уголовниками, и после войны, общаясь с работягами, побывавшими по пустяковым делам в лагерях, я привык разговаривать с ними, извините, трекать и ботать на их языке. Или вы полагаете в своей безмятежно демократической Америке, что если лагерная жизнь миллионов людей стала частью общей страдальческой жизни России, то язык ее должен был остаться прежним: мастеровой — мастеровым, крестьянский — крестьянским, пижонский — пижонским, гешефтерский — гешефтерским, а целомудренно девичий — целомудренно девичьим и так далее? Вы ошибаетесь. Язык лагерей и тюрем, в которых соседствовали судьбы святых и убийц, гениев и растлителей малолетних существ, рабочих и грязных мошенников, крестьян и скотоложцев, балерин и форменных каннибалок, священнослужителей и хулиганов, философов и карманников, язык невинных душ и невероятных злодеев не мог не смешаться, не мог, как говорит Федор, делать вид, что судьба людей не имеет к его судьбе никакого отношения. Но и

приняв в себя то, без чего он вполне сумел бы обойтись, то, что даже безобразно выражало мытарства страны и народа, он не вымер, не утратил своей сущности, считая для себя более приемлемым и безобидным явлением живой воровской жаргон и самый грязный мат, чем мертвую фразеологию партийных придурков и прочих гнусных трекал. И сколько бы десятилетий подряд они ему ее ни навязывали, как бы ни втесывали в самую душу с помощью всех средств своей взмыленной пропаганды, мой родной русский язык отторгает от себя ложь партийного мертвословья, доводя до бешенства казенную писательскую шушеру, жандармерию и кремлевских старичков, давно перешедших с собственной живой речи на слюнявую жвачку референтов. Вы заметили, дорогие, что наши политические руководители без бумажек вообще с трудом ворочают языком? Вывихнуты их языки бесконечными «давай, давай!» и отвычкой думать собственными головами.

Вывел меня тогда из бурных размышлений и терзаний раздраженный голос Гнойкова. Он орал в передней:

— Сказано или не сказано, что скоро он освободится?

Я бы, честное слово даю, расцеловал Гнойкова в его плюгавую, экземную рожу за то, что понял тогда: не возьмут они меня с собою на этот раз. Не возьмут. Что дальше будет, проживем — увидим, а сейчас не возьмут, уйдут,

псы, оставят нас с Верой вдвоем, и я повинюсь перед ней за свое идиотство. Между прочим, я случайно обратил внимание на то, что физкультурник как-то вяло сник лицом и фигурой, прямо в тот же миг, когда я воспрянул духом от слов Гнойкова «скоро освободится!». Физкультурник вздохнул, подошел к окну и выглянул во двор из-за шторы. Он то и дело вздыхал, пытаясь освободиться от чего-то страшно тягостного, навалившегося на душу и не отпускавшего, несмотря на попытки отвлечься куревом, разговором со вторым хмыриной и дремотой.

— Водил бы, что ли, быстрее своим концом! — грубовато заторопила первого хмырину Таська. — Надоело. Спать пора, а мы еще не жрамши!

— Я здесь не на прогулке, — сказал Скобликов, — а вы выполняйте свой гражданский долг. Не каждый день ведь это случается.

— Не каждый, — сказала Таська с большим намеком, отчего Скобликов неожиданно заторопился и вежливо предложил мне ознакомиться с протоколом.

— Куда ты все спешишь? — тоскливо и ненавистно сказал своей бабе физкультурник.

— Жить спешу! Жить! Сонная твоя харя! — взвизгнула Таська.

— Не отвлекайтесь, товарищи понятия. Скоро вы будете предоставлены самим себе, — пообещал первый хмырина, а физкультурник сжался, словно от озноба, в углу

дивана, и лицо его стало отсутствующим и опустошенным.

Плохо опохмелился, решил я и взялся за чтение. Читаю... «В соответствии... квартире Ланге... присутствии понятых... в том, что найдены материалы... амбарная книга... клеветнически порочащие советскую действительность... внутреннюю и внешнюю... искажающие верный курс... грубые выпады в адрес руководителей партии и правительства... начинающаяся со слов: “В чем сущность патологического нежелания выживших из ума политиков спуститься с вершины власти?” Кончающаяся словами...»

Представьте себе, дорогие, последняя моя запись в амбарной книге была та, которую я выше процитировал вам слово в слово, запись высказывания Федора о языке.

Я не спеша подписал протокол.

— Да-а-а, — протянула с большим удивлением Таська. — Наговорил ты на старости лет на свою голову. Дурак... Лучше бы мужским делом занимался, чем антимионией всякой. Говно у нас с тобой мужья, Вера! Где тут отметить? — зло спросила Таська.

— Надеюсь, вы не будете рассказывать на всех перекрестках обо всем, что было?

— А че было-то? А че было-то? — снова с намеком затараторила Таська, нарочно вводя в краску соблазненного чина. — Кабы было, а то не было. Бывайте.

Гнойков закрыл за ней дверь. После Таськи

расписался, не глядя на меня, но, видимо, буйно в душе торжествуя, сосед-стукач. И не держал я в те минуты почему-то зла ни на шмонщиков, ни на него, ни на Таську. А физкультурник расписался, не читая. Судя по тупому, но бегающему взгляду пустых глаз, он был где-то далеко от нас и моих дел, наедине с какой-то своей не дававшей ему покоя тягостью.

— Спасибо. Можете идти. Рассчитываем на вашу сдержанность, — сказал ему Скобликов.

— Заяц трепаться не любит, — уныло сказал физкультурник. — Я тут задержусь. Поговорить вот с Давидом надо.

— Не до тебя мне, Альберт. Иди домой. Не до тебя, — сказал я, и он нехотя ушел. Впечатление было такое, что он прямо подтаскивал себя к двери. Ушел.

— Распишитесь, Ланге, о невыезде. Я расписался в какой-то бумажке.

— Советую вам подумать до вызова обо всем. И все учесть. Я ведь догадываюсь, кто автор всей этой вражеской философии. Сваливать на уехавших в Израиль диссидентов не советую. Не пройдет. Мы не маленькие. До свидания.

— Проводи их, — сказал я Вере.

Они ушли наконец.

— Вот какая карусель, — сказал я виновато, как всегда в таких случаях побаиваясь посмотреть в глаза жены.

Она ответила:

— Что теперь будет? — но в голосе ее был не страх, а готовность ко всему, что ни пошлет нам судьба, не упрек, а поддержка.

Когда я, тяжело вздохнув, поднял глаза, я увидел молча стоявшего на пороге Федора. Из-за его спины выглядывали низкорослый Савинков, Мурашов, Половинкин — мои товарищи по цеху, ушедшие недавно на пенсию.

— Они копают под меня, — сказал я.

— Почему шмон? Что они искали? — спросил Федор, брезгливо осматриваясь.

— Бриллианты прабабушки, — шутливо сказал я и кивнул на славные останки ее буфета.

— Оборзели! — возмутился Савинков, у которого в шестьдесят восьмом году из Чехословакии убежал в Австрию сын, офицер-танкист. — Оборзели! Ты-то тут при чем?

— Без пяти минут Герой Труда, — добавил Мурашов.

— Внес в протокол, что буфет сломали? — спросил Федор.

— Братцы! — воскликнул я тогда. — Плевать на буфет! Пускай они сходят с ума, как хотят, а мы... Мы сейчас отметим бесславный конец моей рабочей карьеры! Нечего откладывать на завтра то, чего не сделал, пока еще тебя не посадили! — Я говорил весело и снял напряжение момента. — Звоните всем! Мы с Верой займемся столом! Всем звоните!

Я выбежал в кухню, потому что испугался истерического веселья и радости, и почувствовал, как задрожал мой голос, как начало меня

пьянить без вина избавление от гэбэшников и счастье быть свободным, пусть временно, пусть перед черт знает чем, и видеть в эту минуту своего друга Федора и цеховых старых приятелей... Боже мой! Как мало, оказывается, надо для счастья, которое по жадности и неразумию кажется нам кратковременным, но которого вполне может хватить на всю жизнь при нашей благодарной памяти! Я вам уже о ней говорил, дорогие. Разве не было у меня раньше таких минут? Были! И немало! От чего только не берег меня Господь! Ужас охватывает от являющихся воображению моментов смертельной опасности и преддверий всевозможных бед, я не преувеличиваю — ужас, разрешающийся удивлением перед чудом спасения и всего, чего исключительно с Божьей помощью ты избегал и вот сегодня избег снова. Так почему же меркнут постепенно в душе память о счастливом избавлении и безумная радость, казавшаяся бесконечной? Может быть, следует поступать более мудро и менее восторженно, когда отдаешься всем своим существом прихлынувшей к сердцу горячей волне благодарной радости, с тем чтобы, так сказать, попытаться растянуть ее запас подольше, обращаясь к ней лишь в крайних, почти невыносимых случаях придавленности удушливой скукой дней, и являть тогда людям, удивленным твоей душевной неприхотливостью и светом смирения, лучащимся из твоих глаз, пример блаженного счастливец?

Вот и тогда, стоя на кухне над раковиной и умывая лицо холодной водой, я клялся Богу не забыть вовек очередной Его милости, и кто-то в тот же миг лукаво ухмыльнулся за моей спиной: забудешь ведь, стервец, забудешь!

Была бы если возможность взять этого беса в руки, я незамедлительно взял бы, обломал рога, припалил копыта, обоссал, извините за выражение, — и в окно, под жопу, коленом, на российский мороз, и ни за что-нибудь, а исключительно за пошлое мелкое хамство.

Не забуду, Господи, твердо и упрямо повторил я, по-моему, чуть ли не вслух, забывать уже некогда, немного дней остается, не те годы, чтобы забывать, все я сейчас вспомнил, прости за глупость, темноту и грех неумной жадности, прости, что, осчастливленный чудом собственной жизни, я имел наглость молить Тебя о дополнительных чудесах.

Умыл я лицо и руки холодной водой, вышел из кухни, а там уж народу полно. Все — приятели, все — дружки, все — без жен. Померли кое у кого жены, а новых брать в наши годы непотребно. Прибирают в квартире, стол расставляют, о том, что было, — никто ни слова. Я понял — им все уже известно. Вова, на мое счастье, вдруг заявился с Машей и внуками. Я о них ничего не рассказываю в письмах, потому что самих заставляю написать. Хорошие внуки — и Алеша, и Джозефина. Теперь Маша утверждает, что она всегда мечтала, что дочь ее будет жить хоть у черта на куличках,

но только не на большевистском подворье и что сверстники будут звать ее на американский манер — Джо. Впрочем, ее и сейчас так зовут. Не хотят внуки ехать. Боятся, что еще один, а то и два языка изучать придется в школе. Лен-тяи. Но ладно.

Весело мне было после пережитого за день так, что я носился по квартире, всем угождая, как перед свадьбой серебряной. Об украденной закуске старался не вспоминать, хотя ее явно не хватало. Хорошо, что один приволок, по старому нашенскому обычаю, баночку грибов такого засола, что под них хлористый кальций лакать можно, другой — патиссончиков, маринованных своими руками, и баклажанную икру, третий — огурчиков и помидорчиков, четвертый — зельц, тоже самолично захреначенный (сделанный) из купленных в кормилице Москве свиных голов...

Описывать, как мы пили, ели, пели и отбивали чечетку, не буду. Было замечательно весело и душевно, не говоря об одной из впечатляющих и неожиданных минут моей жизни. Вдруг раздается звонок. Открываю дверь. В передней тут как тут оказались Вера, Вова и Федор. Думали, что это забирать меня пришли. Открываю, значит, дверь. Ничего не понимаю. Стоит передо мной здоровенный парень лет девятнадцати, нос в крови, голова растрепана, под глазом — приличный фингал (синяк). Всхлипывает, на губах красные слюни

пузырятся. А за спиной его громадной — мужичишка невзрачный.

— Вы не ошиблись? — говорю, всматриваясь в их лица и поэтому не замечая, что там у пришельцев в ногах, на бетонном полу подъезда.

— Не ошиблись, — ответил мужичок мрачно и зло. — Говори, сукоедина! — Он ткнул верзилу-парня кулачиной в бок так, что тот чуть не влетел в мою квартиру. — Говори, пакость, не то живым отсюда не выйдешь!

— Вот... мы... то есть я... случайно, — замямлил парень. Кровь булькала у него в горле. Ему было трудно говорить. — Вот... возьмите...

Я взглянул ему под ноги и обомлел. На полу стояли оба моих украденных со скамейки у подъезда ящика — картонный из-под конфет «Кремлевские звезды» и пластиковый синий с «Боржоми». Несколько гнезд в нем были пусты.

— Кайся, гаденыш, не то убью! — решительно ясно велел мужичок.

— Слу... слу... — Парня трясли то ли рыдания, то ли страх, он не мог говорить, но я и без его слов понял, что произошло.

Конечно, шарахнул он дармовую снедь не случайно. Это было ясно. Я знаю этих девятнадцатилетних патлатых, пропортвейненных в смрадных подъездах. Не все они такие в нашем городе, не все, но те, что пристрастились к бормотушной дури и очумели от беспросвет-

ности своей жизни, способны были на все. Проломить череп таксисту за семь рублей выручки — пожалуйста. Вырвать у старушенции сумку с только что полученной на почте пенсией — всегда. Поджечь газеты и письма в почтовом ящике — хлебом не корми. Наблюдая за дымом, валящим из подъезда, они гогочут скотскими голосами. В одиночку справиться с такой же, как они сами, чумовой девкой они уже не могут. Они это называют хором Пятницкого. По-вашему — группенсекс, кажется. Многие из них — жестокие, злобные хорьки, не отдающие себе отчета в природе своих поступков, и если перестанешь вдруг испытывать к ним недоумение и законную ненависть — так они затерроризировали целые районы нашего города в юности, — то чувствуешь, как они несчастны, заблудившись в чащах перед светлым будущим, как не виноваты порой в том, что они таковы, и безысходной кажется мысль об их будущем, будущем бездушных стареющих хулиганов и пьяниц. Мы, нормальные стариканы, так и зовем их обезьяньими ордами — их толпы, слоняющиеся по улицам в поисках, где бы сшибить на бутылку. Очередной призыв в ряды Советской Армии освобождает наш город, борющийся за звание города образцового быта, от неуспевших загромоздить в лагерь. Но младшие быстро берут с них пример, наследуют их образ жизни, блюя от лживой казенщины пионерских игр и комсомольских компаний. Они быстро овладевают соот-

ветствующими ужимками, фарцовкой, дискотечной, бормотухой, группенсексом, ширянием (наркоманством), мелким садизмом и паразитическим бездумьем. Причем вырождаются наши ближайшие потомки с какой-то железной закономерностью, не зависящей ни от заботы и усилий отцов, ни от устрашения законом, ни от лживых проповедей комсомольских идеологов. Этих циничных долбоебов, достойных своих старших парттоварищей, этих молоденьких грызунов, понявших, что партийная кормушка — не жалкий подъезд и тоскливая осенняя улица, что в ней будут те же тряпки, те же бабы и диски, та же, но уже законная власть над слабым и безвольным обывателем и кое-что другое, что сейчас им еще не по зубам: загранка, закрытые курорты, закрытые лавочки, представительство, сановность и возможность раскроить мир ни за что ни про что, как кроили черепа таксистов их недалекие несмышленные одногодки.

...И вот он стоит сейчас передо мною, не конченный еще, судя по заплывшим от слез глазам, беспомощной детскости страха и вины в голосе.

— Ну, будет, будет, — сказал я, смутившись и как бы оправдываясь перед парнем. — Это все, наверное, ошибка...

— Не ошибка. Я слышал, как он со своим кривоглазым Котей ржал, пожирая колбасу и запивая портвешок боржомчиком. Не ошибка. Я фамилию вашу, Давид Александрович, на

ящике увидел. А то не знал бы, куда девать его. Не легавым же в милицию тащить, — сказал торопливо мужичок, желая, очевидно, одного — быстрее покончить в выходной день со всем этим пакостным делом. — Говори, паразитина, ошибка или подлянка?

— Подлянка. Извините... мы и жрать-то не хотели... сыты были с Котей... смотрим — ящик. Копченым пахнет и минералка тут же. Мне ее как раз врач от гастрита прописал, — увидев мое незлое лицо, забубнил парень.

— Вот я тебе и отобью носопыркалки, чтобы ты больше копченого не чуял! — Мужичок забежал перед парнем, подскочил, он был низкорослым, хотел снова тыркнуть его в нос, но я помешал.

— Не надо, — говорю, — пустяки. Не надо. Бог с вами.

— Нет, надо! Надо! Сегодня он копченое за три версты учуял, а завтра что почует? Золотое?! — взревел отец верзилы.

Гости звали меня из комнаты с большим нетерпением.

— Вы правы, — сказал я беззлобно, — убивать их, гадов, следует еще до зачатья, но и прощать надо уметь. Прошу вас обоих ко мне на стопку. Там и поговорим. Если откажете — обижусь и кусок в горло не полезет. Прошу вас обоих.

Парень, не зная, как ему быть, взглянул на отца.

— Иди рыло вымой, скотина, — сказал мужичок. — На портвейнах гастрит нажил!

— Заходите, будем рады, — сказала Вера, и мы приняли еще двоих неожиданных гостей, не говоря никому о причине их прихода. А когда на столе появилась буженина (колбасу Петя успел умять со своим Котей), сыр, шпроты, кильки, перец болгарский, паштет, аджика, горбуша и другие всякие вкусные вещи из Яшиной торговой точки, это было для всех так неожиданно и приятно, что мы с Верой таяли от удовольствия: ублажили-таки старых приятелей. Петя же переживал. Не притворялся. Не ел и отказался выпить рюмку водки. Смушался. Наконец что-то сказал на ухо отцу. Тот коротко ответил:

— Верно. Иди. Мать успокой.

И Петя ушел, неловко со всеми попрощавшись. Кто-то спросил, с чего у него нос расквашен и под фарой фингал. Я ответил, что парень боксом занимается, и на этом инцидент был окончен.

Если бы вы знали, дорогие, как мне было хорошо и приятно. В нашу квартиру набилось в конце концов столько людей, что кое-кого похудошавей пришлось посадить по двое. Особенно порадовали меня те, которых дергали в партком, запрещали поддерживать со мной отношения и участвовать в торжествах прощания с заводом. Они пришли, и я был рад. Очень рад. И было замечательно не помнить в те минуты о всесилье Жоржика, о шмонщиках, о моей бесконечной тоске одиночества и покинутости в тот миг, когда я не увидел на скамей-

ке продуктов, и о прочих дурных и благих переживаниях. Просто был праздник, казавшийся несбыточным, когда мне послышалась ирония в словах Скобликова «он скоро освободится», но чудом начавшийся и набиравший час от часу веселья.

Только не суждено ему было кончиться благополучно в свой срок, когда всем гостям, подвыпившим и слегка сорвавшим голоса старыми любимыми песнями, само собой становится ясно, что праздник кончился, пора сматывать удочки и лобызать на прощание хозяев. Не суждено, хотя такого именно завершения злополучного и чудесного дня я не ожидал, вернее, не предчувствовал, ибо невероятность случившегося не имела ни малейшего отношения к моей собственной судьбе...

Накурили мои дружки и Вова со своей женой, хоть колун вешай. Пришлось балконную дверь открыть и отдышаться на свежем воздухе от дыма.

Не знаю, что меня тогда дернуло пойти позвонить в квартиру соседа-стукача. Было какое-то движение души сделать что-то такое для себя необычное, чтобы оно ни в какие ворота не лезло. Потом уж смекнул я, что переполняла меня благодарность Творцу и всем Его Ангелам за сегодняшнее избавление, за отсрочку от тюрьмы, за возможность устроить мои проводы на пенсию, и хотелось, просто подмывало, как хотелось отплатить тем, на что я не только не считал себя способным, но плю-

нул бы сам себе в душу от одного лишь предположения, что могу когда-нибудь так поступить.

Сердце у меня колотилось от нахлынувших, может быть, впервые в жизни противоречивых чувств, а разбираться я в них не привык и, стоя перед дверью соседа-стучача, не решался позвонить, волновался, как маленький, еще секунда — и я прошмыгнул бы в свою квартиру к желанным гостям, но предчувствие того, как важно из самых святых побуждений решиться позвонить, настоятельно тянуло мою невероятно тяжелую руку к звонку. Звони, дурак, не стесняйся, звони, это трудно, почти невозможно, но ты звони, звони, ты ведь всю жизнь мечтал выкорчевать зло и у тебя ничего не выходило, убеждал меня голос, у тебя не выходило, потому что ты рубал, когда приходилось, зло до корешков, а корешки-то, хитрые, невыкорчеванными оставались, и не в других людях, не в мире, а в самом тебе! Звони!

И я позвонил. Позвонил, волнуясь, не вру вам, дорогие, и не преувеличиваю, как тогда, когда шел к отцу моей Веры просить разрешения взять ее в жены. Как в коридоре роддома, когда, сходя с ума от страха и растущей радости, словно на пороге великой тайны, ждал рождения первенца — Вовы. Я стоял перед дверью, ужасаясь сходству своих нынешних чувств с прошлыми. Вы можете хохотать и считать меня идиотиной, но ничего мне не да-

валось с таким нечеловеческим, можно сказать, трудом, как тот звонок в дверь к ненавидимому мною соседу, которого я от омерзения не человеком считал, а лишь тухлой мокрицей. И никогда еще я так страстно и вслепую не хотел превозмочь в себе что-то упрямое и темное, движимый в неизвестное наперекор всем привычкам и принципам незнакомым душе повелением. И я позвонил в дверь. Ее открыл он, зло и подозрительно (это был его обычный взгляд) забежав по мне глазами. Ведь его, ко всему прочему, вы только представьте его состояние, бесило веселье за стеною, бесило дружеское людское общение, от которого он, совершенно справедливо презируемый, был давно отлучен, бесило застолье в доме человека, которого, судя по всему, еще пару часов назад должны были по всем правилам, он, я уверен, сладостно предвкушал это, принимать в бетонном боксе нашей городской тюрьмы.

— Ты, — говорю, — Валерий, ничем сейчас особенным не занимаешься?

— А что?

— Оставим, — говорю спокойно, чувствуя ровность настроения и удивляясь, что страха и нерешительности у меня ни в одном глазу, — разные мысли, не будем ломать над нашей жизнью головы, пойдем посидим с нами. На пенсию ухожу. А мысли разные оставим. Чего уж там.

Он покраснел, потерялся, взгляд его стал туповатым; со стороны, наверное, мы оба

были в тот момент похожими на двух пареньков, выясняющих отношения и смущающихся чувств более редких, чем озлобление и вражда.

— Можно и посидеть, — наконец сказал он неопределенно.

— Все свои там. Зинку зови. Места хватит, — сказал я, и мне было легко, словно два пуда с плеч сбросил, хотя слово «посидеть» неприятно резануло по нервам.

Не испортил, чего я побаивался, нашего застолья сосед. Освоился постепенно, а во мне погас совсем тот непонятный порыв, и неудобно было перед Федором и заводскими дружками, что без их ведома я привел и посадил за стол того, кого даже начальство считало опасным подонком.

Кто-то чуть не сцепился с ним, но я взмолился:

— Братцы! Помилосердствуйте! Не будем качать права. Сегодня мой день.

Поняли ребята. Сосед хватанул с ходу два стакана, чтобы сподручней было сидеть под взглядами, и, уже порядочно окосев, говорил мне на балконе:

— Ты, Давид, измудохал меня... как говорится... по справедливости... по справедливости... я дурею пьяный, но по справедливости... убить мало... мало. Ты не бойся... не посадят... и... и... ходи куда хочешь... я больше следить не буду... сами пускай... следят...

Зинка увела его вскоре, и все вздохнули спокойней. Только Вера поняла, что происходило у меня в душе.

— Чего они нашли у тебя? — спросил Федор. Я не успел соврать. Наверху раздался чей-то чудовищный вой: «А-а-а!» Сообразить, почему он вдруг пронесся вниз, прямо на нас с Федором, было в тот миг невозможно. Мы только успели поднять головы — поинтересоваться, кто это там завыл по-звериному, и воющая тень, пролетев в метрах четырех от балкона, шмякнулась оземь с глухим хрустом. Вой мгновенно оборвался, а сверху до нас донесся визгливый женский голос:

— Сво-о-олочь!.. Сво-лочь! Ты слышишь?

Густая листва заслоняла от нас упавшего. Мы с Федором первыми оказались возле него. Он по самую грудь торчал в пышной, высокой, разбитой лично мною под нашими окнами клумбе. Более ужасного и вместе с тем смешного положения тела погибшего человека я не видел даже за все годы войны, а повидать тогда пришлось немало. Он словно врос в землю, наверное, судорожная агония вытянула в струнки его ноги, и они на наших глазах начали заваливаться, пока совсем не завалились, образовав на клумбе жуткий мостик. Это было тело физкультурника, Таськиного мужа, моего понятого! Он нырнул в землю, как в воду, руки по швам, в скрюченных пальцах еще была последняя дрожь жизни.

— Готов, — сказал Федор, когда мы, не сговариваясь, выдернули упавшего из клумбы.

— Эй! Не трогайте его! — крикнули сверху. — Сейчас милиция приедет.

Кричал мужчина, а из подъезда выбежала растрепанная Таська.

— Вот, Давид, — сказала она мне, — собаке — собачья смерть! Бог шельму метит.

На этом происшествии тот день кончился. Кончился вместе с ним и мой праздник. К нашим окнам сбежалась вся Железная Слободка. Люди глазели на лежавшего около клумбы физкультурника. Обсуждали ужасные подробности его преступления, самосуда над ним и казни. Они вытоптали цветы и траву в скверике и обломали кусты.

Вы никогда не догадаетесь, что натворил этот сонный на вид, безликий физкультурник, вернее, учитель физкультуры.

Милиция не приезжала часа полтора. Я сам звонил два раза в отделение, и дежурный мне отвечал:

— Если труп мертв и убийцы ждут ареста, то спешить некуда. Важнее есть дела. Приедем.

Убийц было пятеро. Двое взрослых мужчин и трое юношей. Они и не думали убежать. Сидели у подъезда и курили. Отмахивались зло от пристававших с расспросами. О том, что случилось, стало известно из беспорядочной и нервной трепни Таськи. Не буду рассусоливать эту гнусную историю. Так называемый учитель физкультуры растлил четырех девочек. Нет, он не насиловал их. Он обрабатывал каждую в своем закутке в физзале. Внушал, что если, мол, регулярно делать массаж, то он га-

рантирует способной девочке хорошую спортивную карьеру, зачисление в любой московский вуз, а там — чемпионаты Союза, Европы, мира, Олимпийские игры, валютный магазин, заграничные шмотки, куча поклонников и так далее. И что вы думаете? Эти спортивные телки, которые во сне видели все, что им нагородил солидный, вежливый и добрый учитель, по очереди ходили к нему на массаж. Сначала массаж, а потом дело дошло до серьезных вещей. Девица, забеременевшая первой, причем забеременевшая случайно, потому что учитель предусмотрительно пичкал всех четырех таблетками, рассказала обо всем матери. Когда ее стали дубасить чем попало, она совершенно резонно заявила, что не заметила, как все произошло, ведь массаж был приятный и как будто усыплял. Массажировал учитель девиц совершенно голых. Конечно, им, дурам, это нравилось. Я сам засыпал в санатории на массаже. Кроме того, девица сказала, что не она одна такая. С этого и началось. Собрались отцы совращенных, признавшихся во всем четырнадцатилетних школьниц и их старшие братья. Двое решили обратиться в прокуратуру после экспертизы, а у остальных так болела душа за опозоренных и испорченных девочек, что они явились к учителю, к педагогу, наставнику, к тренеру, к члену КПСС и бюро горкома партии, когда он собирался обедать с женой Таськой, не ведавшей, с кем изменяет ей вечно сонный муженек и поэтому не ловит мышей в

кровати, явились, вынесли приговор и скинули с пятого этажа. И чуял ведь он, чуял, змей, когда сидел на диване во время обыска, чуял, что надвигается на него неотвратимо беда, хотя не знал о признании девочек, хотя ничего вроде бы беду эту не предвещало. Соплячки получали пятерки, жвачку, чувствовали себя взрослыми, и, если бы не случайная беременность одной из них, все было бы шито-крыто. От учителя они перешли бы к парням, а дальше бы разобрались, что к чему. Возможно, одна из них стала бы знаменитой гимнасткой. У нас в стране гимнастику очень любят и уважают. Чуял учитель, чуял, как поднимается над его головой колун, и подремывал, наверное, исключительно из желания не подавать никаких признаков жизни, авось беда пройдет стороной. Не прошла. Не обошла. Вот, собственно, и все.

День тот кончился смехом. Мой сосед-стучак, окосевший вдребадан (очень пьяный), залез на подоконник и орал, пытаясь вырвать ноги из рук жены Зинки:

— Виноват!.. Обязательно виноват!.. Пусти! Пусти! Смерть понятому! Давид, прости!.. Зинка! Убью!

Ему удалось-таки вырваться, наш этаж очень невысокий. Под хохот толпы, еще судачившей о происшедшем, Валерий спрыгнул вниз, на корточки, завалился на траву газона. Когда мы с Федором подошли к нему и стали

щупать, не переломаны ли ноги, он замогильным голосом сказал:

— Давид... прости... умирает... очень ошш-шибочный ч-ч-человек...

«Ошибочный человек» остался дрыхнуть в траве на газоне, а мы с Федором проговорили всю ночь. Он настойчиво уламывал меня собрать все документы и подать на выезд вместе с Вовой. И снова тоска сжала душу. Ведь согласись я сейчас уехать, какие там к черту документы собирать и подавать, если у меня подписка о невыезде не то что из нашей самой демократической и свободной на свете страны, но из этого веселого города. Так я и сказал Федору, а про амбарную книгу скрыл. Врать не стал, как собирался, все же не те у нас были отношения, просто скрыл. Просил его больше не заикаться об отъезде, иначе я обижусь до конца моих и его дней.

Теплая тогда была ночь. Федор, по своему обыкновению, почитаемому мной — человеком невежественным, — философски заметил:

— Все же ночи в принципе уютней и человечнее дней, потому что ночами большинство людей спит. Политруки спят, маршалы отдыхают от перекраивания карты мира, не дышит, сомкнув зловонную стальную пасть, вскормленное нами чудовище прогресса, уткнулись, как щенки, сбившись с ног, в железобетонную плоть его несчастные заблудшие овцы и дети... Шмонщики твои, Давид, спят, сосед твой спит,

а вот пестун девичий не спит, он уже отоспался... Скотина! Пойдем, Давид, выпьем за жизнь. Дрожь меня что-то внезапно пробрала от любви к ней.

— Пошли, — сказал я.

Вера и дети спали. Мы выпили на кухне. Поговорили о том о сем. Словно молодые люди, с аппетитом выпили и с удовольствием закусили. Ну что мне стоило тогда рассказать Федору про амбарную книгу? Теперь кажется, что ничего не стоило. Рассказал бы, и мы чудесно обмозговали бы, как бросить Жоржика и начальника ОКГБ Карпова через хер по-флотски.

Забыл вам написать следующее. Таська к нам тогда позвонила в квартиру. Пустил я ее.

— Заснуть, — говорит, — не могу. Трясет, черти чудятся и обидно. Обидно, мужики, что сволочь эту не выгнала я десять лет назад. Сколько сладкого бабьего времени коту под тухлый зад полетело! А он девчонок на матах раскладывал! Массаж, гадюка, производил! Ну, не гад, скажите, не гад? Налей мне, Давид, спаси, плохо мне. Да его не один раз надо было швырнуть с верхотуры, а двадцать! Швырять, потом обратно на лифте подымать и опять швырять, пока мокрого места от него, пса, не осталось бы. Собаке — собачья смерть... Хоть вы меня пожалейте... Вот как жисть идет! Целый день на обыске сидела, а вечером супруга выбросили в окошко... Ох подлец! Девчонок ему не хватало, а я что, нехороша, скажите?

Заплакала Таська, горько заплакала, налили мы ей чистоганчика, успокоили, как могли, рядом с Верой моей спать уложили. И мы с Федором вздремнули по-солдатски.

А в воскресенье мои проводы как-то сами собой возобновились с полной силой. В гостях у меня побывало полцеха, если не больше. Но мы с Вовой и его Машей сумели на часок уединиться, чтобы поговорить о предстоящем. Вова на колени встал, умоляя меня и мать уехать вместе с ними на все готовое и обеспеченную до конца дней жизнь в Израиле. Я ответил: «Нет». Больше мы к этому не возвращались. Вова меня хорошо знает. Моя жена тоже знает. Сам он рвался уехать как можно скорее, так как его не подпускали больше к генам и ко всяким связанным с рассмотрением клеток сложным приборам. Пусть Джо, этот большой знаток женщин, представит себя гинекологом, влюбленным в свою работу. И вот ему запрещают даже близко подходить к «вертолету». Вертолетом женщины нашего города называют гинекологическое кресло. Вместо этого он получает распоряжение заниматься черт знает какой белибердой, имеющей более чем отдаленное отношение к изучению любимого объекта. Каково? А ведь Вова напоролся экспериментально на важнейшие данные, подтверждающие существование некой «энтилехии», то есть силы Жизни, которая, по глубочайшему Вовиному убеждению, не могла возникнуть сама собой, не могла! Он стоял на

пороге у поразительного доказательства. Он сам, будучи человеком неверующим, вдруг уверовал, что первый импульс был сообщен земной жизни посторонней, вы слышите, посторонней волей сверхмогущественного и все-сильного по сравнению с нами существа, которого Вова был вынужден называть Творцом. Как вам это нравится? Мне лично Вовины доказательства нужны, как утке копыта. Я и без них верю тому, что написано в Библии, и чувствую наличие Творца и дел Его буквально во всем: в себе, в рыбах, в воде, в чудесах судьбы, в радостном могуществе жизни травы и деревьев, в искусстве моих рабочих рук, в редчайшем, но все же посещающем людей даре великодушия, в частой, удивляющей меня беспомощности бесконечной доброты перед низкой гордыней и слепотой зла, в существовании всех цветов радуги в живых цветах и не дышащих жизнью предметах, в предчувствиях и в снах.

Так вот Вова открыто заявил на научной конференции, что биология, по сообщениям многих биологов, приперла наконец к очевидной необходимости полного согласия с фактом сотворения жизни не счастливым случаем в каком-то первичном бульоне из разных молекул, а тем, кого он предложил условно называть до получения более точных данных Посторонним Наблюдателем. Может, в чем-то я ошибаюсь, вспоминая разговор с Вовой, но в основном я точен. Вскоре его вызвал парторг

и в присутствии инструктора ЦК партии сказал:

— Вы, Ланге, несли явную околесицу. Вокруг нее те, кому это выгодно, поднимают нездоровую шумиху. Вы неглупый человек и должны понять, что лазейки для поповщины в нашем институте не будет. Давайте бить отбой. Вы — член партии. Это первое. Во-вторых, вы — ученый. В третьих — зав. крупной лабораторией. Подумайте над анализом этого синтеза, чтобы вся триада не пострадала.

А инструктор ЦК, новенький видать, слушал, надувшись, слушал, а потом вставил:

— Вы понимаете свободу как безответственность, но ответственность, коммунист Ланге, это необходимость.

— Что я должен сделать? — спросил Вова.

— Сурово разделаться с Посторонним Наблюдателем, — сказал инструктор.

— Да так, чтоб от него мокрого места не осталось! — грозно добавил парторг.

Вова, наверное, пошел в меня. В такой серьезный момент он схватился за живот и начал хохотать. Потом, сдержав хохот, спросил:

— Как вы себе это представляете? Ведь Посторонний Наблюдатель не плод моего больного воображения. Да и не я, собственно, додумался до его существования. К этому привел прогресс науки. В тупике многое становится ясно, и от некоторых фактов именно в тупике никуда не денешься.

— Но вы хоть понимаете, что это — прямая поповщина? — спросил инструктор ЦК.

— Если считать поповщиной то, что осознается сегодня некоторыми людьми и кругами общества объективно закономерными явлениями, то в истории достаточно примеров того...

Договорить Вова не дал парторг. Он заорал:

— Или вы заявите в печати о непозволительном для ученого экскурсе в фантастику и убьете вашего Постороннего Наблюдателя в зародыше, или вы скажете лаборатории «до свидания»! Вам ясно? А-а-а?

Вова мне рассказал, как вдруг почувствовал себя под защитой такой сверхмогущественной и всевидящей Силы, что без малейшего напряжения собственной воли душа его наполнилась непостижимым бесстрашием и отбросила прочь заеззившие было в мозгу мысли о скорых последствиях легкомысленного поведения.

Он вынул тогда из кармана партийный билет, положил его на стол и ушел.

— Вова, — сказал я ему, когда мы шли в понедельник в жэк заверять родительское разрешение на отъезд, — ты еще легко отделался. Тебя оставили в институте и не посадили, но ты вынужден уехать, покинуть родные места, отца и мать.

— Причина сложней, — сказал Вова. — Я просто во многом стал другим человеком, и сейчас выход из этого для меня лично один: уехать. Тем более я еду не на чужбину, а к своему народу, на свою землю.

— Хорошо, — сказал я. — А ты знаешь, ученый херов, что перед отъездом ты сажаешь меня в тюрьму? Уедешь и будешь наблюдать со стороны, как я там парюсь?

Ушами зашевелил, баран безмозглый, когда узнал, что нашли при шмоне амбарную книгу.

— Мне бы, — говорю, — завести тебя сейчас за тупой рог в тот амбар, выпороть вожжою и сделать об этом соответствующую запись в той же амбарной книге.

Почему уж он не увез ее в Москву, говорить неинтересно. Случайность. Мне было от нее не легче.

— Тем более, отец! Тем более надо ехать вместе с нами!

— Помолчи, — говорю, — и поезжай сам. Ты тоже предатель, вроде твоей сестры, только по-другому.

— Поверь, отец, я, может быть, и не уехал бы, — говорит Вова, — но я в тупике. В полном тупике.

— Все у тебя, — ответил я, — в тупике. И ты, и наука, и человечество, и природа, и наше родное правительство, и советская экономика — все в тупике.

Заверил управляющий жэком мою и Верину подписи. Вопросов не задавал. Вова повеселел. Все документы у него были собраны, оставалось подать их в ОВИР и ждать. С работы его не увольняли, потому что он, обнаглев, открыто заявил дирекции и парторгу, что в случае увольнения поставит в известность

мировое общественное мнение и шум поднимется такой, как в «Правде», когда эта самая честная в мире газета защищает учителей-коммунистов, уволенных за политические взгляды из немецких школ. Вот его и не увольняли. Платили денежки, он слонялся из лаборатории в лабораторию и не допускался к исследовательской работе. На один из его протестов парторг ответил:

— Исследуйте, Ланге, вашего Постороннего Наблюдателя в синагоге или попросите ассигнований у Папы Римского. Заметьте, я ничего для вас оскорбительного не сказал. — Они были с глазу на глаз, и Вова не растерялся.

— Какое вы говно, — говорит, — Юрий Владимирович, а ведь занимались в свое время наукой.

— До свидания, Ланге. — Парторг вынужден был съесть обиду без свидетелей.

Но хватит о Вова. Вечером я провожал его на вокзал. Он снова уговаривал меня ехать вместе. Я рассказал ему про подписку о невыезде, и он заткнулся. Маша и внуки тоже тянули меня с собой в Израиль, но я просил не возвращаться больше к этому разговору. Они уехали на электричке в Москву веселые и счастливые оттого, что все они вместе и впереди у них иная желанная жизнь. Я грустно и устало возвращался домой. Шел пешком. Обычно у меня не бывает после веселья похмелья, а тут опять тоска засосала в подвздошье так, что я

остановился, прислонился к столбу и, обернувшись, с омерзением уставился на иллюминированный лозунг «Трудящиеся нашей области безгранично доверяют внешней политике родного правительства!».

В этот момент голову мою глухо расколола боль удара. Очнувшись, я понял, что валяюсь на асфальте, что руки у меня скручены за спиной, но глаз я не мог открыть из-за чудовищной боли, сдавившей голову. Я хотел крикнуть и только что-то промычал, меня приподняли, буквально швырнули куда-то, и от резкой боли в позвоночнике все поплыло перед глазами.

Ну как, дорогие мои либералы, не ожидали вы такого поворота судьбы советского человека, считая, что я по-обывательски хаю многие чудесные начинания нового общества? Конечно, не ожидали. Я имею в виду не Джо и Сола, а тебя, сестра моя. Как вам не хочется, чтобы кто-то правдивым словом разрушал веру вашей романтической, мать ее ети, юности в возможность построения справедливого братского общества! Как вы нервозно отрещиваетесь от голых фактов и многолетней статистики бандитского отношения власти к личности. Как неистово ищете вы в вашем последнем письме оправдания тому, чему нет оправдания, называя издержками исторического процесса бездушие произвола, хроническое и похабное отношение государства к насущным людским нуждам и поощряя к новым историческим беззакониям такой вот своей верой в прочность и

чистоту заблеванного идеала тех, кто давным-давно в нем не то что разуверился, а просто в гробу видал этот ваш драгоценный юношеский идеал. Да и не в идеале тут, как я теперь начинаю понимать, дело. Просто вы когда-то стали болеть за марксистов-ленинцев, как некоторые люди за «Спартак» или «Динамо», боленье заменяло вам религию и делало сытую жизнь небесмысленной, вы проносите через всю свою жизнь в знак благодарности страстную, беззаветную любовь к родимой команде, подчиня слепой страсти чувство справедливости, а иногда достоинства и сострадания. И плевать вам, болельщикам «родины социализма», на грязную, кровавую и лживую игру этой ставшей, несомненно, сильной команды. Вам на-срать даже на то, что однажды во время матча могут рухнуть от вашего безумного топота, свиста и рева перекрытия стадиона, откуда вы с комфортом наблюдаете за игрой «прогрессивных людей доброй воли» с «реакционерами» и «акулами империализма».

Извините, дорогие, я с пылу с жару валю на вас все до кучи, но вы тоже хороши, когда считаете, что я то преувеличиваю, то очерняю, то недопонимаю, то недооцениваю. Извините, но иногда, читая ваши письма, мне хочется увидеть вас на моем месте и посмотреть, как бы вы недооценили, недопреувеличили, перенедопоняли, полуочернили, преднедооценили и, в общем, недобзднули (не перенапугались).

Надо полагать, вы все-таки не окажетесь на

моем месте. Тогда усаживайтесь поудобней на своих трибунах, откуда чудесно видать соотношение сил на мировой арене, берите в лапы пиво, бутерброды и, чувствуя наслаждение то ли от игрового азарта, то ли от своей непричастности и полной, более того, отдаленности от судеб происходящего у вас на глазах бешеного и грязного напора «красных» на ворота «свободного мира», считайте забитые в них голы и пьянейте от самоубийственного восторга.

Если эти мои слова не имеют отношения к вам лично, передайте их вашим знакомым: бесстыдным болельщикам «СС» — «советского социализма». Вас же я приглашаю туда, где я очутился после потери сознания...

Надо мною — грязно-серый потолок. В него вделана тусклая запыленная лампочка. Какой-то липкий назойливый свет слепит мне глаза. Я не могу пошевелить ни руками, ни ногами. Чувствую на тупо ноющей голове съехавшую повязку. Вздыхаю. Ничего! Дышу. Слава богу! Дышу. Жив, значит, старое чучело. Приятно испытать привычное чувство жизни после возвращения в сознание, извините, в жизнь. Я не идиот и не пытаюсь сообразить, что со мной произошло. Хватает ума не делать этого. Хотя очень было бы интересно узнать. Очень. Так я думал и пробовал повертеть глазами в разные стороны. Потемнело в них от этой попытки. Больно. Закрыл. Вспоминаю... Я прислонился к столбу. Мне было тоскливо и страшно. Последнее, что я увидел: «Трудящие-

ся нашего города безгранично доверяют внутренней политике родного советского правительства!» Я сам себя, для того чтобы проверить, не лишился ли я дара речи после инсульта, инфаркта и так далее, спросил:

— Какой политике родного правительства мы доверяем: внутренней или внешней?

— Внешней, — сипло ответил кто-то справа.

— А внутренней? — бессмысленно спросил я, обрадовавшись, что я не один, что рядом живая душа с головой на плечах. Но говорить мне было нелегко. Я чувствовал, что у меня опухли язык и губы. Я облизнул их. Солоноватая, запекшаяся, как в детстве, корка. Про свой вопрос я забыл и удивился, когда спустя какое-то время кто-то справа сиплым, прокуреным и пропитым голосом ответил как бы после долгого раздумья:

— Внутренней доверяем само собой.

— Где мы?

— Хер его душу знает.

— А врачи тут есть?

— Волки тут, а не врачи.

— Как волки?

— Так. Волки. Только ты не говори им про это. Считай за людей, не то пришьют шизо.

— То есть как шизо? — спросил я и от мгновенной слабости, вызванной не болью, а чудовищной догадкой, провалился в тартарары (обморок). Очнулся от приятного женского голоса:

— Пекшева прилетела из Парижа. Там сейчас самый модный мех — волчий. Кто бы мог подумать! Альберт в том году убил трех волков с вертолета. И все добро осталось в снегу. До чего же мы порой бесхозяйственны!

Я пошевелился и нелепо сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, больной Ланге. — Надо мной склонилась женщина в белой шапочке и в белом халате. — Как себя чувствуете?

— Жив, — сказал я. — Вроде бы жив. Что у меня с руками и ногами? — Говорить было трудно, но надо же знать хоть что-нибудь о судьбе своих немногих конечностей.

— По отношению к вам приняты предохранительные меры. Вы буянили.

— Не может быть! Сроду не буянил, — сказал я.

— Просто вы ничего не помните, так как находились в невменяемом состоянии. Будем вас лечить.

— От чего?

— Вы находитесь в спецпсихбольнице. Диагноз нам в основном ясен. Вам его знать ни к чему.

— Развяжите меня, — попросил я спокойно, но внутренне, как разведчик бывший, подобрался, поняв, что на горле тут никого не возьмешь, нужно по-рысьи начинать бороться за свою шкуру. О самочувствии Веры и Федора, сбившихся, очевидно, с ног в поисках пропавшего без вести человека, я мгновенно поло-

жил не думать. Бесполезные думы только сводили бы меня с ума. — Сообщите моим близким, — сказал я. — Пусть принесут передачу. Я есть хочу. И развяжите меня.

— Свидания вам не разрешены. Вас накормят. Пожалуй, ему можно начать двигаться, — сказала кому-то врачиха и, уходя, снова посетовала: — Ведь из трех волков можно было сообразить прелестную полудоху! Какой дурак! А Ланге пусть еще поспит.

Я увидел над собой вторую женщину с желтым, как у китайки, лицом. Глаза у нее были черные с синеватыми белками. Прическа — мальчишеская. Бобрик с сединой. Она сама была похожа на больничную постоялицу с тяжелой хронической болезнью.

— Откройте рот. Проглотите таблетку. Запейте водой. Это снотворное.

С одной таблетки мне ничего не будет, подумал я. Таблетку проглотил. Запил ее. Хорошо испить водицы. Хорошо. Спать — не подыхать, а сил набираться... Спать — не подыхать... Знаю я, чьих рук все это дело, знаю, хотя не ведаю, что именно произошло со мной на улице. Сложного ничего тут нет. Огрели по башке дубинкой, измудохали ногами и руками и отволокли в «психотанке» в психушку. Такие случаи бывали уже в нашем безгранично доверяющем родному правительству городе, бывали. Вот как заели тебя, Жоржик, ебанный в партбилет, мои слова. А вы нам еще рассказываете по телевизору жуткие сказки о произво-

ле хунты Пиночета и покойного папаши Дювалье на Гаити! Хороши марксисты-ленинцы, хороши! Огреть дубиной пожилого человека и замечательного карусельщика, его же избить и его же считать невменяемым! Хороши! Ладно уж... Посплю пока, а там посмотрим, кто быстрее колупает замазку, хлебает лужи, продувает макароны и ставит папиросный дым на попа!.. Я заснул смиренно, чтобы набраться сил. Сдаваться этим паскудам, наложив полные штаны, я не собирался.

Ну что, дорогие, ожидали вы такого поворота налево с разворотом к чертовой бабушке? Не ожидали? И я не ожидал. Как поступили бы вы на моем месте и на месте Веры? Представьте, что Джо вышел проводить Сола в Калифорнию и не возвратился. Вы обзвонили все морги, вытрезвители, публичные дома, каталажки, гангстерские конторы, травмпункты, и везде вам отвечают: к сожалению, вашего доброго, славного Джо у нас не было, нет и, скорее всего, не будет. А ведь Вере так и отвечали, сволочи бездушные, четверо суток подряд! Но Федор с самого начала смекнул правильно, что я или в психушке или в кагэбэшном изоляторе. Однако не будем забегать вперед.

Итак, я сплю в смирительной рубашке. Концов моих найти нигде не могут, и сам я не в силах дать знать о себе. Проснувшись, не могу повернуть головы от боли, вижу только потолок, соседа не вижу. Кажется, нас только двое. Лампочка горит весь день и всю ночь.

Влила мне сестра, желтолицая и стриженная под мужика, бурды питательной в рот. Дёрмо еда, но стало от нее повеселее телу. А вот сколько я проспал, час или пару суток, не пойму. Принимаю решение косить (хитрить). Прошу у сестры еще снотворного или какого-нибудь успокаивающего лекарства, не могу, говорю, без них, ублажьте, дайте таблеточку.

Все же благодаря самиздату стали мы образованными и подкованными по части охмурения своих губителей. Несколько книжек я прочитал в свое время здоровых людей, которых чекисты заточили в психушки. Все они делали все возможное, чтобы не глотать различную одуряющую химию, убивающую в человеке личность. И конечно, врачи-преступники исходили в своих действиях против мнимых больных из их сопротивления насильственным процедурам и прочему приему психотропной пакости. Я же с ходу предлагаю им другую игру: сам прошу таблеточку, якобы заветную, кошу, что полюбились мне транквилизаторный кайф и аминазинная придурь, усыпляю бдительность волков в белых халатах и волчиц. Прошу и прошу. Дайте, мол, и дайте. Сначала давали, а потом, исключительно для того, чтобы помучить человека, стали зажимать. Я же наловчился (это нехитрая, поверьте, наука) притыривать таблетки под язык. Сначала, пока не поднимался с койки, сплевывал их под рубашку. Потом было легче. Втирал в щели пола и под плинтусы. Но не буду распространяться

на эту тему. И без меня достаточно написано про психушки. Мой же опыт тамошний оказался в конце концов не из самых тяжелых. Я говорю «в конце концов», ибо хорошо то, что хорошо кончается. До конца концов надо было, конечно, дожить, перенести кое-что почти непереносимое, не впасть в смертельное уныние, не уморить веселья души и любви к жизни.

Вопросов волкам я никаких не задавал. Кроме бытовых, конечно. Понимал, что, например, поинтересуйся я, по чьему приказу попал сюда, то меня сочтут подозрительным до мании преследования и тогда пиши пропал: зачислят в тяжелые шизики. Были у нас в городе, пользующемся самым высоконравственным в мире бесплатным медобслуживанием, ужасные случаи. Были. И я не хотел лезть на рожон, раз очутился в грязных и жестоких лапах. Бесполезно. Надо выжидать, крепнуть, вести себя нормально и хитро, не делать никаких намеков на то, что догадываюсь о несомненной связи происшедшего за последние пару дней с разговором с Жоржиком, и тогда посмотрим, сволочи, кто кого, посмотрим, волки, которых наплодили политруки больше, чем при фюрере. Нынче наверняка имеется в каждом большом городе чекистская психушка, куда гораздо легче, чем в тюрьму, захватить неугодного человека. И заметьте, все это происходит не без указания с самого верха.

И вот — ваш дорогой брат и дядя лежит,

плюя в серый бетонный потолок, пошевеливает затекшими, но освобожденными конечностями, хлебает тусклую баланду (суп-пюре), держит, как мудрый бурундук, таблетки в подъязычье и в защечье и готовится к беседе с лечащим врачом. Его предупредили, что она вот-вот состоится. Советовали критически отнестись к моментам жизни, которые вызвали воспаление психики и довели ее до взрыва, происшедшего на одной из улиц города в присутствии граждан таких-то, во столько-то часов вечера, такого-то числа и месяца. Положение, больной Ланге, небезнадежно, но все усилия врачей — пустой звук без вашего сотрудничества и сознательности.

Мой единственный сосед по палате являлся форменным и настоящим людоедом. Я не рассказываю вам страшную сказку, а если вы сочтете, что все это бред моей больной психики и недаром, значит, я валялся в психушке, я немедленно прекращу нашу переписку. Да! Людоед. Он был совершенно случайно опознан на улице одной из своих жертв. Я не хочу сейчас отвлекаться для изложения истории этого жуткого человека, рожденного, подобно нам, нормальной женщиной, на общей для всех нас и затерянной в бездонном небе земле. Вы узнаете со временем все, что он сам рассказал мне однажды. Причем я до сих пор не понимаю, зачем он открывался, если невозможно было даже с помощью анализа души найти в этом... я чуть было опять не оговорился... людоеде

крупницу раскаяния и сожаления. Я больше не мог видеть его заросшей черной густой бородой морды и рыбьих, беловатых, плавающих в кровавых белках зрачков. Не буду также рассказывать, какую я испытал гадливость от чувства человеческой несовместимости с этим ужасным существом. Гадливость, как я понял, неизмеримо сильнее ненависти.

Ненависть я не раз укрощал, смирял, страдал от нее, искал причину ее возникновения не в других, а в себе, гордился, бывало, ненавистью, праведность которой не вызывала сердечных сомнений, испытал, как вы знаете, если не любовь, то жалость к ненавистному соседу-стукачу, было и такое, что мне хотелось повеситься к чертовой матери, когда моя ненависть к себе чуть-чуть не перешла в невыносимую брезгливость, но нет, по-моему, сильней искушения уничтожить другого человека, чем искушение чувством несовместимости существования в одном мире твоей человеческой природы с его... мне трудно подыскать слово для определения природы моего соседа по палате... Однако о нем позже.

Прошла примерно неделя, как меня заточили в психушку... я говорю «примерно», ибо тогда не знал, сколько проспал и провалялся без сознания. Если бы не мука соседства с людоедом, я бы лежал, не вертухался и обдумывал свое положение. Тем более уже стало ясно: хребтина моя не перебита, держится на ней голова и задница, руки-ноги болтаются и дей-

ствуют более-менее исправно, ребра только побитые саднят, и шрам на затылке чешется, заживает, значит. И вдруг меня дергают к лечащему врачу, которого я еще в глаза не видел, а его называют лечащим. Он меня, очевидно, лечил на расстоянии.

Вхожу в сопровождении двух громил-санитаров (скоро вы узнаете, кто они такие) в кабинет. Кабинет как кабинет. Белые стены и потолок, шкафы с медикаментами, весы, таблица для определения мощности и слабости зрения, «вертолет» (гинекологическое кресло), решетки на окнах. За белым столом сидит мужчина средних лет в белом халате и белом чепчике, лицо его показалось мне в первый момент немного знакомым. Я неопытный в этих делах человек, но не мог не просечь, что никакой не врач этот с интересом всматривающийся в мои глаза тип. Слишком уж новеньким и сидящим, как на театральном артисте, был его белый халат, и сам он как-то не по-хозяйски сидел за столом, постукивая по нему пальцами. Я сел напротив и благодаря хорошему слуху понял, что он выстукивает какой-то марш. Мы молча смотрели друг на друга, пока я, из вечно гадящего мне озорства, не стал выстукивать пальцами вальс «Сказки Венского леса». Он барабанил по служебному блокноту в кожаном переплете, я просто по столу.

— Как вы себя чувствуете, Давид Александрович? — наконец спросил тип.

— Неплохо. Лучше, чем в первый день. Го-

лова заживает. По рыбалке соскучился, — говорю.

— Давайте, Давид Александрович, начнем нашу беседу не с воспоминаний о том, были ли ваши родители подвержены психическим заболеваниям, а о вашем сыне. Ответьте на простой вопрос: считаете ли вы его утверждение, что Посторонний Наблюдатель существует, нормальным? — спросил тип прямо в лоб.

— Кого вы имеете в виду, говоря «Посторонний Наблюдатель»? — поинтересовался я, чтобы собраться с ответом.

— Разве Владимир Давидович не делился с вами сокровенными мыслями?

— Делился. Он — хороший сын, — сказал я. — Только не пойму, куда вы гнете, гражданин начальник. Я не ученый, в Вовиных делах ничего не понимаю. Но если вы хотите сказать, что мой сын ненормален и, значит, унаследовал ненормальность от отца, что, кстати, пытаются мне внушить, то я сразу должен вам возразить против такого подхода.

— Хорошо. Вот вы считаете себя нормальным человеком. Допускаю, что это так. Нормально тогда, по-вашему, признавать Постороннего Наблюдателя ученому?

— Не понимаю, — говорю, — чем вам помешал этот Наблюдатель. Что он — шпион американской разведки, что ли?

— А вы увиливаете от ответа, Давид Александрович. Увиливаете. Не так начинаете наш разговор.

— Почему же? Я ответил на ваш вопрос, что в ученых делах ничего не понимаю. Давайте о медицине говорить. Хочу знать, сколько меня здесь продержат.

— Когда вылечат, тогда и выпишут. Таков порядок.

— Чудесно. Мне здесь нравится. Обхождение вежливое. Я люблю таблетки пить успокаивающие. Пей сколько хочешь. И палата хорошая: тихая, а сосед молчит и не курит. В общем, вполне дом отдыха нашего профсоюза.

— Давайте, Ланге, без шуток. Повторяю: чистосердечные признания и правдивость будут первыми симптомами вашего выздоровления. Вот — фотокопия амбарной книги. Почерки идентифицированы, да вы и не отказываетесь ведь, что вели записи собственноручно. Поэтому давайте ближе к делу. С чьих слов или с чьих сочинений?

— Скажите, что нужно делать, чтобы прекратить сердечные перебои? — спросил я, оттягивая время для соображения.

— Я не врач, — сказал тип и покраснел, поняв, что жидко обкакался. — Я не терапевт, — поправился он. — Так с чьих слов или с чьих сочинений ваши записи?

— Сколько мне дадут за то, что я их вел?

— Вас не собираются судить. Вас лечат.

— Спасибо за бесплатное лечение. Хорошо. Я скажу вам всю правду. У меня был в Москве друг. Абрам Грейпфрут. У него были парализованы руки после допросов в Мини-

стерстве госбезопасности. Разумеется, он не мог записывать своих мыслей о наболевшем на обиженной душе и просил делать это меня, что я и делал. Не отказывать же искалеченному приятелю. Затем Абрама увезли в Израиль две дочери. Записи он просил меня сохранить до лучших времен, то есть до его распоряжений. Абрам недавно умер. Вы можете увидеть у меня дома фото его гроба и письмо от старшей дочери. Это все. — Насчет гроба и письма я внаглую соврал.

— Дополнить что-нибудь желаете?

— Конечно, — говорю, — с большим удовольствием желаю сделать пояснение. Когда я записываю с чужих слов, у меня в голове не остается ни малейшей памяти о записанных мыслях и наблюдениях. Я поэтому не мог кончить школу и пошел на завод, где, разрешите напомнить, работал до последнего дня и считаюсь замечательным карусельщиком. Мне Косыгин руку пожимал...

И верите, после этих моих слов тип снова густо покраснел, а я вспомнил мгновенно, где я его все-таки видел. Вспомнил! Далекое, значит, мне до склероза! Мы еще попляшем, Давид! Мы еще покружимся на славной карусели с серебряными бубенчиками!

Однажды к нам на завод пожаловал Косыгин. Мы выпускали важную продукцию по контракту с Америкой, и он пожаловал проведать, как у нас идут дела. С ним был важный американец. И конечно же в охране Косыгина

я видел этого сидящего передо мной типа в белом халате. Я не мог ошибиться! Да и он наверняка узнал меня. Как же не узнать, если он простреливал меня своими фарами, когда Косыгин остановился около моего карусельного станка. Тип смотрел на меня так, держа одну руку в кармане, как будто я вот-вот должен был вынуть пушку, чтобы пустить в пузо премьер-министра семь разрывных пуль, а тип готов был предупредить это жуткое покушение одним метким выстрелом прямо в поджелудочную железу, другим — в сонную артерию. Как же нам было не вспомнить друг друга с помощью Косыгина! Замечу здесь, что после покушения фани Каплан — этого неважного ворошиловского стрелка — на Ленина охрана вождей, прибывавших на встречу с родным рабочим классом, была такой тщательной, что нам запрещалось держать в руках тяжелые предметы, металлические болванки и инструменты.

— Увиливаете, Ланге, от прямого ответа, — сказал тип. — А вы перечитывали амбарную книгу?

— Боже упаси! — сказал я. — Зачем? Я же не для себя записывал, а для Грейпфрута, для больного парализованного Абрама.

— Ну, хорошо. Покончим пока с этой темой. У вас есть знакомые среди персонала спецбольницы?

— Чем вызван такой вопрос? — спросил я.

— Вы могли бы с ним или с ней передать записку домой и получить передачу. Иным образом это сделать сейчас невозможно. Мы идем вам навстречу.

— Нет у меня здесь знакомых.

— А до вас доходит, Ланге, — начал раздражаться «терапевт», — что вы отягчаете свое положение? Вы понимаете, что вас могут скрутить в бараний рог и тогда вам уже не выпрямиться?

— Ну, — говорю, — если вы так слабы и не влиятельны, что не можете без помощи персонала спецбольницы передать моей семье записку и мне принести домашней пищи, то навряд ли согнете меня в бараний рог. Навряд ли!

— Со-о-о-гну-у! — просто взвыл вдруг от бешенства мой лечащий врач. — Согну-у! — Тут он взял себя в руки, вогнал, так сказать, бешенство внутрь, но оно исказило его прикидывавшуюся благодушной харю, да и сам он больше не корчил из себя сочувственного добряка. — Я не таких сгибал вот этими руками. Стальные духом раскалывались у меня, как овечки! Понятно?

— Я очень хорошо это понимаю, — сказал я, радуясь в душе, что не чувствую угодничества, мизерной бздиловатости (страха) и крысиной жажды спасти любой ценой свою старую шкуру.

— Вот так и будем разговаривать. И запомните: из вашего «бублика» вы сию минуту

можете угодить туда, где этот «бублик» припомнится вам как цимес! Ясно?

— Яснее быть не может.

— Вы давно ели цимес? — снова заорал «терапевт», и крик его никак не соответствовал смыслу вопроса.

— Вы меня утомили. Болит голова, разбитая, как я теперь понимаю, вашими молодыми «романтиками». Что от меня нужно КГБ? — спросил я.

И вот что я узнал, дорогие! На третий день моего пребывания в «бублике» по «Свободе», «Немецкой волне» и «Голосу» было передано сообщение об избииении меня на центральной улице города переодетыми кагэбэшниками. После чего я был помещен в психушку. Моим родным запретили посещать меня и передавать пищу. Подробности сообщения были такими точными, что карповцы сделали неглупое предположение о нахождении или в их рядах, или среди персонала психушки диссидентского агента. На меня, как я понял из откровенного разговора с Карповым, им уже было накакать. Им нужны были фамилия «мерзавца» и прекращение утечки информации. Я им выкладываю все начистоту — они меня шугают (выпускают) на волю.

Карпов уламывал меня и так и эдак, грозил, хитрил, обещал, орал и всячески говнился. Процесс над группой диссидентов, один из которых окопался в психушке по заданию ЦРУ и мирового сионизма, был ему просто необхо-

дим. Мне же он нужен был как пятке... одно место, которым Сол и Джо удивляют своих девчонок. Вот я и поозоровал. Мне захотелось есть и спать, и я сказал:

— Вы с моим делом, голубчик, жидко обделались. У вас уже полные голенища. Вы можете сейчас пустить мне пулю в лоб, но своей шкуры таким образом не спасете. Я хоть и не начальник, но разведчиком был замечательным, и я умею молчать. Можете зажимать мне дверь яйца — убедитесь в этом. Предлагаю разбежаться по-хорошему. Иначе мои друзья и родные поднимут шум на весь мир. На вас полетят все шишки. А уж Георгию Матвейчу всей этой каши не простят. Депутатом Верховного Совета от нашего избирательного округа ему уже не быть никогда. Так и передайте слуге народа. Лучше будет, если меня немедленно освободят. Извинений я не требую. Они даже были бы мне неприятны. Что вы скажете?

Карпов растерялся и выстукивал пальцами по столу «Если завтра война, если завтра в поход». Я же выстукивал назло ему любимый «Фрейлахс». Потом Карпов нажал кнопку. За мной пришли два санитар и волчица — моя врачиха. Она о чем-то пошепталась с Карповым и сказала:

— В пятую.

— Скажите, чтобы выдали таблетки, — сказал я. — Третий день не получаю. Не сплю и умираю от тоски.

— Увести! — гаркнул Карпов, и меня пе-

ревели из «бублика» в тихую пятую палату. Кто, вы думаете, меня туда сопровождал? Помните участкового, который перестрелял всю семью, кроме тещи — старой половой разбойницы? Он был одним из санитаров. Его признали безумцем и поместили в психушку на пожизненное принудление. Он был силен и исполнителен. По приказу врачей ласково успокаивал больных. По приказу колотить — колотил на совесть и с перевыполнением плана. А второй был тоже силен и исполнителен, хотя спятил навек. Он считал, что его забросили на другую планету, где живут существа больные, злобные и вредные, вроде хорьков. После рабочего дня он, говорят, посылал телепатические донесения на Землю о ходе своей космической миссии по переделыванию хорьков в разумные существа. И о них, и о моих трех соседях по пятой тихой палате можно рассказывать до бесконечности, ибо, поверьте мне, начав, уже трудно остановиться. Так что, дорогие, я чувствую, что в этом письме вполне найдется местечко для возвращения к рассказу о Федоре.

Я, конечно, ничего не знал, что с ним происходит почти два года, и только при первой нашей свиданке Федор рассказал мне, что автором его дела был наш фронтовой переводчик — Козловский.

Была у меня на фронте мыслишка, что этот заносчивый жлобина — мелкий сексотишка, но не в моих привычках объявлять таковым на

основании одних только предположений даже самую неприятную отвратину. Не знаю, как это делается в Чека конкретно, но, копнув биографию Федора по гражданской и военной линиям, докопались до Козловского. Дернули, полагаю, его, одурили, припугнули (это несложно), и он дал, к радости «рыцарей революции», развернутые показания на Федора, бывшего своего непосредственного командира.

Над ним бились день и ночь уже девять месяцев. Не давали спать по ночам: таскали на допросы. Морили голодом и холодом в камере. Подсыпали какую-то пакость в баланду (бульон на воде). Били. Колотили. Изощрялись в издевательствах. Шантажировали. Подкупали. Улещали. Инсценировали расстрел. Слух о несгибаемости некоего Пескарева дошел постепенно до высшего начальства. Федор разрывал по швам все пришивавшиеся ему дела и не желал брать на себя даже самых пустяковых, по которым он получил бы свой червонец и поменял тюрьму на лагерь! О том, чтобы освободиться за недоказанностью обвинений, он и сам не помышлял. Понимал, что свободы ему не видать как своих ушей, но и на попятную идти не желал после того, что вынес за долгие месяцы тюремной тяготы советского следствия. Это было бы нелепо. Лучше уж смерть, решил Федор, и ждал ее со дня на день. Жалел, бывало, что сразу не раскололся, сэкономив силы, нервы и здоровье. Но и сле-

дователя своего он так ухайдакал, что тот три раза брал больничные с диагнозом «резкое переутомление». Следователь тоже ведь потерял время, не сумев с ходу согнуть Федора или забить его с подручными до смерти. Вот ими обоими и заинтересовалась Москва. Укокошить Федора по-тихому уже было невозможно. Несчастному, постаревшему лет на десять, по словам Федора, следователю пришлось вести следствие по классическому образцу — копать, копать и копать. Так докопались наконец до Козловского.

Приводят однажды Федора в кабинет к своему родному Балаеву. Балаев сидит за столом как именинник, чисто выбрит. Не подергивает левым веком, не ворочает, как бык, налитыми желчной кровью глазами. Не орет, не блажит. Не кидается пресс-папье и термосом с кофе. Приветливо улыбается Балаев. И тут почувствовал Федор, что ему хана. Так оно и было. Долго молчал Балаев. Чинил заново карандаши. Рвал старые протоколы. Сжег чьи-то показания. Положил перед собой стопку новеньких бланков протоколов допросов. Позвонил жене. Сказал, что придет рано. Просил позвать вечером каких-то Персидьевых и зажарить телятинки. Упрямо настаивал на том, что пусть уксус в селедку каждый наливает сам себе и что картошку молодую лучше отварить, чем поджарить. Наконец, как бы мимоходом, спросил:

— В плену, Пескарев, когда-нибудь бывали?

— Нет. Не бывал, — сказал Федор, и отлегло у него немного от сердца.

— Так, так, — говорит Балаев, берет трубку и просит привести «человека». Пока того откуда-то вели, он не обращал внимания на Федора, чем снова нагнал ему на душу тоски, — чистил ногти и наводил порядок в ящиках письменного стола.

Но вот открывается дверь, и в кабинет входит позорник Козловский, которого Федор в первый момент не узнал. Он был разжиревший, небритый, а местечковый гонор и нагловатое жлобство слетели с него в подвалах следственного изолятора в два счета. Побитый пес, лишившийся вдруг за гнусный нрав покровительства хозяина, сидел перед Федором.

— Узнаете «человека»? — спросил Балаев у Федора.

— Нет. В первый раз вижу этого «человека», — сказал Федор.

— Хорошо. Выкладывайте, Козловский, — торжественно велел Балаев, и тут Федор все, разумеется, просек, но страшно ему стало не за себя, а за комполка, который скрыл историю анекдотического пленения Федора от СМЕРШа, и за меня, не донесшего куда следует об ужасном фронтовом чепе.

Что делать? Федор принял единственно правильное решение. Он для пущего понта (притворства) завываламывался, не узнавая яко-

бы Козловского, и протестовал. Но потом, когда Балаев, увлекшись «погоней», дал пару промахов, Федор понял, что следствие благодаря российскому распиздяйству (бесхозяйственность) не выходит ни на комполка, ни на меня, который, по словам Козловского, погиб в Берлине, понял и как бы под давлением неопровержимых улик и угрозой устройства очной ставки с бывшими плененными немцами драматически раскололся. При этом, для того чтобы поверили в его — стального, по слухам, человека — отчаяние, он драл себя за уши, хотел выпить залпом пузырек чернил и рыдал как ребенок. Балаев же торжествовал.

Федору вломили (дали) после нехитрого и быстрого следствия двадцать пять лет, а Козловскому — пятнадцать.

Вот так, дорогие. Теперь — ближе к делу. Собрала меня моя Вера как следует, запудрил я мозги близким знакомым и своим детям, что еду на дальнюю рыбалку к сибирской речке, взял билет на самолет и не успел очухаться, как в тот же день паршивый старый «ЗИС» перетряс мои кости на колдоебистой дороге. Я сидел в кузове со своими сидорами (манатками) и смотрел по сторонам на убогое, осеннее северное пространство. Да, думал я, забытый это и проклятый Богом край, если от первого взгляда на него пронизывает тебя до мозга костей серая крысиная тоска. Вон тащится этап — понурые люди в серых залатанных бушлатах и в выцветших от военных времен

солдатских ушанках. Попутчик мой — механик-вольняшка с какой-то шахты — восторженно рассказал мне, может, байку, а может, быль про интенданта, которому Сталин лично навесил на грудь орден Ленина за выдающуюся заботу о народном имуществе. Интендант этот велел своим командам собирать на поле боя шинели, шапки, телогрейки, сапоги, валенки и ботинки убитых солдат. А собранные шмотки хранил в складах. И вот когда после войны в лагеря пошли миллионы бытовиков и выданные нашими союзниками бывшие пленные советские солдатики и офицерики, с особой остротой встал на заседании политбюро вопрос, во что одевать всю эту вражескую компанию. Тут интендант и подсунул подарочек вождям: склады, битком набитые имуществом павших в боях за Родину, за Сталина. На первый раз, сказал, на всех хватит, а там еще что-нибудь придумаем. И Сталин ему вручил орден своего приятеля Ленина.

Я в кузове помалкивал и старался не смотреть на изможденные и обескровленные обидой и отчаянием лица зеков. Отворачивался, когда «ЗИС» обгонял плетущиеся по обочинам колонны.

Не буду рассказывать, как я устроился в поселке на огромной и важной государственной стройке. Вы все равно не поймете, каких это стоило трудов, изворотливости, денег, водки и столичных продуктов. Вы представить не можете, что такое прожить несчастную неделю в

поселке городского типа, где каждый второй — вохровец, каждый третий — осведомитель, каждый четвертый — оперативник и каждый первый — заключенный. Но я выдал себя моему попутчику за хитрого еврея, ищущего зону сбыта дефицитных промтоваров. Вольняшки остро нуждались в них в те времена и не желали носить на голове простреленные пулями и продранные осколками мин и снарядов ушанки, дырявые, с въевшейся в сукно кровью шинелишки и прочие, вечно хранящие следы смертельной беды вещички. Спойл я этого механика. Отпуск у него еще не кончился. Вот я и оставлял его наедине с бутылкой, селедкой и лучком, который даже вольняшки ценили на Севере на вес золота...

Найти Федора мне — замечательному фронтовому разведчику — было несложно. И не то еще, бывало, находил. Он работал на стройке здания райкома партии. Бригадирствовал, то есть по-ихнему «бугрил», как я понял. Я притырился на чердаке двухэтажной школы, стоявшей рядом с будущим райкомом, и мне хорошо было видно оттуда, как к вахте подъехали три грузовика, как из них выгрузились зеки и выстроились по пятеркам, как их загнали в зону стройки, пересчитали и распустили, когда конвой залез на вышки и дал знать об этом ударами железяк по звонким рельсам.

И вот я увидел среди зеков Федора. Он давал какие-то указания малярам и штукатурам... что-то доказывал начальнику конвоя... сидел

на бревнах, подставив лицо осеннему солнцу... ругал здорового детину в белом переднике и даже схватил дрыну, чтобы отметить (побить) его, но передумал, махнул рукой и свернул самокрутку. Потом он зашел в здание райкома и долго не выходил... Потом встречал приезжавшие со стройматериалами грузовики... Опять пропадал то в здании, то за ним... Долго кашлял, зайдя за штабель досок... беседовал с приехавшим на «эмке» штатским инженером... снова кашлял, тыкая наряды прямо в морду пьяного, судя по всему, вольняшки-прораба... шептался о чем-то с шофером грузовика и тайком передал ему то ли деньги, то ли письмо... Может быть, даже ко мне. И вот тут я сел на чердаке на пыльное стропило и заплакал. Я заплакал от счастья, что друг мой жив, что тянет он срок, несмотря на кашель и чудовищное похудание, и что жизнь наша, советская, будь она проклята, жизнь, непосильная временами для понимания и великодушной оценки, и вмещено в нее столько беспричинных тягостей, страданий, обид, унижений и смертей, что пухнут мозги и душа обливается кровью в бесполезных попытках соотнести муки и жертвы народа с тем, что гнусная пресса называет «зримыми чертами коммунизма». Будьте вы прокляты, продажные писаки и лживые трубачи, думал я плача, и чтоб глаза мои загноились, увидевшие все, что я видел, если они еще раз заглянут в слова Заславского. Эренбурга, Полевого, Татьяны Тэсс, Чаковско-

го, Кожевникова, Катаева и прочих ужасных газетных блядей, замазывающих сладкими цветными слюнями и соплями гнойные язвы, боль и сумасшествие изолгавшейся одной шестой части света... Господи, за что такое наказание неповинным в политической дьявольщине людям? Неужели Твоя это, Господи, воля? — вопрошал я и, перестав плакать, сказал сам себе тихо, беззлобно и окончательно: нет, не Твоя это, Господи, воля и не Твоя вина. Сами мы люди во всем виноваты, сами!

Я и теперь не мог бы вам объяснить, почему тогда пронзило меня такое сердечное убеждение. Не могу, и все. Я только уверен, что Господь Бог здесь ни при чем, хотя я не знаю, могло ли не быть с моей страной и с теми народами, которых она увлекла за собой в бесовскую свистопляску, то, что с ней происходит с семнадцатого года, или все это должно было произойти. Человеческой башке до этого не допереть, если даже она пожелает заплатить всей жизнью своей за мгновенную разгадку нечеловеческой тайны истории.

Потом уже, при первой нашей встрече, мы с Федором говорили об этом и о многом другом, а в тот раз я, наблюдая за своим другом, счастлив был, что жив он и что завтра-послезавтра займет, даст бог, сюрприз, которого, возможно, не ожидает.

Вечером подъехали «ЗИСы». Зеков выстроили, пересчитали, усадили пятерками в кузова, закрыли ворота стройзоны на замок, и мне

стало абсолютно ясно, как я должен поступить.

И вот, дорогие, представьте себе следующую картину. Ночью с большим кешарем (передача) для Федора ваш бедовый родственничек, кося (притворяясь) под пьяного, пробирается, отворачиваясь от промозглого ветра, на стройку вонючего райкома партии.

Вот он через дальнюю от вахты вышку вертухая спрыгивает в зону. Замечает в предзоннике следы и идет себе к парадному подъезду, над которым уже просыхал барельеф учителей человечества — Маркса, Энгельса, Ленина и не подошедшего еще Сталина. Родственник ваш понимал, что в здании должна находиться прорабская хавирка (комната), где Федор возится с чертежами, нарядами и кемарит (спит), убивая время неволи. В здании стояла тьма-тьмушная, но фонарик был у меня с собой. Я знал, что окно прорабской выходило во двор стройки. На последнем этаже я нашел запертую дверь. Все остальные комнаты и помещения были открыты. Значит, это была дверь прорабской. Надеюсь, вы рассуждали бы подобным образом в той ситуации. Дверь была еще не капитальной, а дощатой. Снять ее с петель, войти в хавирку и повесить снова было нетрудно. Сделав все это, я огляделся. Стол, стул, полки с деловыми бумагами, нары, электроплитка, на ней жестяной самодельный чайник, графики и списки рабочих. Я выключил от греха подалше фонарик, прилег на нары и, решив действо-

вать сообразно обстоятельствам, крепко задрых. Не люблю я умозрительно опережать события и предвосхищать их неведомый нам до поры до времени ход. Потому что случилось мне в ожидании какого-либо решительного действия обсасывать заранее детали своего поведения, и вот такая высосанная из пальца схема мешала впоследствии соответствовать неожиданным и конечно же непредусмотренным поворотам и играм чистого случая.

Но все же, перед тем как задряхнуть, я нашел в прорабской местечко за ящиками с гвоздями и олифой, где можно было отлично притыриться, если утром сюда зайдет первым не Федор, а, скажем, сам вольный прораб или конвойный.

Давненько, с казарм, не спал я на нарах, но ничего, заснул, да еще как. Хорошо спал, и сны мои были детскими, чистыми, страшными и счастливо кончались. Необыкновенно крепнет душа от таких снов, словно с курорта возвращается, ободренная и поддержанная ими нести в нелегкую жизнь свой крест без уныния и злобы.

Чуть не проспал. Разбудил меня занудный рев подъехавших грузовиков. Сердце мое забилось от волнения и страстного нетерпения обнять наконец ошарашенного моим появлением Федора. Я притырился за ящиками в дальнем углу... Жду, стараясь ни звуком, ни движением не выдать своего присутствия. Забыл сказать вам, что помочился я из окна еще

ночью, а то бы не вытерпел и — быть беде. Не знаю, сколько так прошло времени. На часы я старался не смотреть.

Наконец послышались голоса Федора и начальника конвоя. Оба они зашли в прорабскую, и между ними состоялся разговор. Деловой разговор. Я понял из него, что начальник конвоя строит на имя своей матери здоровенную домину и ему нужны стройматериалы. Секретность сделки он гарантировал. Федор сказал, что ему не жалко казенных материалов, ибо их разворовывали и будут разворовывать все, начиная с секретаря райкома и кончая начальства МВД. Но он хочет, чтобы платой за доски, паркет, гвозди, краску, железо и кирпич была возможность закупать для бригады приварок в вольных магазинах, передача писем, снабжение махоркой и одеколоном для питья «Красная Москва». Начальник согласился.

— С тобой легко, Пескарев, — сказал он.

— А с тобой намного легче, — ответил Федор, после чего начальник ушел. Федор крикнул кому-то, чтобы его до обеда не дергала ни одна падла. Он занят нарядами и хочет покемарить (поспать). Вот тут я заворочался, вылезая из-за ящиков, но совсем на всякий случай не вылез. В общем, когда Федор с недовольным возгласом: «Ну, что еще там?» — подошел к моему загашнику (тайнику), я не стал орать всякие слова, я только, улыбаясь торжествующе и радостно во все свое счастли-

вое рыло, смотрел на хлопающего ушами Федора...

Не буду вам здесь пересказывать, о чем и как мы говорили в первые минуты, говорили то шепотом, то жестами и просто без слов понимали друг друга, чокаясь и закусывая коньяк столичной бациллой (самая лучшая закуска) из Яшиного магазина.

Вы бы попробовали вот так полулежа проторчать за ящиками в узком пространстве три дня и три ночи. Выбирался я из зоны вечером после снятия бригады, спаивал механика и снова возвращался ночевать в прорабскую. Федор успел перетащить на себе в лагерь теплые вещи. Чеснок, лук, сало и прочие дела он притырил на стройке. До весны у него была неплохая поддержка. Я знал, что свиданка со мной его подзарядила, и уехал, не погорев, слава богу, и не подведя под монастырь друга.

Уехал я и с радостью, что свиделись, и с ужасной тяжестью на душе от всего увиденного и услышанного. Пересказывать не стану. Читайте «Архипелаг», дорогие. Читайте и пересказывайте своим близким и знакомым. Может быть, они пошустрей засопротивляются всякой коммунистической, а точнее, фашистской заразе. Может быть, вы точнее поймете, на каких костях строилось общество развитого, как приучают его именовать цекистские мошенники, социализма.

Перейдем теперь опять ко мне. Вы и так заждались окончания этого письма.

Несколько дней никто меня никуда из тихой палаты не дергал. Я наслаждался покоем, выздоровлением головы и ребер и сладко обмирал от надежды возвратиться вскоре домой. Я приглядывался к сестрам, медбратьям и врачам, пытаясь просечь в них того, кто выносил информацию из психушки. Я обмозговывал каждый взгляд, брошенный на меня, и придавал значение даже случайным словам врачей, обращенным ко мне, но не мог даже строить предположений. Да и зачем? Дай бог здоровья и счастья человеку и подобным ему людям, благодаря которым и наша страна, и мир знают, что вытворяют «самые гуманные на свете» гэбэшники и партийные придурки с нормальными гражданами.

Про свою обиду я старался не думать, чтобы не растревлять душу. Я как бы подвел в душе итог своим отношениям с гнусной Сонькой (советская власть) и в который уж раз почувствовал и понял, что ни водородные бомбы, ни ракеты — ничего не прибавило ей благородства и великодушия. Как была с семнадцатого года мелким, коварным, лживым и жестоким грызуном, так и осталась. И вожди ее, за исключением, пожалуй, Никиты, которого похоронили по-человечески, в сырой земле, а не в кровавой стене, под стать ей.

Ты, Давид, крепни, сил набирайся, Бога благодари, что чекисты по недосмотру тебя не угрохали начисто, и жить готовься продолжать. Жизнь ведь за решетками ликует ярост-

но! Ветер с карнизов капли дождя слизывает. Голубь парит в синеве, никакого всемирного тяготения не чуя. Люди своими и чужими делами занимаются. И чего только не происходит в одну только вот в эту минуточку на живой, сносящей терпеливо и милостиво все обиды и измывательства над собою, на нашей чудоподобной земле!

Вон мужичонку-людоеда, соседа моего бывшего, потащили санитары из «бублика» куда-то на экспертизу. Орет он, язык вываливает, вроде бы помешанный, но нет! Цепляется людоед за жизнь всеми когтями. Чует, что единственная для него возможность спасти шкуру — быть признанным больным с рождения безумцем. А ведь мне, ирод, открылся, поняв безошибочно, что не в моих правилах донести, настучать даже на него, на змея, которого любой человек должен, взяв перед Богом грех на свою душу, удавить сальным кухонным полотенцем и выбросить то полотенце на помойку. Мерзопакость..

Приперся он из своей затерянной на Тамбовщине глухомани в наш невезучий городишко свидеться с умирающей сестрицей. Наследство получить хотел: денег десять с лишним тысяч, дом и всякий скарб. И решил, людоедина, пойти купить что-нибудь в наш гастроном центральный. А жрать в гастрономе нечего, кроме прошлогоднего борща в банках ржавых, «Завтрака туриста», где перловка полусырая смешана с томатом и рыбными опилками,

хлеба, соевых конфет и «Советского шампанского». Взял людоед шампанского, хлеба, кислой капусты и соевых конфет. В ярость, по его словам, ужасную пришел от такого выбора продуктов, но делать нечего. Жрать охота, а в доме умирающей из еды только герани пожухлые, неполитые и переживший не одно уже поколение хозяев фикус. Даже собаки шелудивой не было в доме умирающей. А то людоедина закусил бы вымоченной в уксусе и затушенной в чугушке собачатиной. И вот, забыв от голодухи следить за выражением своей людоедской хари, вышел он на улицу, на проспект Ленина, со зверски горящими глазами и оскалив крепкие свои белоснежные красивые зубы. «Милиционера вон того молоденького зажарить бы сейчас на вертеле! Неплохо пошел бы он под шампанское и кислую гастрономовскую советскую, мать ее ети, капустку! Ишь, рыло наел, поросенок в фуражке!» — подумал тогда, оголодавшись, людоедина моя знакомая и, совсем забывшись, впервые за много лет скрытной жизни, облизываясь и сглатывая бешеные слюнки, стал заглядываться на пухленьких мальчишечек, дебелых бабенок и стройных, скачущих, как овечки, девушек... Забылся, змей, и это его погубило. Догнал тварюгу тупой колун.

— Извините, гражданин, ваши документы! — говорит ему запыхавшийся милиционер, которого «гражданин» вообразил десять

минут назад посаженным на вертел и потрескивающим над угольками.

Вынул мой сосед по «бублику» паспорт. И тут бросается на него с диким воплем интересная женщина, тянется наманикюренными ногтями выцарапать глаза и кричит, задыхаясь, побелевшими губами:

— Это — он!.. Он! Это людоед, товарищи!.. Не дайте ему уйти... Я не сумасшедшая!.. Это — людоед!

— Пройдемте, гражданин. Там разберемся. Следуйте, гражданка, за нами, — сказал жареный милиционер.

Вот тут-то и окатило нашего людоеда тухлой белой и холодной волной приближающегося возмездия. Открыл он по дороге в отделение шампанское, чтоб не пропало зря, вылакал его из горла, заел кислой капустой, что само по себе было частичной мстью за все его злодеяния, и стал безумно хохотать, решив, что прикинуться бесноватым — единственный шанс на спасение от вечной каторги или смерти...

Он сразу же узнал в интересной женщине молоденькую девчонку, которую намеревался забить и сожрать в каком-то сибирском городе в голодном 1944 году. До этого он, по его словам, угробил более двух десятков душ, а тела их пускал на прокорм себя, своей бабы и несчастных доходяг, эвакуированных из блокадного Петербурга. Петербургом мы с Федором называем город, ныне носящий имя Ленина.

Помню, в самом начале людоедского рас-

сказа я чуть не сблевал от чувства гадливости и иступленного гнева своего сердца и с трудом спросил:

— Как же ты мог пойти на такое?

— Советская власть приучила, — с глубоким убеждением и прискорбным вздохом, как человек, внушающий себе, что нет его личной вины в чем-либо ни капельки, ответил людоедище. — Она, и только она! — повторил он упрямо. — Разве не она голодуху устроила по всем деревням в нашей области? Она! — Тут он перешел на шепот: — Комиссары-то, паскудины, все до зернышка у нас позабирали, коров-кормилиц и лошадей увели, кур на постое пережрали, нас с одним шишом оставили. А было нас шестеро пацанов у отца с матерью. Хочешь верь, Давид, хочешь не верь: у меня на глазах один за другим брательники мои мерли. Тогда мать повесилась, загоревав и с ума сойдя, а папаня сказал: «Будя! Поели вы нас — теперича мы вас пожуюем маленько!»

Пропал куда-то папаня дней на пять. Вернется на санях. Ночью дело было. Я сам так ослаб, что, когда подсоблял выгружать из саней какой-то тюк, в обморок завалился. Очухиваясь от тепла жизни, и кружится моя голова, потому что учуял я бульканье на печи духовитой похлебки и увидел на столе горку испеченных ржаных лепешек. Выкормил меня папаня. Юшку одну сначала давал, которую ты зовешь бульоном. Лепешки кусок размачивал и давал мне. Потом к мясу помаленьку приучил. Мясо,

скажу тебе, как мясо: смесь вроде бы курятины с поросятиной, несколько прислащенная. Оклемался я — парнишка. Силенка во мне враз заиграла, и тогда открылся мне папаня. Мы, говорит, Михей, не скотину жрем, между прочим, с тобою, а кое-что похуже! Комиссаров мы с тобою шамаем, ибо другой возможности спасти жисть себе и своему последышу временно не предвидится. Они нас тыщами жрут и в могилу голодною смертью вгоняют, а мы их по одному с тобой, по одному. На всех оставшихся в деревне хватит. Видишь, по воду люди пошли? Ожили. Мне спасибо говорят. А уж я за свой грех на Страшном суде один отвечу. Отвечу один и оправдываться не стану. Не хочу — бесстрашно скажу хоть самому Господу Богу — оправдываться, но готов к любому наказанию. Нельзя было с нами так поступать. Нельзя было не за людей считать, а за кулаков каких-то! Нельзя было! Прости, скажу, Господи, за вину не перед зверями-комиссарами, а перед Тобой!.. В общем, Давид, спас тогда мой папаня человек тридцать от голодухи. Пропадал иногда на неделю. Потом вертался. Муку, ворованную у Советов, привозил, соли, масла постного и мясо в тюках. Никто так и не узнал, что это было, кроме меня. Вокруг же на много верст повально опухали и подыхали люди, и не то что на сев выйти по весне не могли, а хоронить близких сил не хватало. Вот до чего довели деревню большевики-коммунисты. Если бы дали тогда мне

товарища Сталина — зверя бешеного, и Кагановича в придачу — исполнителя его первого по колхозам, я бы живьем их обоих сожрал, клянусь тебе, и не покривился бы, только соли бы маленько попросил, уксуса и горчицы...

Перемерли, в общем, тогда везде люди. Даже лето с лебедой, крапивой и ягодами не спасло многих... А наша деревенька уцелела благодаря папане. Но и уцелела на свою беду. Набрел на нас случайно какой-то инспектор. Видит баб, мужиков и пацанву с рожами более-менее отъетыми и давай орать: «Вы хлеб, сволочи, от советской власти схоронили! Сидите тут, жрете и в колхоз не вступаете. Но ничего! Скоро вы у меня в Сибири попердите ишачьим паром!»

Хотел было папаня, я это по его глазам понял, прикончить инспектора, но людей засмушался. Порыскал инспектор по хатам, пораспрашивал деревенских про исчезнувших с концами товарищей и уехал. А деревня вся наша разбежалась по городам куда глаза глядят.

Подались мы с папаней к дяде его на Алтай. Только обстроились там слегка, скотину завели, жить можно и все такое, как опять нагрянули к нам комиссары и давай раскулачивать, то есть грабить. Папаня велел мне в город бежать и больше вообще в деревню, на землю, не возвращаться. Сам же единолично перестрелял восемь человек из подразверстки и потом в рот себе дуло вставил. На том ме-

сте теперь памятник стоит «Зверски убитым пионерам сталинской коллективизации. Вечная вам память, товарищи!». Я там был как-то. Видел. Папаню помянул... Так-то вот, Давид...

Жил я в городе. В Сибири. Женился. Истопником в обкоме работал. Насмотрелся, как коммунисты в тылу во время войны гуляют. Вволю насмотрелся, как пьют они, блядуют, обжираются и руководят тыловой жизнью. Бессовестные, надо сказать, наглые и безнаказанные в большинстве своем люди. А бабы их скупали у эвакуированных золотишко, камешки, картинки всякие и заграничную одежонку. Верней, не скупали, а на хлеб, сало и табак меняли. И вот, не знаю, как уж это вышло, звериная ненависть во мне вдруг объявилась. Не к обкомовцам, а вообще. Просто глаза мои залила ненависть. Видать, не прошло без следа то, что выкормил меня отец человечинной, не прошло...

Лет десять назад книжка мне попалась про тигра-людоеда и как его обкладывали, чтобы уничтожить. В Индии дело было. Вот и я вроде того тигра был, только похитрей. На фронт я идти воевать за большевиков не желал. Блатной один беглый мастырку мне заделал: сахарной и табачной пыли я надышался и кровью захаркал. В легких рентген указал огромное затемнение. Чахотка, так сказать. Белый билет и добавочная хлебная карточка. Из обкома уволили меня по болезни. И взялся я за свой

скверный промысел. Надо сказать, что баба моя тоже в жизни кровожадностью заразилась. А может, и родилась самой собою. В детдоме она уборщицей работала. Но на самом деле главным воспитателем являлась. По струнке сироты у нее ходили, а как выкаблучивался кто-нибудь или воровал на кухне, так она бралась за дело и колошматила виновных в кладовой мокрыми полотенцами. Двух пацанов-армян до смерти забила. По почкам она их, по почкам. Ну, это ладно. Хрен с ней, с бабой. Она и подохла не лучшей смертью — от рака. Год от боли выла, но врачи не давали ей успокаивающего, сволочи. Слухи до них дошли какие-то о жестокости бабы моей. Короче говоря, Давид, взялся я опять за это дело. Не без предварительного размышления взялся. Как тигр, примеривался к моменту. Не мог же я завалить самого секретаря обкома — жирную такую рожу? Не мог. Хватились бы его сразу. И за простых городских нельзя было братья. Риск. Эвакуированные мало кого из начальства интересовали, да были они такими худыми и синими, что самих откармливать пару лет надо было котлетами с макаронами. Впрочем, в бабе моей ум был крепкий и дотошный. Уговаривать мне ее долго не пришлось. Давай, говорю, потрудимся с годочек умело, и нам на всю жизнь хватит. Уедем отсюда, дом купим и будем кверху пузом лежать да радио слушать.

Думали мы, сидели с бабой, думали и додумались. Аж в ладошки захлопали. Верно уж

больно додумались. Ай да мы, ебитская сила! Сами мы жили на краю города, за пустырем, в домишке, уцелевшем от пожара целого барачного поселка. И вот идет однажды моя баба к госпиталю, где раненых залечивали и опять на фронт гнали. Губы, сука, накрасила, брюхо ремешком опоясала, чтобы бедро ходуном ходило, волосню ужасно густую на ногах я самолично выбрил ей своей опаснейшей бритвою, туфли гуталином намазала, пудрой заграничной, на хлеб вымененной, рыло наштукатурила, духами «Красная Москва» освежилась и двинулась красючкой к раненым. Я говорю, ты выписанного тащи, залеченного, дура, чтоб не хватились его, чтоб он с предписанием был, с вещмешком продуктовым и так далее.. Но зря я бабу учил. У нее у самой башка была, как у Гитлера, — умная и ужасно злющая. Первого привела она молодого офицера-летчика. Я же, согласно плану, за стеной находился в чулане, откуда мне и слышно было и видно, что в моем доме за стеной происходит... Смотрю, а она, падла такая, глазками и взаправду играет, рюмки-стопочки волокет, винегрет, тушенку, офицерик вещмешок развязывает, по жопе бабу гладит, изголодался, видать, по этому делу. Сели, чокнулись, выпили, закусили, сволочи. Мне-то каково за стеной слюнки глотать? Еще выпили и смотрю: штаны офицерик сымает, не стесняется нисколько и идет прямо на мою бабу со своим стоячим наперевес. Баба и растерялась. А может, и при-

творилась, что растерялась. Все они, эти бабы, Давид, враги народа, поверь мне. Не ожидал я такого течения событий, не ожидал. Офицерик закосел с непривычки, валит бабу мою, хоть она и верещит свои любимые слова: «Не давай поцелуя без любви!» — валит и приговаривает: «Почему же, госпожа, без любви? Я тебя люблю, как небо, и если ты мне сейчас не дашь, то, значит, ты меня не любишь, и тогда я умру».

Надо сказать, с пистолетом был этот офицер, боевой. Даже гимнастерку всю в орденах не снял. Отвернулся я от щели, чтобы сдержаться себя и шуму не поднять с пальбою, только слышу, как офицерик, пилот проклятый, жажает мою бабу и то и дело говорит ей: «Теперь давай бочку сделаем... Хорошо?... Переходим в штопор!.. Ух, как хорошо!.. Переворот через крыло!.. Держись, Тоня!.. Смерть фашистским оккупантам!.. За Родину! За Сталина!.. Бомбиться еще рановато!.. Мы еще полетаем, Тоня! Я на тебе женюсь после войны... Ты “Ильюшин”, а не баба!.. Перехожу в двойной иммельман!»

Затрясло меня, Давид, как сейчас помню, глянул я в щелку, смотрю: баба моя на краю стола сидит, среди закуски, нога у нее одна где-то сбоку дергается, другая желтый абажур задевает и качает, летчик же на табуретке на коленах стоит и орет: «Тоня... Тоня... заходим в пике... потом мертвую петлю делаем... потом бомбимся на пару... Тоня!»

Ввела меня эта «мертвая петля» почему-то в бешенство. Не стал я ждать, когда сука эта поднесет офицеру обормота стакан, где самогон на крепком самосаде настоян, чтобы враз в сон, с ног долой, чтобы дух вышиб обормот из человека, и делай тогда с ним что хочешь. Беру полено березовое, тряпкой половой обматываю, вхожу тихонько и не промахиваюсь, и радуюсь, как сейчас помню, что не дал я кончить офицеру, не дал, заплатил он мне за все свои «двойные иммельманы», не вышел, собака, из «мертвой петли» и даже не пикнул. Придушил я его, для пущей уверенности, шарфом. А баба, ты подумай только, свинья такая, со стола не слазит, пыхтит, глубоко забрало ее, из пике, тварь, выйти не может, и тут меня самого на нее потянуло, ничего с собой поделать не смог. И к лучшему это было, скажу я тебе. К лучшему. Получилось у нас в тот раз с Тонькой так, как никогда еще не получалось, и позабыл я, пока наяривал ее на столе, про яростную обиду. Видишь, как устроен человек и мало еще наукой изучен. А если не залез бы я тогда на бабу, то убил бы. Точно знаю — убил бы. Я ведь и шел с полешком обоих убивать...

Все чисто в тот раз было. Чище быть не может. Вещички на толкучке забодали. Остальное на стюдень пошло и на кулебяку. Это мы у эвакуированных не на деньги обесцененные выменивали, а на часы, как я уже говорил, на золотишко и всякие камешки с бусами... Боль-

ше такого случая, как с летчиком, не повторялось. И вообще я строго-настрого приказал бабе брать кого поглупее да покирзовее — пехоту, ибо с ней возни меньше. Глушанет солдатик какой-нибудь стакана два обормота и с копыт; колуном не разбудишь. Все дела... Честно говоря, сами редко... это... ели, но, бывало, пробовали. Оно... вкусное, но нам и без этого хватало хлеба, водки и сала. От американских консервов, что в госпитале на дорогу в пайке выдавали, деваться под конец было некуда. Рыло у меня от харчей залоснилось. Чуть не погорел из-за него. Пришлось по-новой надышаться сахарной и табачной пылью...

И вышло у меня, у дурня, так, что захотел я бабе своей отомстить за того летчика. Захотел на глазах у нее, у паразитки, поймать красоточку помоложе. Пусть поглядит и потрясется, как я в чулане темном, пусть поскрежешет, тварь, зубами и перекосится в сикись-накись от человеческой ревности... Теперь, говорю, я приведу человека. Сиди там смирно, пока управлюсь. Выйдешь если раньше времени — промеж глаз садану из пилотского нагана!

Семья была одна из Ленинграда. Выкормил я ее студнем, бульоном и кулебякою. Подошли бы без меня как пить дать. Было время, когда за кольцо с бриллиантами люди маcла не находили. Выкачали и из Сибири все соки. Ленинградские дохли тучами, как мухи. Ну и взмолилась старушонка одна видная спасти ее внучку. На одного вас, говорит, молиться на

том свете буду и берите все, что у меня есть, все — ваше. С трудом поднял я на ноги девчушку. Лет пятнадцать ей тогда было. С трудом. Кончалась в ней от блокады жизнь, и организм уже не желал принимать ничего такого съестного и питательного из человечины. Не желал. Словно чуял ее организм, что что-то тут не то, хотя девчушка с неделю лежала в забытьи. Ладно, думаю, ибо злой какой-то азарт разобрал меня тогда, не покинешь ты так просто, девочка, этот белый свет, я тебя выкормлю, гладкой станешь, грудь нальется, ляжки из желтых палок в теплые пышечки превратятся, с языка след смерти сойдет, и волосы вновь отрастут. Выкормлю! И забил я ради той девчушки поросенка нашего, хоть и решил забивать его не раньше Седьмого ноября. Он рос хорошо. Перемалывал, бывало, все косточки, что от солдатиков оставались, и прочее. Забил. Бульона понес девчушке. Хлеба в него накрошил. Укропчиком посыпал. И ты подумай, Давид, приняла она этот поросячий бульон. Приняла, словно уловила каким-то нюхом, что не туфтовый он, а настоящий свиной, домашний, сознание, однако, потеряла после пяти-шести ложек, думали, не оживет. Ожила. На поправку пошла, как деревце, политое после засухи, силы набирала. И тогда я проникся к ней бешеной ненавистью, что разгадала она состав той пищи и отвергла ее всем нутром. Покоя мне такая страсть не давала.

Знал я уже точно, как я с Лидою поступлю.

Только бы заманить ее к себе незаметно, окольными путями, а тогда — завязываем с бабой все это дело и на покой куда-нибудь подалее отсюда... Встала Лида на ноги, и такая из нее вышла красотка, что ноги, бывало, у меня подгибались от слабости, когда я встречал ее на улице. Старушенция заплатила мне за мою настырную работу и за поросятину всем, что у нее оставалось после красных шмонов в старые годы. Много, надо сказать, заплатила.

Но учиться Лида дальше не пошла. Пошла она в госпиталь медсестрою, чтобы фронту помогать. В тот самый госпиталь. Втюрилась там по уши в какого-то романтика, как говорят теперь, тяжелораненого. Встречает меня однажды и просит спасти его. Клянусь, говорит, я расплачусь с вами со временем, сейчас у нас ни денег, ни брошек больше нет. Спасите Игоря! В госпитале голод. Воруют мерзавцы у раненых масло и консервы. Воруют и продают. Их поймают, дядя Михей, поймают, но Игорь-то погибнет. Спасите... Хорошо, отвечаю, а сам с трудом себя в руках сдерживаю, такая во мне страсть играет. Страсть завалить ее и ломать, и долго не отпускать, и потом уничтожить, чтобы больше не было Лиды на белом свете. Хорошо, говорю, время тяжелое, везде тыловые крысы воруют что можно и что нельзя, но у меня для себя на черный день припасено мясца и сала. Приходи, поделимся. Гора с горой не сходится, а человек с челове-

ком завсегда сойдутся. Завтра, говорю, приходи, да не болтай никому про мои припасы.

И вот, Давид, сижу я у окошка и жду. Все у меня для ее приема готово. Трудно сейчас рассказать, что во мне происходило, когда увидел я Лиду, идущую через пустырь, идущую спастись своего раненого Игоря. Больше никогда не было таких немислимых бурь во всем моем организме. Никогда. И задача еще возникла, как виду не подать, что торчит у меня, прямо из портков рвется, извини уж за подробности. Марш в чулан, говорю бабе, и — цыц, если жива быть хочешь. Я тебе, говорю, блядь, покажу двойного иммельмана!

Заходит Лидочка, поросеночек мой, оглядывается. «Дядя Михай, каждая минута дорога! Он умереть может. Будьте милосердны!..» Эти слова старушеница любила мне говорить... Хорошо, говорю, хорошо, и веришь, Давид, сейчас вот, в эту самую минуту, все во мне трясется, как тряслось тогда, и бешено сердце около самого горла ухает... Хорошо, Лидочка, только не отпущу я тебя без того, чтобы не угостить. Как хочешь, но не отпущу... Рожа-то у меня, конечно, зверская, я это сознаю, но, наверное, я тогда по-особенному как-то, не сумев совладать с собой, слова говорил, и Лида вдруг застыла на одном месте, между столом и шкафом, и вытаращила на меня глаза в безумном страхе, словно снова учуяла все обстоятельства, не умея себе в том признаться, и только шептала бескровными губами: «Нет... нет... нет...»

А мы, говорю, никаких «нет» не понимаем, садитесь, Лидочка, за стол. Еще бы минута, и не стерпел бы я... бросился бы на нее, и все было бы так, как задумал, но опять вмешалась в мою судьбу проклятая советская власть. Стук в дверь. Отворяю, взяв себя в один момент в руки. Две старых вешалки из райсовета появились с подпиской на заем. Это надо ж ведь — в такую минуту! Ну хорошо, что не позже. В комнату я их не пустил. Собрал быстро Лиде сальца, окорока копченого, масла, сахара, хлеба. Надолго, говорю, эта подписка, беги к своему Игорьку, в другой раз попою тебя чаем.

Надо сказать, что взяла она у меня из рук узелок со жратвой как-то машинально, думала небось в этот момент о чем-то другом. Взяла. Спасибо не сказала. Ушла. Вернее, без оглядки отвалила. И бежала не так, как бегут, когда просто спешат, а так, словно бы уносила ноги от места, на которое не могла оглянуться от страха.

Подписался я тогда на заем, как белобилетник, со скрипом, и баба подписалась, из чулана выйдя, и как только ушли советские старые шкелетины, набросился я на нее вместо девчушки и в момент успокоился. Да, говорит мне баба в отместку, ты — не летчик! Ну, я ей кулаком в бубен (лицо) врезал, с левой — поддых и говорю: «Собирай манатки. Каждая минута дорога. Допечет нас теперь эта девчонка».

В два дня мы снялись. Пару взяток дали приличных в милиции и в райсовете. Берем только драгоценности, деньги и жратву, следы заметаем, хотя их никогда не оставалось, потому что сжигали все или закапывали на пустыре разные ордена, пуговицы, ремни и так далее. Следов мы не оставляли. Тут я был спокоен. Снялись с концами. Жили припеваючи, но не без страха. И больше ничего мне тебе, Давид, говорить неохота. Серая подступает к горлу пустота, серый холод вот сюда, к душе, подступает... Узнала ведь, тварь, безошибочно узнала, а я, может, с этой секунды прикидываться не желаю. Зачем? Верно? Я ведь и фамилии всех солдатиков помню. Не забыл. Пусть хоть родственникам их напишут, что не без вести пропали солдатика, а погибли. Чего зря ждать? Как думаешь, Давид?

— Так и написать, — спрашиваю, — что съела их мразь по имени Михей, невозможный выродок рода человеческого?

— Зачем же прямо так? Пушай чего-нибудь наврут. Они врать умеют.

После этих слов людоед Михей как ни в чем не бывало стал дожирать оставшееся от обеда пюре с вялым кусочком желтого огурца. Я без ненависти, без злобы, вообще без каких-либо чувств всматривался в его заросшее до самых глаз рыло. Всматривался, как в диковинного ужасного зверя, отгоняя от себя мысль о подобии наших существ, не пытаюсь даже уловить в своей голове все рассказанное

этим выродком и не отшатываясь внутренне от страшного для своей совести решения, от спокойной уверенности, что я его сейчас вот, не откладывая дела в долгий ящик... пусть только дождет пюре... придушу, сотворю суд, совершу возмездие, не жить мне без этого, ибо ничего не сумел бы я доказать следствию, даже если бы превозмог физическое омерзение к праведному, казалось бы, доносу. Доносить я не могу, вы уж меня извините. Лучше уж на себя взять ответственность за самосуд. Суд меня осудит, и правильно, но люди оправдают и, возможно, Бог простит. Поверьте, дорогие, это я сейчас так рассуждаю, а тогда не было у меня никаких ни на грамм сомнений в том, что я хотел сделать с гадиной. Не должна она была жить, не должна... Только эти слова стучали мне в виски... не должна, гадюка... не должна... не должна...

— А вообще-то раскалываться мне самому нечего. Я хоть впрямую изводил человекоткровенной корысти ради, а другие вон миллионами в Азии глушат и в Париже, говорят, учились. Жизнь до чего хочешь доведет, и пущай жизнь саму, а не меня судят, — похрював и неожиданно воспрянув тем, что заменяло ему дух, сказал Михей. Затем пакостно и громко отрыгнул и провонял на какой-то миг непереносимой вонью своего существа больничную нашу палату, так что мне стало дурно и плоть моя вместе с душой хотела было спасительно отключиться в обмороке от тяжких и невозмож-

ных для нормального перенесения впечатлений, но я сжал в кулачине своей всю боль и жалость за загубленные жизни исцеленных в госпитале солдатиков, сжал с раздиравшим мое сердце несогласием, что такое вот может безвозмездно происходить на прекрасной земле, и, чувствуя, что вот-вот покинут меня от дурноты последние силы, что наступает, возможно, конец моих дней, поднялся с койки и без примерки врезал в скулу мерзкой твари... Он отвалился головой к стене... А теперь придушу, подумал я, сейчас придушу...

На этом месте, дорогие, я хочу потрепать вам нервишки, как это любят делать некоторые сочинители страшных и занимательных историй. Я на время оставлю людоеда Михея лежащим неподвижно на койке и пустившим кровавую слюну с губы в завитки своей синеватой и жесткой, как железная стружка, бородищи... Погадайте, что было потом. Уверен, что не догадаетесь. Но не обижайтесь. В конце концов, я пишу не протокол допроса, где «почему» непременно следует за «потому», а вспоминаю. Причем вспоминаю, как я лично хочу, а не Сол или Джо. Мне кажется, что так будет интересней, и я уверен, что если бы писатели выкладывали в самом начале самое интересное и страшное, следуя нервным прихотям некоторых чересчур нетерпеливых читателей, то это было бы так же противно и нелепо, как выпускать в продажу разжеванную кем-то специально для вас жвачку. Жвачка должна

быть свежей, а уже как ее жевать — наше личное дело. Хочешь — жуй до конца, не хочешь — прикрепил ее к рулю или к пуговице (так поступают мои внуки), а потом жуй опять. Я уже кое-что понимаю, как видите, в заграничной жизни. Но можно вообще не жевать, если не появляется такого желания. Все дописанное с этого места я завтра отправляю с Ивановыми (есть у нас и такие еврейские фамилии). Так что продолжения вы будете ждать несколько дней, недели полторы.

Мы остановились, по моему мнению, на одном из самых интересных мест всех писем, вместе взятых. Но я хочу немного забежать вперед из-за уехавших Ивановых. Я эту семью паковал, я ее как следует узнал, я ее отправлял и провожал до самого Бреста и хочу о ней рассказать, потому что семья эта в некотором смысле самая смешная, жалкая и милая одновременно из всех запакованных и отправленных мною в Вену еврейских, русских, литовских, немецких и прочих семей.

Вышло так, что слух про замечательного упаковщика и при этом умного и честнейшего человека, не зараженного низким жлобством (я имею в виду себя), прошел по Подмоскovie и вышел, как пишут в «Правде», далеко за его пределы. Мне звонили из Курска, Тамбова, Ульяновска и Брянска с просьбой приехать и помочь упаковаться, мне писали из Ленинграда, Тюмени, Ташкента, Киева, Воркуты — я

не знаю, откуда мне только не писали. И я при наличии возможности вылетал то туда, то сюда, помогая людям за небольшую оплату моего беспокойного труда. Каким образом и мое имя стало так широко известно — не знаю. Но это неважно. Наверное, одни передавали его другим, другие — третьим и так далее. Не перестаю удивляться, как это оно до сих пор не попало в поле зрения Лубянки. Береженого Бог бережет.

Приходят ко мне Ивановы. Ему — 70 лет. Жене — 68. Оба высокого роста, но он худой, как шкелетина, она, наоборот, — эдакая бочка. Боевая, видать, была в прошлом бабенка. Мальчику ихнему Валере — 14 лет. Дочери Милке — 16. Начал Иванов замогильным голосом с того, что он и Клава неожиданно влюбились друг в друга в доме отдыха. До этого Иванов ни разу не был женат и вообще (это я узнал от него самого впоследствии) не обладал женщинами по причине застарелого страха. Он был невинен, но не мучился этим и, что любопытно, не дрочил (онанизм), такая жизнь его вполне устраивала. Работал он в тресте озеленения бухгалтером и страстно любил время годового отчета. Трест этот выбрал Иванова, потому что у начальства и рабочих не было в обороте никаких материальных ценностей, кроме саженцев лип, тополей, всяких кустиков и семян травы, и поэтому там никто не мог вовлечь Иванова в различные шахер-махеры, гешефты, взятки, приписки, очковтира-

тельство, подделку накладных, мухлеж документации, так что он мог спать спокойно, и это было все, чего он желал от жизни, советского общества и светлого будущего. Раз в году Иванова (до брака — Розенцвейга) отправляли в дом отдыха, где он забивал круглые сутки «козла», читал еженедельники «Неделя» и «За рубежом» и был неременным начальником боевой дружины. Дружина состояла из непримиримых борцов против повального блуда в палатах дома отдыха. Всякие, как я понял, уроды и лица с фашистскими наклонностями следили, чтобы мужики не оставались ночью у баб, а бабы — у мужиков. Они же шуровали с фонариками в парке, среди кустиков и если ловили «половых разбойников», то администрация сразу же выписывала их досрочно за моральное разложение трудящихся в период оплаченного профсоюзом отпуска. Раз отдыхать приехал, то отдыхай, собака, а не бесись на казенных харчах, потерпи до дому, уйми животную страсть к женщине мимолетной, которая честной не бывает и с тобою изменяет такому же труженику, как ты...

И вот однажды бывший Розенцвейг возвращается в свою палату с дежурства в лесистом парке, где он испортил удовольствие несколькими пожилым парочкам. Да, дорогие! Пожилым парочкам! И не удивляйтесь. Наша советская бытовая жизнь в перенаселенных коммунальных квартирах, в комнатухах, где спали, бывало, по пять—восемь человек кроме супру-

гов, включая бабок и дедов, до того уродовала отношения жены и мужа в единственном родном и теплом месте на земле — в постели, что люди, и женатые и неженатые, вырываясь раз в году в дом отдыха или в санаторий, буквально начинали беситься от похоти, переходящей в жадность.

Представь себе, Наум, что ты сегодня как-то необыкновенно расположен к своей Циле. Ты начал думать о ней, сидя еще на службе в своем Манхэттен-банке, и ждешь не дождешься рева его гудка. Ты быстренько закрываешь сейф с чужими миллионами, снимаешь табель в проходной, весело говоришь вахтеру «Гуд бай!», садишься на трамвай (зря ты обиделся, это я так называю ваше метро, виноват, сабвэй), по дороге заходишь в забегаловку хлопбыстнуть стакашек портвешку с кружкой пива (коктейль), затем берешь (когда еще было чего взять) в гастрономе вкусенького и сладкого для всей семьи и, в доску любящий свою жену и детей, приходишь, мурлыкая «и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить», в коммунальную квартиру № 33 на Пятой авеню. Хрен с ними, думаешь, с соседями, глаза бы на них не глядели, ни на кухню не выйду, ни в сортир, в банку помочусь, а ночью вынесу, в кругу семьи зато проторчу весь вечер, надоели кухонные свары и коридорные разговорчики...

Ужинаете все вместе. Ты шутишь с женой Цилей, с Солом и Джо. Ты нежен и приветлив

с ними и лоялен с тещей. Ты сегодня как-то особенно жарко хочешь иметь свою жену и не задумываешься, почему именно сегодня. Может, завтра получка, может, полнолуние или Первое мая на носу. Вы живете вчетвером плюс Цилина ехидная мама, которая кашляет исключительно по ночам и храпит, как лошадь маршала Буденного (бездарный и мелкий маршал). Ты чувствуешь, Наум, что уже передалось за столом твое нетерпеливое серьезное желание. У вас у двоих — праздник. Вы уже вместе, и ничего не значащие для других слова (Наум, дай мне еще кусочек лимона) и жесты (Циля вдруг поправила бретельку на левом плече, а ты сладко зевнул) говорят вам столько и так распаляют предвкушение чудесных объятий, что ты говоришь детям:

— Мальчики, завтра рано вставать. Попишите и — в кровати. Нет, не «еще немногo», а пора спать. Вам, Гинда Гершевна, тоже пора. У вас усталый вид.

Наконец все легли. Потушен свет. Из коридора (хотя дверь обита двойным слоем войлока) доносится скандал на тему «Кто загадил уборную» и что после гостей следует мыть полы в прихожей. Слева за стеной сосед чинит детям ботинки и орет после каждого удара молотка: «Почему, сволочи и сукины дети, на вас горит обувь?» За другой стеной день рождения вашего дворника. Он татарин, но все поют «Сулико», потому что запретить петь хором любимую песню товарища Сталина не имеет

права даже мелкий работник органов, занимающий, однако, две комнаты сразу. Ты, Наум, уже привык не обращать внимания на «Сулико», на вопли из коридора, бесконечное рбчание и журчание воды в сортирном бачке, ты лежишь наконец в темноте коммунального вечера, рядом со своей желаннейшей женой, и в занавешенные окна вашего бедного пристанища не залетает желтый свет уличных фонарей... не залетает... не залетает... не залетает. Дети еще хихикают перед сном и ворочаются, твоя теща — бессмертная Гинда Гершевна — настырно полощет в серебряной кружечке челюсти, будь он проклят, этот зубовный звон, а ты уже медленно, нежно и неслышно поглаживаешь грудь, живот и любимые бедра Цили, чуть не сглатывая слезы обиды на враждебно тянущееся время и сперто дыша. И вот уже, черт бы их побрал, все затихли, на шум в квартире тебе плевать, ты, стараясь двигаться невесомо, как космонавт в космосе, залезаешь в заветную минуточку на Цилю (извини, что я так фигурально выражаюсь), обнимаешь ее за плечи (мы с Верой так обожали) и... не стоит, в общем, говорить, что ты переживаешь. Это очень понятно всем людям, за редкими исключениями, не стоит говорить, Наум, о не худших в нашей единственной жизни переживаниях, как вдруг эта скотина Сол или этот мерзавец Джо злобно шипят:

— Сколько можно ворочаться!

— Заснуть нельзя!

Лил с тебя, Наум, в такие минуты пот стыда и ненависти к собственным твоим детям? Отговаривался ты нелепо перед детьми, готовый убить тещу за всепонимающее, похабное молчание? Ты слезал с Цили после ее раздражительного щипка в живот? Ты лежал с открытыми глазами в кромешной тьме на собственной тахте, распятый чудовищной зависимостью перед коммунальной судьбой и проклиная неведомую силу, обрекшую твою плоть и плоть жены на два печальных одиночества, проклиная и чувствуя, как от таких немислимых, нечеловеческих неудобств и полной оставленности охладевает постепенно твое естество, а Цили приникает лицом к твоему лицу, и по нему скатывается ее горькая слезинка. Тогда начинают слипаться твои глаза для спасительного забвения, и ты проваливаешься в него с облегчением, но просыпаешься вдруг, не зная, сколько утекло времени от очередной твоей ночи, ты будишь тихо спящую жену, она, все понимая, тянется к тебе неслышно, неслышно, неслышно навстречу, и ты смелеешь от ровного дыхания детей, от мерзкого храпа Гинды Гершевны, кажущегося в этот миг удивительно благозвучным и необходимым, и впиваешься губами в губы жены, чтобы заглушить ее и свое дыхание, и какое-то подобие того, что должно быть на самом деле у двух любящих друг друга людей, происходит наконец жарко, обидно быстро, не наполняя до сладостного избытка тело и душу.

И так, Наум, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год ты приносишь свою плоть, свою любовь и радость в извращенную, уродливую жертву тому, что кто-то называет строительством коммунизма. Приносил не один ты, приносили несколько поколений людей, брошенных якобы простыми и скромными, как Ленин, чертями в плюгавую скверну коммунального ада. Сами черти с самого начала жили во дворцах, особняках, виллах и отдельных квартирах.

Хрен с ними. Вернемся к Розенцвейгу. Приходит он в палату из парка, где испортил половое веселье пожилым парочкам (он сам мне все это рассказал), проверяет, не спряталась ли какая-нибудь бабешка к мужику под одеяло, ложится в кровать, довольный проделанной общественной работой, заменявшей, как он теперь понял, естественные отношения с женщиной, и просыпается ночью оттого, что чья-то рука крепко-крепко сжимает все его хозяйство (член и яички) и чьи-то пышущие жаром губы закрывают его рот, готовый уже было к ужасному воплю. Почувствовав, вернее, поняв, что рядом женщина (это было полбеда), а не мужчина (такое случалось в домах отдыха), Розенцвейг попытался высвободить свое хозяйство, дергаясь и извиваясь, но почему-то не поднимая при этом шума. Однако он не высвободился, но начал испытывать впервые в жизни удивительное ощущение стука сердца в приласканном нежной рукой женщины, в невинном своем и немолодом уже члене.

— Пожалуйста, отпустите меня, гражданка. — попросил он настойчивым шепотом, и незнакомая женщина положила его дрожащую руку себе на грудь и сжала его пальцами сосок, страстно давая понять, как это следует обычно делать, а поскольку уж отпала надобность пленять хозяйство Розенцвейга, она крепко обеими руками обняла борца с дурными нравами, впилась ему в губы губами, втянула в себя его язык, долго надкусывала и облизывала, как леденец. Розенцвейг забылся и вслепую, неосуществимо для себя, потянулся свободной рукою к тому, что с готовностью и нетерпением отверзалось перед ним, и ему казалось, что, перестав дышать от перехватившего горло волнения, он тем не менее чудесным образом дышит, но не грудью, а всеми открывшимися порами тела, которое блаженно покалывали тысячи мурашек, тысячи лопающихся на коже пузырьков воздуха... Она шептала ему на ухо:

— Ты — мальчик... я знаю, что ты — мальчик, иди, не бойся... — И она помогла ему подняться над ней и встать на колени, и сделать все, что нужно, и теперь сам он судорожно целовал женщину, не ведая, что ждет его через мгновение, но стремясь к этому и опережая от неумения задержать их, минуты долгого, если не бесконечного наслаждения. Он так по-детски испугался, когда стал вдруг терять ощущение самого себя после первой волны содрогания, смывшей с него все мысли и образы мира, с грохотом прокатившейся от

мозжечка до кончиков пальцев на ногах и снова оглушившей шумом и тяжестью, что сопровождал первое в своей жизни извержение семени хриплым криком. Так он, по его словам, кричал во сне, когда его душил управляющий трестом горозеленения.

И — вот вам еврейское счастье Розенцвейга! Крик его разбудил всю палату. Женщина, он даже не сумел разглядеть ее лица, убежала полунагая, а мужики сказали: «Ага! Сволочь! Нам не велишь, а сам по ночам хорька под кожу загоняешь?» И Розенцвейга, еще не совладавшего с перепадом дыхания и сердцебиения на гребне последней волны, начали мстительно мудохать (бить). Его били и ногами, и руками, и перекрученными простынями, и мокрыми полотенцами. А Розенцвейг, все существо которого еще пронзало случившееся причастие к потрясающей тайне нашей жизни и смерти, не чувствовал боли, не слышал тяжкого дыхания мстителей, потому что все это казалось ему необходимым продолжением только что испытанного потрясения. К тому же он не сразу начал соображать. Когда наконец его, измудоханного и жалкого, отдыхающие бросили на кровать, он тихо плакал, но от радости воспоминания, а не от обиды и боли. Он был страшно рад, что умело прикрывал от ударов свое хозяйство, ибо странное происшествие вмиг избавило его от безразличия к судьбе собственного пола. Возможно, вы думаете, зачем я все это вам мелю, бросив разговор о

себе и своем несчастье в психушке. Отвечу так: я пишу о том, о чем мне хочется писать, а во-вторых, подобным образом вечно скачут мои мысли, и поэтому именно в такой, непонятной вам последовательности я сейчас сочиняю части своих очередных писем.

Назавтра Розенцвейга, избитого до неузнаваемости, допрашивала приехавшая милиция. Он никого не выдал. Сказал, что подрался с хулиганами из райцентра, но лиц ихних не запомнил, что все до свадьбы заживет и претензий к милиции, нашей партии и предстоящим выборам в Верховный Совет РСФСР он не имеет, в чем и расписался для благополучного закрытия дела. Однопалатники, пораженные благородством и мужеством такой сволочной зануды, как Розенцвейг, а также его склонностью к тайному пороку, устроили в палате мощную, запрещенную правилами режима в домах отдыха пьянку. Пьянку с бабешками, патефоном и всеми делами. Розенцвейг выпил слегка и затосковал по ночной незнакомке. Он ходил по палатам женского корпуса, по столовой, по игровым площадкам, по разным тенистым закуткам и требовательно вглядывался в лица и фигуры отдыхающих дам. Более того, все исключительно дамы не скрывали своего ехидного злорадства, глядя на распухшую от фингалов и без того непривлекательную физиономию Розенцвейга. Выбрав среди многих, по непонятным ему самому приметам, одну ба-

бенку в очках и с книжкой в руках, он подошел и спросил:

— Возможно... извините... это у меня произошло с вами?

— Что «это»? — удивилась бабешка.

— Ночная близость, — после мучительных поисков вежливого выражения сказал Розенцвейг и получил книжкой по башке. Но он продолжал рыскать по зоне отдыха, осатаневая от беспокойного и мощного желания. И наконец он увидел сидевшую на траве под березой и плетущую венки из ромашек и васильков пожилую и полную женщину в оранжевых трико и синем в белый горошек бюстгальтере. Розенцвейг подполз к ней на коленях, ибо он, по понятным вам, надеюсь, причинам, не мог передвигаться в выпрямленном виде, а может быть, и потому, что животная страсть возвращает нас к манерам давнишних времен, когда мы все бегали на четвереньках и не было в нас ничего, кроме аппетита и желания огулять на солнечной поляночке даму... Розенцвейг подполз к ней, долго смотрел в ее потонувшие в лиловых подушечках щек глазки, сглатывал слюнки и ничего не мог сказать. Бабенка, однако, не захипежила, глядя на безумно и прерывисто дышащего мужчину с покрытым ссадинами и фингалами лицом. Для нее, в ее возрасте и при более чем непривлекательной наружности, ухаживание даже такого рода было лестным и неожиданным. Она прикрыла варикозные вены на ногах сарафанчиком, что ужас-

но напугало Розенцвейга. И тогда он начал не с начала, а с конца. Он сказал:

— Я на вас потом буду жениться! Да, да, да! — Она молчала, а он продолжал: — Да... да... да... да, — потому что зуб не попадал на зуб, так дрожали челюсти у бедняги на пятьдесят четвертом году жизни от жуткой похоти.

— Вы смешной. Что значит «потом»? — закокетничала дама.

— Потом! — с тупым отчаянием воскликнул Розенцвейг и впился губами в самую близкую точку необъятного тела дамы — в пятку на левой ноге и заплакал при этом, как мальчик. Она погладила его по голове громадной рукою и, высвободив пятку, подтянула Розенцвейга повыше. Теперь он целовал тугие и крепкие, как футбольные мячи, колени и, явно поощренный мощным ответным желанием, не вставая с карачек, потянул ее в кусты. К счастью, дама безрассудно откликнулась на один из редчайших в ее жизни зовов судьбы и тоже на карачках последовала за Розенцвейгом. Правда, из чисто женского инстинкта подстраховки она по инерции жарко говорила:

— Все вы такие... все вы такие, — но в худосочных кустиках сама сдернула с себя оранжевые трико и предстала перед Розенцвейгом во всей своей красе. Не ожидавший никогда в жизни, что его будет трясти от одного только прикосновения к телу женщины, Розенцвейг залез на даму, но не успел продемонстрировать мужских достоинств. Он содрогнул-

ся, забывшись от счастья и восторга момента, в тот же миг лицо дамы и, разумеется, голый зад Розенцвейга, хотя он этого не видел, осветила яркая вспышка, щелкнул фотоаппарат и громыхнул хамский хохот. Однопалатники продолжали мстить своему бывшему преследователю. Хохот их был беззлобный, намерения — тоже. Розенцвейг, к своему удивлению, не без самодовольства попросил их отвернуться и дать даме одеться.

— Это будет моя жена, — пояснил он.

Мужики отнеслись к его заявлению без хамства. Наоборот, тут же решено было устроить вечером свадьбу в палате. Розенцвейг щедро выложил из заначки (сейф) сто рублей на водку и вино. Свадьба действительно была веселющей — с аккордеоном, песнями, топотом «цыганочки» и «яблочка», с частушками и бурной дракой из-за того, что двое мужиков не могли договориться, кто из них будет пить из банки для цветов, а кто из пепельницы. С посудой в доме отдыха было туго, ибо начальство по зову партии активно включалось в борьбу с алкоголизмом. И когда это начальство в лице затейника попыталось вмешаться в течение свадебного загула, его посадили на койку, вручили миску (оловянная тарелка) с портвейном и напоили до полной усрачки. Это слово я не могу перевести. Затем опять были песни, все орали «Горько!», и Розенцвейг быстро выучился делать неторопливые жениховские засосы (поцелуй). Затем пьяный массовик-затейник

вырубил во всем доме отдыха свет и заорал по радио:

— Объявляется вальс «На сопках Маньчжурии»! Дамы приглашают кавалеров в кровати. После вальса общий пистон (группенсекс). И-рраз-два-три! И-рраз-два-три...

Наши советские люди привыкли следовать призывам. В доме отдыха началось что-то ужасное. Начался повальный блуд под маркой свадьбы Розенцвейга, о чем и сообщила утром дирекции и главврачу группа мужчин и женщин, уклонившихся по различным уважительным причинам от беспардонного совокупления друг с другом.

Розенцвейг, продолжая демонстрировать благородство характера, взял всю вину за пьянку и блуд на себя и свою невесту. Их немедленно выписали досрочно из профсоюзного заведения, написали на работу гневное письмо и вломили счет за побитые пепельницы и разломанную стокилограммовыми телесами невесты кровать. Массовика-затейника уволили с работы. Но Розенцвейг был счастлив. Они тут же подали заявление в загс. Расписались. Муж взял фамилию жены — Иванов, для того лишь, чтобы не помнить своего уродливого прошлого, а не для ассимиляции, ибо даже под фамилиями Бубенчиков или Коровкин он не сумел бы замаскировать своего носа, отвислой губы и пугливых бараньих глаз. Самое интересное для меня лично в истории Розенцвейга-Иванова было то, что это не Кла-

ва, оказывается, лишила его на старости лет невинности, а какая-то другая безумная ночная шалунья, пожелавшая остаться неизвестной.

Да, дорогие, браки поистине совершаются на небесах, и внимание небес распространяется не только на танцплощадки, пляжи, главные улицы городов, купе поездов, музеи и очереди за американскими пластинками, но и на такие жалкие и бедные людские скопища, как советские дома отдыха трудящихся.

Хорошо. Звонит мне однажды Иванов и лепечет, что если я его не упакую и не помогу притырить кое-что из ценного, то он никогда не уедет...

Приходите, говорю. Приходит. И вот — последняя часть его истории, записанная на пленку. Как я жалею, если б вы знали, что не записал рассказа Иванова с самого начала. Как я об этом жалею и рву на себе волосы, что всю жизнь при несомненном внимании и интересе к судьбам людей и смыслу людских историй не заносил в блокнот хоть вкратце самые захватывающие моменты их жизней. Итак —

РАССКАЗ БЫВШЕГО РОЗЕНЦВЕЙГА, ТЕПЕРЬ ИВАНОВА

Честно говоря, товарищ Ланге, я — идиот, а моя Клавочка — Спиноза. Во всяком случае, она не менее умна, чем он. Вы в этом убедитесь сами. Никто так не умеет читать между строк «Правду», как Клавочка. Она раньше

всех понимает, когда следует ожидать улучшения или ухудшения наших отношений с Америкой. Если пишут «государственный секретарь США совершает тогда-то поездку по ряду стран Европы и Азии», то следует ожидать хорошую погоду. Но если же статья называется «Дальневосточный вояж С. Венса» — все плохо. Или там поймали наших шпионов, или кто-то убежал прямо из балета в политическое убежище, или нам больно наступили на хвост в какой-нибудь части света. Но я буду краток. Мы и так говорим уже четыре часа.

Три года тому назад меня вдруг просят срочно уйти на пенсию. Почему? Потому! Уходите, мы вас проводим. Из-за вас, Иванов, работой треста заинтересовались органы. Зеленый наряд города теперь будет подчинен им.

Так что же случилось? Слушайте, товарищ Ланге, и поражайтесь. К нам ожидался приезд Сулова. Приезда этого сталинца мы, правда, ждали уже три года. И каждый год месяца за полтора до этого волнующего события обком и горком начинали трясти нас за плечи, чтобы мы ни на минуту не забывали об этом, чтобы нас лихорадило дома, на службе и при перемещении между ними. За эти три года мы — граждане — своими силами, бесплатно разумеется, залатали проезжую часть многих улиц, покрасили столбы, развесили плакаты «Слава труду!», «Мы любим наше родное правительство», «Мы живем в первой фазе коммунистической формации! Л. Брежнев» и так далее.

Мы выловили и посадили при этом массу хулиганов из молодежи. Мы отремонтировали и покрасили дважды ряд учреждений на главной улице. Теперь это проспект Космонавтов. Сначала она была Большой Троцкистской. Затем — Педагогической, потому что на ней в гимназии учился то ли Бухарин, то ли Каменев. Вскоре ее переименовали в Красноармейскую, но в связи с расстрелом маршалов на всякий случай переделали в Первую колхозную. Этой улице не везло. Она носила имена Индустриализации, Энтузиастов, Лемешева, Козловского, Чайковского (это было при первом секретаре обкома — любителе музыки), она называлась улицей Победы, а во времена Никиты мы ее звали «Догоним-Перегоним», ибо на каждом доме жильцы, по приказу милиции, вывесили лозунг насчет обгона и перегона Америки по мясу и молоку. Когда Никиту сняли и в магазинах не стало даже хлеба и крупы, в город приехала космонавт Терешкова. Так улица стала проспектом Космонавтов. И вот опять слух: едет Суслов. Не приехал по причине операции в мозгу. Хорошо. На следующий год опять нервотрепка: едет! Но его нет. Якобы вырезали одно легкое. И снова он едет. И снова никого нет. Как будто бы Суслову пересадили сердце от попавшего под машину диссидента. Такой был у нас слух. Хорошо. Поправился Суслов. Портреты его в газетах были. Орден он получил. С Брежневым целовался, на этот раз вроде бы собрался к нам все-

ръем. Затрясло город. Три дня подряд выходили мы после работы на субботник. Все в центре вылизали, алкоголиков, подписантов, ряд студентов и активно верующих в Бога посадили на время в психушку и в КПЗ. Но самым главным делом было озеленение нашим трестом проспекта Космонавтов. Обком приказал вырыть тополя, которые как раз облетали в тот момент пухом, и пух мог вполне влететь случайно в глаз, в ноздрю или в легкое Сулова. Вместо тополей нас обязали в недельный срок посадить акации и розы. Я лично летал в Сухуми за деревьями и цветами, чтобы предупредить возможные денежные махинации при покупке зеленых насаждений. Как я понял, директор Дома творчества писателей — ужасный прохиндей и матерый ворюга — положил деньги за розы и акации в свой карман, хотя наш расчет был безналичным.

Хорошо. Везем автомашинами покупку. Мучаемся, поливаем корни растений водой, следим за каждой веточкой. Прибываем. Коммунисты вышли все как один на высадку во главе с первым секретарем. Посадили розы и акации. Три дня остается до приезда самого. Завезли в связи с этим кое-какие промтовары в город и продукты. Пошли очереди и драки. Ведь в нашем тресте основная рабсила — женщины, работают они на улицах и на бульвариках, при школах и детских садах и, конечно, первыми узнают, куда что завозят, где выбрасывают мясо, когда и по сколько будут да-

вать колбасы, соленой трески, масла, консервов «Сайра», детских колготок, синтетических кофт, зимних сапог, туалетной бумаги и так далее.

И вот эти сволочи бабы целых два дня, когда надо было поливать акации и розы, а стояла чудовищная к тому же жара, носились как угорелые по магазинам, отоваривались, чем могли, и напоследок устроили драку в главной аптеке из-за ваты. Ведь в городе месяца четыре нельзя было достать вату. Что она значит для женщин, особенно жарким летом, думаю, не нужно вам говорить. Директору аптеки — в прошлом главврачу тюремной больницы — одна из наших откусила половину уха. Женщины, обнаружив под прилавком триста пачек ваты для левых шахер-махеров, обезумели от гнева. Они закидали продавщиц и витрины лекарствами, еще больше разокрали, вынесли весь спирт, не заплатили за вату и бросились в очередной скандал в универмаг. Там было целое восстание из-за припрятанной продавщицами для дальнейшей спекуляции туалетной бумаги. Ведь нас приучили к ней, она сначала валялась в каждой лавке, никто ее не брал, а потом мы вошли, как говорится, во вкус. Она же — бумага — пропала. И вот к приезду члена политбюро ее забросили опять в наш город. В общем, вышла беда. Едет Суслов в открытой «Чайке» с аэродрома. Въезжает на проспект Космонавтов, слабо машет лапкой народу, а народ глядит во все зыркалы на большого

начальника, у которого легкого одного нет, сердце диссидента погибшего бьется пламенно во впалой груди, седой весь, губы тонкие поджаты, покашливает. А акации, между прочим, пожелтели и завяли от жары и чужой почвы за те дни, что бабы бегали как угорелые за мясом, ватой, туалетной бумагой и не поливали ни черта ни деревьев, ни роз. Более того, милиция задержала нашу бригадиршу Пырину на рынке при продаже срезанных с кустов роз.

Суслов и спросил у секретаря обкома, что это за деревья растут на улицах и странно при этом так выглядят. Ну, секретарь, не будь дубиной, сказал, что это желтые акации. Он и соврал и сказал чистую правду. Неполитые деревья за несколько дней совершенно пожелтели и пожухли. Суслов и подумал, что так и следует выглядеть желтым акациям в жару, а секретарь обкома после его отъезда завел на наш трест дело.

Как вы думаете, кто оказался главным виновником гибели деревьев и роз, не говоря уже об изведенных на дрова тополях? Я! Да! Я! Какой-то инструктор горкома доказал, что я морально разлагался и пьянствовал по дороге из Сухуми и не обеспечил растениям при перевозке условий для дальнейшего существования. Обо мне появился в горазете «Заря коммунизма» фельетон, где намекалось на то, что «наши липы и тополя, дубы и березки должны находиться в родных руках русского человека. Он их вспоит и вскормит, в отличие от

того, кто продолжает губить русский лес». Представляете? Я жил всю жизнь без женщины, с одной мечтой сделать город зеленым, и вот — на тебе! Я — вредитель! Я — сионист! Я — пьяница и развратник! Из-за того, что наши водители блудили по дороге с попутчицами.

Хорошо. К чертовой матери ухожу из треста. Чуть не умираю на общем собрании, где от меня требуют послать телеграмму Голде Меир с требованием прекратить вызывать евреев из СССР. Слава богу, что на собрание в умном предчувствии, чем это все для меня пахнет, пошла Клава. Она вдруг берет меня за руку, тащит к выходу и громко говорит инструктору горкома:

— Стидно унижать честного человека! Стидно сваливать с больной головы на здоровую! Стидно нагло врать!

Она тут же заставила меня позвонить в Иерусалим родному брату, с тем чтобы он прислал немедленно вызов всей нашей семье. Вызов пришел. И тут моя умная Клава говорит:

— Мы уедем, но не раньше, чем вылечим все наши болячки. За границей лечение стоит так дорого, что надо сэкономить. Раз они, сволочи, поступили с тобой по-хамски за все, что ты им честно наработал, мы тоже возьмем напоследок свое. Я им покажу! Они у меня попляшут! Если бы эти коммунисты брали пример с тебя и не были бы в жизни хапугами и циниками, то наша страна не докатилась бы

черт знает до чего и не обросла бы ложью с головы до ног!

И вот благодаря Клаве мы всей нашей семьей приступили к бесплатному медицинскому лечению. При этом мы взяли «Неделю», эту грязную по части обличения Запада газетенку, которой мы, к нашему несчастью, раньше доверяли. Там была таблица стоимости в Америке лечения различных болезней и операций, начиная с удаления угрей и кончая пришиванием оторванной в аварии левой ноги.

— Сначала, — сказала Клава, — надо взяться за болезни, которые в нас скрыты, но в любую минуту могут дать о себе знать.

— Хорошо, — сказал я, и она развила бешеную деятельность. Сначала она притворилась, что у нее приступ аппендицита. Ее увезли, и в больнице она настояла, чтобы ей вырезали аппендикс. Вырезали. Затем таким же макаром, хотя я этого не хотел, аппендикс вырезали и мне. Сделал я операцию только ради моей Клавы, которую люблю больше жизни. Дети же с радостью легли в больницу. Им было приятно не ходить в школу, получать от родителей сладости и избавиться от занятий по физкультуре. Хорошо. Сели мы с Клавой подсчитывать, сколько мы сэкономили на одних аппендицитах. Вышло что-то около четырех тысяч долларов на всю семью. Согласитесь, товарищ Ланге, это немалые в наше время деньги. В Америке четыре тысячи — автомобиль. Чудесно.

Затем Клава и я взялись за кожных врачей. Я лечил ноги от потливости, а Клава удалила с шей жировик. Мы сделали на всякий случай рентгенограммы всех частей тела, электрокардиограммы сердца и сосудов, всесторонний анализ крови, мочи и кала. Мы целый год ходили на физиотерапию и убедились, что в Америке нам не хватило бы никаких денег на оплату осмотров и процедур. Теперь-то я понимаю, что Клава моя из-за меня единственно и из-за сочувствия ко мне приняла решение уехать. Но сама она, как русская женщина, любящая язык, книги, песни и душу своей Родины, затосковала и делала все, чтобы откладывать и откладывать подачу документов в ОВИР. И она находила все новые и в себе, и во мне, и в детях болячки и хворобы. В горьздраве Клаву боялись как огня. Она писала в «Правду», что ее и нашу семью не хотят лечить из-за того, что я еврей, и придется сообщить об этом в ООН. После этого для нас были открыты двери поликлиник, диспансеров и больниц.

Прошел год. Пропал один вызов. Нам прислали второй. Меня в психдиспансере за это время отучили курить и грызть ногти. В Америке, сказала Клава, это нас разорило бы в доску. Кроме того, мы каждый день ходили в течение полугода на физиотерапию. Нас укрепляли током, ваннами, массажем, душем Шарко, физзарядкой и прочими делами. Клава сделала также операцию. Ей удалили участки

вспухших вен на ногах, и они превратились в огурчики. Наша любовь, не буду скрывать, с годами становится еще нежнее и горячее, что даже странно в таком возрасте.

Едем, говорю я Клаве, едем, хватит уже лечиться! Нет, отвечает она, не хватит. Не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И она взялась за мой геморрой. С ним вполне легко жилось. Врач сказал, что он еще не встречал людей с идеальной прямой кишкой и абсолютно беззаботным анусом, но Клава уговорила врача положить меня на стол. Вспоминать об ужасно тяжелой операции не стоит. Мне и сейчас легче стоять, чем сидеть.

Ну что еще, спрашиваю, резать будем, Клава? Гланды Валере, говорит, непременно удалим, а Милку подержим с полгода в корсете. У нее сутулая фигура. В Америке с такой осанкой нечего делать. Ты с ума сошла, говорю, ждать еще полгода! Мы на пенсии. У нас нет никаких сбережений. Мы все проели и истратили на передачи друг другу в больницах, Клава! Не беспокойся, отвечает она, у нас есть деньги и на жизнь, и на отъезд, если мы в конце концов уедем. Откуда? — говорю я. Это тайна, говорит Клава. Живи, лечи себя и ни о чем не беспокойся...

Хорошо. Так прошло два года. Милка носила корсет и похорошела, хотя страдала, что мальчишки дразнят ее жопой в арматуре. Валере же удалили гланды и вывели глистов, но так неудачно, что испортили флору кишечника. Он

похудел и перестал усваивать пищу. Затем стал поправляться и два месяца провел в кишечном санатории в Литве. Но вы знаете, чему он там научился, бездельник? Он стал онанировать! Да, с этим Валерой в наш дом вошла беда. Я его бил по рукам, я его умасливал, я ему рассказывал все, что с ним будет в зрелости и как у онанистов сохнут мозги, выпадают волосы, не держится моча, опухают ноги, пропадает память, появляется близорукость и атрофируются мужские силы до того, что взрослые люди не хотят жениться и начинают так себя ненавидеть, что ни о каком доставлении удовольствия самим себе уже не может быть и речи. Бесполезно. Увлекся парень, как некоторые дети увлекаются марками и моделями машинок. Беда. Клава говорит: подроцит, подроцит и перестанет. Но я не могу понять ее спокойствия. Меня в детстве учили и бабушка, и мама, и папа держать руки подальше от горячего, и вот вы видите — я еще вполне мужчиной в свои годы.

Едем, Клава, говорю я. Так нет. Мы не едем, а Валера ходит в психдиспансер лечить нервы от онанизма. Наконец он успокаивается, а Клава задумала обеспечить себя и меня очками, потому что прочитала в газете «Известия» про пенсионерку, бросившуюся с девяносто девятого этажа небоскреба из-за того, что у нее не было лишних ста долларов на очки минус три в хорошей оправе. Сделали мы себе очки. Мне две пары и Клаве две пары. Ну что

еще? — спрашиваю. Теперь мы возьмемся за зубы. Я прочитала в «За рубежом», что рабочего человека разоряют дантисты: на одну пломбу нужно работать пять дней. Ужас! Хорошо. Мы взялись за зубы. Поставили мосты где нужно, запломбировали кое-что, вроде бы все в порядке. Едем? Нет. Я ложусь, говорит Клава, на похудание в Москву. Пришла моя очередь, я ее два года ждала.

Остаюсь один с детьми и узнаю, почему успокоился Валера. Вызывает меня директор школы и говорит: у вашего сына триппер. Нам сообщили из вендиспансера. Он отказывается назвать имя женщины, с которой связался. Кто она, спрашиваю, Валера? Не знаю и не знаю. Она, говорит, затащила меня в кусты на пляже, дала стакан водки, и больше я ничего не помню. Клаве я не писал об этом в Москву на похудание, чтобы она опять полнеть не стала. Вылечили Валеру быстро, и я подумал: в конце концов, триппер такая болезнь, как я слышал, что лучше ею переболеть, как скарлатиной или корью, один раз и потом жить спокойно до конца своих дней. Все, как говорится, к лучшему.

Вам не надоело слушать? Хорошо. Клава худеет в Москве двадцать второй день. Мне это нравилось, потому что лежащим на похудании не надо носить передачу. Пока в нашем городе соберешь передачу, согнешься в ишачий, извините за выражение, член. На рынок, чтобы застать мясо, следует попасть в пять утра.

Если придешь в семь, то на том месте, где мясо лежало, уже полевыми цветами торгуют. Принесешь такой букетик Клавочке в больницу и пошлешь вместе с записочкой. А в записочке печально напишешь: «Милая Клава! Ты же знаешь, что я весь мир бросил бы к твоим ногам, но в гастрономе хоть шаром покати — нет продуктов. Поправляйся. Завтра я заведу будильник на четыре часа утра». А Клава отвечает: «Не волнуйся за меня. Лучше проверь, есть ли у тебя радикулит». Я пишу: «Клава! Как я его проверю?» Она отвечает: «Подними что-нибудь тяжелое и резко повернись на одном месте. После этого мы будем подавать. Целую».

Хорошо. Я обрадовался, что мы скоро пойдем в ОВИР, нагнулся дома, приподнял в обнимку кадку с огромным фикусом, в ней было не меньше трех пудов, резко, как советовала Клавочка, повернулся и упал от ужасной и страшной боли в пояснице. Не могу ни согнуться, ни разогнуться, не могу кашлянуть и сойти с места, и боли этой нельзя обрисовать словами. Нельзя. Только балет под музыку вальса «На сопках Маньчжурии» мог бы передать эту боль людям. Одновременно понимаю, что это удача, прямая удача. Представляете, что было бы, если бы меня прострелило в Израиле или в Америке. Тут же пришлось бы продавать спекулянтам матрешек, банку икры, водку, фотоаппарат, коралловые бусы, лупы, чернобурку и угроживать доллары на лечение.

Я хотел было пуститься вприсядку от такой удачи, но завыл от боли и упал на тахту. Диагноз: остеохондроз. Клава худеет уже сорок один день. Дети без присмотра. Я не могу подняться. Грею поясницу последней в доме гречневой крупой в мешочке. Осторожно шевелюсь. Валера кричит на меня, если я прошу его отнести в уборную судно или баночку. Между прочим, с фикусом ничего не случилось, когда кадка упала.

Наконец за неделю до выписки Клавы, она уже начала пить соки и есть овощные пюре, приходит заплаканная Милка. «Что такое, дочка?» Милка не отвечает. Рыдает на тахте, плечики трясутся, просто воет во весь голос. «Кто тебя обидел?» — «Никто... наоборот... папочка... он меня любит... когда я сняла корсет... он сказал... какая ты, оказывается, красоточка... мне это было приятно... у меня будет ребеночек...»

Боже! В моих глазах темнеет так, что я думаю, не ослеп ли я? Самое дорогое в Америке, так сказали недавно по телевизору, это восстановление зрения после нервной слепоты. Хорошо еще, что я ослеп в СССР. Но это была иллюзия. Я вновь прозрел, но не знаю, что делать с Милкой. Просто в голове не умещалось: соплячке пятнадцать лет, она еще палец сосет перед сном, плачет от страха, когда месячные приходят (я это слышал от Клавы), и вот — на тебе! Она уже хочет ребеночка! «Зачем на нашу голову мы одели твою проклятую спину,

твой злополучный скелет в корсет, зачем? — вскричал я. — Лучше бы ты была сутулой и впоследствии горбатой, но не испорченной девушкой. Боже! Куда смотрят учителя и поганый комсомол? Что мне теперь делать, если я не могу встать?..»

«Не надо вставать, папочка, не ругай меня. Мы полюбили друг друга навек, как Ромео и Джульетта...» — «Кто эти люди?» — снова вскричал я. «Стыдно, папочка, не знать... Мы любим друг друга, как вы с мамой... хотя Петя раньше бил меня и ненавидел... теперь все по-другому... но меня вырвало на алгебре и химии, не ругай...»

Вы верите, Давид, во мне душа перевернулась от переживания, и я спрашиваю: «Ты знаешь, чем я занимался в пятнадцать лет? Я таскал кирпичи и зарабатывал деньги. Когда это у вас началось, мерзавка?» — «Когда мама легла на похудание...» — «Ты знаешь, что теперь она так похудеет, что не встанет с койки?» — «Папочка-а-а-а! Я всех люблю, — орет эта дура, — и тебя, и Валеру, и маму, и Петю-ю!..»

Я собрал все свои силы, прямо как Николай Островский, встал, посмотрел на Милкин животик и грозно сказал: «Это будет твой первый и последний аборт, развратница! Пусть твой битлз не попадается мне на глаза! Я оторву ему женилку!..» — «Папа, мы женимся... иначе я повешусь!.. Вот увидишь, я повешусь!» — «Как ты женишься в пятнадцать лет? Ты понимаешь, что только одно мое сло-

во, один звонок в милицию, и он загремит за порчу малолетних? Скажи спасибо, что я не зверь и не люблю доносить на людей, но я сделаю, я сделаю все, чтобы он жил на свободе и харкал кровью...»

Кстати, боль у меня как рукой сняло. Но надо было что-то делать. Я звоню Клавиному родственнику — большому гинекологу, который видел кое-что пострашней. «Коля, выручай, по гроб жизни не забуду, нам же ехать надо, а в Америке только очень богатым людям под силу рожать и воспитывать детей, недаром бедные продают их миллионерам, я в “Огоньке” читал». — «Хороший ты, — отвечает Коля, — человек, Соломоша, но идиот ужасный, и поэтому я тебя выручу». — «Быстрей, — говорю, — Коля, пока Клавочка не вернулась!»

Ну, приходит Коля. Выпили мы, закусили. Он и говорит Милке: «Чтобы тебя не тошнило на уроках, пей вот эти таблетки и через два часа принимай горячие ванны, только очень горячие». Эти ванны были Милке как мертвому припарки. Она от них только хорошела и наливалась, мерзавка, румянцем. Таблетки тоже не помогли. Наоборот, Милку тошнить перестало. «Будем ковырять», — сказал мне Коля по телефону. Слава богу, дело до этого не дошло. Милку погнали в школе на кросс в честь начавшегося в Москве пленума партии. Она, чтобы не возбуждать подозрений, побежала, и на финише ей стало плохо. Кровотече-

ние. Она, к счастью, попала к Коле в больницу, и все было кончено. Так что к тому дню, когда Клава возвратилась с похудания, Милка уже очухалась, сказала мне спасибо и забыла про Петю. Она получила записку от лучшей подруги Вали о том, что та теперь начала жить с Петей и пьет противозачаточные, не как моя дура, таблетки.

Входит в дом Клава. Смотрит на Милку и все понимает с полувзгляда. А я смотрю на Клаву и ничего не понимаю. Передо мной какая-то молодая стройная дамочка, грудки, как у Нонны Мордюковой, бедро невозможно тугое, нет на бусах янтарных тройного подбора, щеки бледные, а не лиловые, глаза пошире стали, волосы как-то вспышнели и плечи постройнели.

«Боже мой, — говорю, — ты ли это, Клава? Ты красива, как жена Леонардо да Винчи — Мона Лиза!», — в те дни по телику как раз шел фильм про великого художника и рационализатора. На меня — ни капли внимания.

«Кто он?» — говорит Клава Милке. «Спортсмен Винчас из Вильнюса, — врет Милка. — Приезжал на первенство страны. Не бей меня, мамочка, мне плохо и обидно. Я больше не буду!..» — «Будешь, — говорит Клава, — но с умом или в замужестве. Тебе ясно?» — «Ясно, мамочка!..» И тут женщины долго рыдали и плакали, обнявшись друг с другом так, что я взревновал и стал ждать

ночи. Я и так не переставал любить Клаву, но от ее похудевшей на сорок кило внешности кровь моя неслыханно забурлила и зачесались десны, как у мальчика.

Тут мы хватились Валеры. Час ночи — нет Валеры. Два часа — его нет. Лежим с Клавой, и нам не до любви, хотя при закрытых глазах мне кажется, что рядом со мною не Клавочка, а какая-то другая незнакомая, но тем не менее родная и желанная дамочка, с которой я безобидно изменяю Клавочке в командировке. И вот наконец является эта скотина Валера — пьяный, как свинтус. Клава ни слова не сказала ему в упрек. Всунула свои два пальца ему в рот, его вырвало, она его вымыла в ванной, уложила спать, вернулась ко мне и говорит: «Он живет с женщиной. Надо ехать, Соломоша, иначе дети тут пропадут. Попала в них зараза времени». — «От времени, — вякаю, — никуда не денешься». — «Все решено, — говорит Клава, — едем, хуже, чем в этой помойной яме, где пьют с двенадцати лет и ебутся с грязными шлюхами, нигде не будет. Едем!..» — «Хорошо, — говорю, — но сначала иди сюда, Клава».

Боже мой! Мы были в ту ночь молодыми людьми — и я и Клава; она клялась мне, что никогда еще за все годы так меня не желала и не получала такого невероятного удовольствия и что все это от многодневного голода в клинике. Я таки просто выделял чудеса на видоизменившейся стройной и легкой женуш-

ке, пока не изогнулся неудачно в один из интересных моментов и меня не пригвоздила к постели радикулитная заунывная боль...

Утром Валера с похмелья не пошел в школу. Четырнадцать лет человеку, а он уже жлужает с жадностью огуречный рассол и стонет, пьянчуга, от головной боли. «Ничего, сыночек, — говорит Клава, — вот-вот я тебя вылечу. Подожди чуток, подожди, миленький. Я вас обоих сейчас на ноги поставлю». Звонит куда-то наша мать по телефону. Затем собирает белье чистое, полотенца, вызывает такси и говорит мне: «Вставай, в баню едем». С трудом посадили меня в такси. Приезжаем в баню. Заходим в отдельный номер. Только мы в нем трое, больше никого. Одно из многочисленных Клавиных знакомств. Нас Клава раздела догола в предбаннике, сама осталась в лифчике и ситцевой юбке. Залез я кое-как на полочку. Скорчило меня болью и перекособочило. «Ты, — говорю, — идиотка, Клава, жадность твоя вылечить авансом все болячки губит меня. Зачем я проверял этот проклятый радикулит?» Что делать? С одной стороны, нас мучают светлым будущим, с другой — будущими хворобами. «Ой, — говорю, — я отсюда уже не слезу, и мой сын — развратная пьяница, а дочь моя — бедная девочка с погибшей молодостью». Тут Клава, поддав с кваском, припечатала меня к полку своими ручищами, лежи, говорит, старая жопа, не вертуйся. И потек еврейский пот из моего тела от великой русской

бани. Я не был новичком в парной, но в этот раз Клава наподавала так, что обжигало ноздри, рот и припекало лысину. «Лежи, старый, лежи, в Израиле твоём и в Америке баньки такой не будет», — говорит Клава и овекает меня поначалу двумя веничками. И не вырваться из-под ее рук, не скатиться с полка от невозможного пекла. Погрелся я, потек как следует и спустился вниз отдышаться. В баньке голову в ледяную водицу окунул. Глотнул маленько.

Валера с мутными глазами, с распухшими губищами тоже прогрелся. Нам, надо сказать, полегчало. И тогда загнала нас Клава собственно париться. Первым улегся Валера. Я стоял в сторонке и не переставал удивляться на Клаву. Не первой, конечно, молодости женщина, но, похудев, помолодела невероятно. Просто не килограммы, а годы скинула. Но я был голый и рядом с Валерой. Поэтому я сказал своим нездоровым мыслям: гей авек, бесстыдство!..

«Я тебе покажу, как пьянствовать, скотина, в твои годы! И не скули, а то сейчас еще поддам. Ты у меня этот день на всю жизнь запомнишь! Что пил? — говорила Клава, разделявая нашего гуляку. — На чьи деньги пил?! Не врать! Ни на чьи?.. Самогону нагнали?.. Ну вот я из тебя выгоню его. Беги под холодный душ и поваляйся...»

И вот принялась Клава за меня. Не перечислить тут всего, что она творила с моим бед-

ным телом, а я, для того чтобы не помереть, запустил руку под Клавину юбку и гладил ее ноги и еще кое-что. Сначала Клава меня встряхивала и как бы перебирала косточку за косточкой, каждое ребрышко инспектировала, так что я весь похрустывал, разламываясь и ужасно беспокоясь за душу, обмиравшую под ложечкой. Казалось, покинет меня вот-вот душа от пекла и безжалостной костоломки... «Перевертайся!..» Я лег на живот, и Клава стала выщупывать сместившийся позвонок, черт бы его взял. Кажется, она к нему подобралась, приноровилась, и тут я на какое-то время после внезапного своего крика куда-то провалился от боли. Очухиваюсь. Клава обмывает меня прохладным веничком и говорит: «Болит?» — «Вроде бы нет». — «А тут?» — «Не чувую...» — «А здесь?..» — «Нет...» — «Тогда слезай с полка. Отдохни. Гони сюда балбеса. Он у меня на всю жизнь трезвым человеком из бани выйдет».

Попарила Клава еще раз Валеру. Потом достает из сумки четвертинку мутноватой жидкости, наливает стакан и говорит: «Пей, Валера, опохмеляйся, как положено. С мужем мне повезло. Не пьет он. Зато сын решил стать алкашом. Пей, не то шайкой по хребтине огрею». Да. Клава — она такая. Выпил Валера стакан и остаток от маленькой. Я смотрел и не вмешивался в это дело. Выпил он и закосел. Сметется, как идиотик, язык у него, словно у Брежнева, еле во рту ворочается, чушь несусветную

несет, про триппер свой матери проговорился, кто, хвастает, его не хватал, тот не чувак. Вдруг он схватился за живот, закатил глаза под потолок, зашатался, голова у него, очевидно, закружилась. «Так, так, — говорит Клава, — хорошо тебе, стервец?..» — «Ой, мамочка, плохо, ой, никогда больше не буду». И его стало буквально выворачивать. Уложили его прямо на кафель, и он блевал в судорогах в сливную ямку.

Потом Клава промыла ему желудок, на это страшно было смотреть, потом снова пропарила, окатила холодной водой и уложила в предбаннике под чистую простынку, чтобы он слегка проспался. Я забыл сказать, что я тогда забыл про боль. Как будто у меня вообще не возникало радикулита. Seriously. Мне хотелось в моем возрасте париться и париться. Я и парился. Вернее, мы с Клавой, когда наш алкоголик задрых, парились вместе. Уж я ее тоже побил березовым и дубовым. Хрустеть стала моя Клавочка, как спелый арбуз, и я вам скажу, Давид, что когда люди рады друг другу, когда они совместно счастливы, то им на годы наплевать, и они веселятся, как дети, даже если им не хочется заниматься половой жизнью. Каждому возрасту, я считаю, дано свое удовольствие. Но если, конечно, ты устроен так, что жена не перестает тебя будоражить, то и не стесняйся, разворачивайся вовсю. То, что было у нас в бане, поверьте, Константин Симонов не смог бы описать. Пока Клава голодала, я тоже поря-

дочно изголодался и как с цепи сорвался. Ох, как нам было хорошо! Дай бог, чтобы так хорошо было всем людям: и рабочим, и служащим, и банкирам, и маршалам, и Аркадию Райкину, и даже членам политбюро — черт с ними, пусть живут, раз они все-таки людьми родились, а политработниками их жизнь сделала, черт с ними. Правда, Давид?

— Не знаю, — отвечаю, — не знаю. Я тоже не злой человек, но ведь эти политруки и сами по-человечески не живут, и другим не дают, активно просто-таки мешают жить миллионам людей нормальной человеческой жизнью, не втянутой во всякие трудовые вахты, идеологическую борьбу и прочую объебаловку (демагогия).

Больше я Иванова на пленку не записывал, а рассказ его все же слегка отредактировал. Он немало чуши тогда напорол. Странная в нем, как и в его Клаве, была смесь ума и дурости. Упаковал я их. Притырил, как надо, Клавины цацки: два кольца, чудесный браслет и заколку с изумрудом — все, что от матери осталось. Только не думайте, что Иванов так быстро после той бани подал документы. Они тянули еще год, потому что Клава пошла по женским к гинекологу, и тот сказал, что у нее, очевидно, рак матки. Представляете? Этому вонючему специалисту по дамскому хозяйству в голову не могло прийти, что женщина забеременела на седьмом десятке. Клава тогда действительно попала. Недаром она скинула сорок кило-

грамм и разожгла и без того не утихавшую страсть супруга. Хорошо еще, она сама разобралась в своих делах и поняла, что у нее никакой не рак, а просто она попала. Клава немедленно написала письмо Брежневу. Его секретариат переправил письмо в Минздрав. Минздрав направил к Ивановым комиссию гинекологов и геронтологов. Врача, не сумевшего разобраться, когда Клава сидела на «вертолете» (гинекологическое кресло), пошарили из женской консультации на эпидемию гриппа. Ивановых же уговорили лечь в клинику для описания их мощных организмов.

За Милкой и Валерой ухаживала Клавина сестра. Ивановы же провалились в отдельной палате в обкомовской клинике, где их прямо разбирали по частям, замеряли, анализировали и так далее в попытках докопаться до секрета ихней немеркнущей с годами брачной любви. Это было смешно. Но подробности я расскажу при встрече. Напоследок Иванов написал небольшую статью для журнала «Советская геронтология». В ней он советовал всем простым людям доброй воли брать с него пример и начинать половую жизнь как можно позже, для того чтобы пользоваться мужской силой чуть ли не до гроба. Он доказывал, что в молодости и так преимуществ много и интересов: работа, спорт, БАМ, служба в армии, борьба с хулиганами и алкоголизмом, учеба, карабканье по служебной лестнице и так далее. Любовную же страсть, писал Иванов, теоретик херов,

следует оставить как чудесную игрушку для старости, и тогда старость покажется сплошной молодостью...

Но родить Клава не родила, хотя очень хотела. Был выкидыш. Они уже собирались нести документы в ОВИР, когда позвонил из Москвы двоюродный брат Иванова и сообщил, что в ближайшие месяцы ожидается ужасная пандемия гриппа-гонконг. Клава, конечно, обрадовалась и сказала: «Пандемию переждем здесь». А Иванов по-бухгалтерски быстро подсчитал, во сколько им четверым обойдется лечение гриппа и возможных осложнений за границей. Цифра вышла чудовищная. Три месяца эта семья сидела на чемоданах и прислушивалась к температуре, состоянию носоглоток и к прочим симптомам. За это время Клава успела сделать себе (за деньги) пластическую операцию. Ей подтянули морщины на лице и шее и сняли с пуза приличный шмоток жира.

Надо сказать, что Валера, как только видел водку или портвейн, выскакивал из-за стола: его тянуло рвать. А Милка забыла про любовь начисто, словно ее не лишили невинности. Она даже написала в школе сочинение на вольную тему «Все мужчины сволочи, которые любят сорвать цветочек». Ей поставили двойку и вызвали Клаву в школу. Дирекция сочла, что Милка развращает (как познавшая раньше всех половой порок) своих подруг и школьных мальчиков. Таким не место в школе и в инсти-

туте. Она получит волчий билет. Клава плюнула на стол директора школы и ушла.

Через три месяца после этого они получили разрешение. На следующий день Иванов позвонил мне с просьбой упаковать и отправить его семью, что я и сделал. Повез вещички в Брест на досмотр. Сунул там тыщонку кому надо, и запаровозили Ивановы благополучно в Вену. А багаж их поехал в Израиль. Клава молодец. Она увезла все до последнего гвоздика, даже почтовый ящик с замочком взяла. И денег на отъезд порядочно поднакопила. Вы спросите: откуда они у нее? Я вам отвечу: эта потрясающая женщина играла с государством в «Спортлото» и неизменно выигрывала. Непонятно, что за способность угадывать не менее трех цифр была у нее, непонятно. Но каждую неделю ей присылала сестра из Москвы не менее ста карточек, и Клава их заполняла. Дважды — хотите верьте, хотите нет — она угадывала по пять цифр. Это уже состояние. А по три и по четыре чуть не в каждом тираже. Мне бы ее фарт, а также и вам, дорогие.

Кстати, я от всей души уговаривал Иванова не ехать. Но он стоял на своем: я достаточно наунижался за свою жизнь, дети мои с согласия матери решили записаться в паспортах евреями, я не хочу с ними спорить, и я не хочу, чтобы они испытывали недоверие, разные слова, обиды и прочие антисемитские штучки. Я никогда не считал, будучи бухгалтером про-

стым, что меня непременно должны любить как еврея другие люди. Нет. И я всегда считал ниже своего достоинства выклянчивать эту любовь, как поступают некоторые. Я не нервничал, вроде них, хотя мне такая нервозность понятна, когда в ничего не значащем замечании или дурацкой реплике они ищут и именно поэтому находят антисемитский смысл. Я добродушно проглатывал подзьбку, поскольку сам ловил себя временами на том, что хохочу от армянских анекдотов, поддерживаю беседы о ненависти хохлов и поляков к русским или обсуждаю грузинское и азербайджанское засилье в торговле цветами, овощами и фруктами. Все мы, скажу я вам, хороши по части неуважительного отношения к другим нациям, все. Но однажды я прочитал в «Правде» волнующую статью в защиту права населения какого-то малюсенького тихоокеанского острова на самоопределение и независимость, где были слова: «руки прочь!», «народы мира встанут на защиту!», «нет таких сил...» и прочая белиберда. Рядом с этой статейкой была другая, непрозрачно намекавшая, что у еврейского народа нет никакого такого права на историческую родину, потому что якобы еврейского народа не существует вообще, а есть лишь евреи-труженики и евреи — владельцы мирового капитала. Стошнило меня от этой логики. Грязно я от нее отрыгнул и вспомнил всей своей шкурой, что я умело забывал все, что я уничтожил в своем уме еще до того, как оно прочно засело

в памяти и начало беречь душу, мешая с хорошим настроением относиться к людям и работе. А ведь до Клавы я жил исключительно жизнью других людей и бухгалтерской работой в тресте горозеленения. Короче говоря, я больше не желаю ни у кого одалживать пространство для жизни. Не знаю, как вы, а я расплатился с неплохими процентами для советской власти. Работа с юных лет, пятилетки, будь они прокляты, фронт, два ранения, и не в спину, заметьте, а в грудь, ничтожная зарплата и почти вся жизнь в коммуналке. Если бы не Клава, я после себя оставил бы четыре стены, брюки, пиджак и кое-что из посуды. Здесь прошла моя жизнь, здесь я встретил двух женщин, но отдать концы я хочу там, где никто меня не попрекнет, что я занял неизвестно на какой срок один квадратный метр могильной площади. И не желаю я больше выискивать, как мой двоюродный брат, в списках награжденных и всяких лауреатов еврейские фамилии. Не желаю перечислять по пальцам знаменитых евреев, не хочу с хрипотой в горле кричать, что это мы дали миру Карла Маркса. Думаю, что вообще насчет Карла Маркса нужно не кричать, а помалкивать. Кого он накормил? Меня или председателя горсовета, начавшего брать взятки за жилплощадь бриллиантами? Может быть, он Кубу накормил или китайцев? Мы с вами их кормили и кормим из своего кармана, поверьте мне как бухгалтеру. А зачем мы их кормим? Мы их кормим для рекламы нашему

бородатому вундеркинду. Хватит. Я не хочу гордиться Эйнштейном и Иосифом Кобзоном, которого я знаю лучше, чем физика, я буду думать до конца своих дней о тех, кто скитался по миру две тысячи лет и остался неизвестен. Плевать мне на национальную гордость и тщеславие. Пусть лучше память и сострадание живут в моей душе. Громче всех гордятся обычно те, которые не способны ни на что другое. А за свой единственный в жизни грех, за то, что я мешал в домах отдыха половым сношениям простых людей, я наказан: видите — ни одного зуба.

И если Бог послал мне Клавочку, значит, я имею право думать, что я не худший и не несчастнейший из людей. Я, кстати, взял Клави-ну фамилию не из-за того, что маскировался. Я хотел сделать ей приятное. Иванов — это молодая, многообещающая еврейская фамилия. Не правда ли?

Так напоследок сказал Иванов... И давайте, дорогие, покончим с моим знакомым.

Мы остановились, если вы не забыли, на том месте, где я врезал с железной правой в бородатую челюсть людоеда Михея. Врезал и искал глазами полотенце, чтобы удавить гада. Меня не трясло от ненависти, я не испытывал ее. Я чувствовал животную необходимость уничтожить злодея, но непреодолимая тошнотворно подступившая к горлу гадливость и какой-то ужас, охватывавший меня только в

детстве, в миг изведения паука, мокрицы или многоножки со свету, мешали мне превозмочь внезапную слабость в груди. И когда я сдернул со спинки Михеевой койки серое вафельное полотенце (свое, прекрасно помню, побрезговал) и шагнул к этой сволочи, ноги мои подкосились.

Очнулся я оттого, что задыхался. В первое мгновение мне показалось, что рот мой заткнут склизким горячим кляпом, и вы никогда не представите, что я испытал, когда сообразил, что никакой это не кляп, а Михей приник к моему рту людоедским, заросшим бородищей ртом, стараясь привести меня в чувство своим гнусным, но спасительным для моей жизни дыханием. Я не мог от слабости оттолкнуть его, а он не мог не почувствовать, что я оживаю, и смочил мои виски мокрым полотенцем, которым я собирался его удавить. Он молчал, но в глазах его и в низком лбу, прорезанном глубокой морщиной, по которой стекала капля пота, мрачно и упрямо сосредоточилось желание возвратить меня к жизни. Я отвернулся от его рта, и тихое, теплое жизненное блаженство постепенно наполняло все мое тело, так что я теперь склонен полагать, что душа в человеке, обреченном было помереть, но спасенном, слава богу, оживает гораздо раньше тела или (что в конце концов одно и то же) она, по моему глубочайшему убеждению, намного переживает окончательно охладевшее к жизни тело, держась в нем, как бы в доме, готовом к

вечному опустению, и прощаясь с ним, наподобие хозяина, не рассчитывающего обратно сюда возвратиться, но и не убивающего, однако, в себе слабейшей тени надежды на возвращение из неведомых пределов в срок, известный лишь Богу и ангелам Его. И спорить, дорогие, с вами на эту тему я не намерен, ибо не нуждаюсь в согласии с моей, но принадлежащей не совсем мне истиной.

— Слабак, Давид, ты слабак, — проговорил Михей, когда я, шатаясь и держась за спинку кровати, перебрался на свое место и лег. — Что же ты меня не угробил? Я бы тебе спасибо, возможно, сказал на том свете. Как думаешь, имеется он в нашем распоряжении?

Я молчал, закрыв глаза. Меня нисколько не занимали слова Михея.

— Молчи, хрен с тобой. Но добром за добро ты отплатить обязан. Я тебя откачал, ты уж было холодеть начал, а ты меня все же пореши. Оклемайся и пореши. За меня такого никто тебя не осудит. Я же тебе не все рассказал и прояснил. Ты еще кое-что услышишь. Не поверишь, но все оно так и было. Про каждого убиенного тебе расскажу. Расскажу, как чуяли они, бывало, что час ихний близок, но не могли понять подсказки свыше и маялись ужасно от смертной тоски, самогонищем-обормотом заливали ее. Мне же и бабе моей большой интерес был от такого подгляда. Нам-то как-никак все ясно, а им муторно в неизвестности и последней маете. Во как! Мне и про себя сейчас

вот все ясно. Только ждать неохота, когда подожду. Тошно ждать...

Нет, думал я, раз удержала меня судьба от самосуда, то второй раз я уж на тебя руки не подниму. Я сейчас следователя вызову и все, что ты говорил мне, повторю слово в слово, все факты передам, обстоятельства и фамилии. Вот только смогу встать — и вызову.

— Очень тошно ждать, — повторил Михай.

— Удавись, — искренне посоветовал я.

— Ну уж — хуюшки! Не дождешься!

Из каждого людоедского слова перла такая ненависть, такое зло ко всему белому свету, что я представил, в каком прижизненном аду живут Михай и его душа, если таковая имела, и испытал мстительное злорадство.

— Не можешь удавиться — расколись следствию, — сказал я.

— А вот этого вы тоже не дождетесь! Не бывать! Нету у людей права судить меня! Сами такие и еще хуже. Да! Хуже! Немало мной продумано про это. Но мне плевать на вашенские грехи! Не легче от них, провалитесь вы все пропадом!

И тут, слава богу, я почувствовал, что нечего его мне судить. Он уже судим, и сжирает его изнутри долгой предсмертной тоскою и могильным холодом казнь. И ничего я никому не скажу, чтобы не приблизить тебе, сволота, суда людей возможного расстрела и избавления от минуток жизни, которые тягостно тянутся для

тебя с утра до вечера и не дают покоя, уверен я, даже во сне, потому что ты воешь и стонешь от каких-то ночных ужасных видений.

Но когда Михей начал на следующий день, понимая, как это меня изводит, вспоминать то, чего я вам не могу больше пересказывать, с такими сводящими с ума подробностями и наблюдениями, я забарабанил в дверь и заорал:

— Сестра!.. Сестра!.. Сестра!

На крик мой в палату быстро явилась зав-отделением — блондинистая крыса, которая мною раньше вообще не интересовалась.

— В чем дело, больной Ланге?

— Уберите меня отсюда! — нервно за-тараторил я. — Если не уберете... не знаю, что будет... вены себе перережу... вы меня лечите или с ума сводите?

— Судя по вашей реакции на соседа, лечение продвигается медленно. Больным не предоставлено право выбирать себе больничные условия. Вы не в санатории. Сейчас вам дадут успокаивающее!

— Позвоните вашему «профессору» Карпову и скажите, что у него будут со мной осложнения, — закричал я. — Вы все сволочи и садисты! Садисты и преступники!.. Фашисты! — орал я, чувствуя, как мне легче от крика.

Крыса, не вступив со мной в спор, ушла. Вместо нее прибежала с таблетками коротко остриженная сестра с желтым лицом.

— Выпейте, Давид Александрович, —

сказала она, и я, решив, что действительно не мешает успокоиться, выпил таблетку, запив ее теплой водой, и сказал, поскольку мне показалось, что в глазах сестры промелькнуло на миг человеческое сочувствие:

— Садизм — держать нормального человека рядом с этой мразью.

Михей, между прочим, валялся в одной позе: тупо глядя в потолок. Симулировал, сволочь, отключку и изредка гундосил:

— Парашютики... гы-ы... папамасеньки люкаем... сиказвондия парашютиков...

— Что он вас съест, что ли? — пошутила сестра.

— Я его съем!.. Понятно?.. Я-я! — завопил я, не сумев удержать себя.

— Успокойтесь, прошу вас, — сказала сестра. — Лучше вам не буйнить, ясно?

— Я и так в «бублике»! Мне терять нечего, — сказал я. Но внезапно успокоился. Наверно, пробрала таблетка. И тогда я подумал, что мне нужно выдержать единоборство с людоединой, а если он снова попытается изводить меня своими чудовищными байками, я ему сделаю так больно, что и подохнуть он не подохнет, и существование ежедневное проклянет. Не дам я себя изводить, не дам!

Я, почувствовав возвращение сил после обморока, подошел к Михею, применил, ни слова не говоря, один старый прием, как в разведке при взятии языка, пока Михей лежал с побагровевшим лбом, с высунутым языком и

глазами, вылезшими из орбит не столько от боли, сколько от ужаса, и твердо предупредил:

— Если ты еще раз откроешь свою пасть, паскуда, получишь то же самое. Я не шучу. Довести меня до того, что я тебя прикончу, — не доведешь. Не пожалею я тебя и греха на душу не возьму. За то, что привел в сознание, спасибо. Дошло?

Михей с готовностью задержал, закивал своей башкой, одолевая удушье. Отдышался. Уткнулся лицом в подушку и тихо завыл: он плакал. Плакал, зверь, а в сердце моем начало шевелиться чувство, опередившее ехидное, мстительное злобство, — безрассудная жалость, и жить в эти минуты от наличия его в сердце и от сознания, что обращено оно к твари, не имевшей, на мой взгляд, права на сострадание, было невероятно горестно, тяжело и непонятно.

— Сплю я, — говорю, — чутко. Не пытайся свести ночью счеты со мной. Жизнь тебе покажется непереносимой пыткой. Все. На воды, выпей и гундось себе про папамусеньки и парашютики.

Больше Михея не было слышно. К вечеру за мной пришли санитары: бывший участковый, расстрелявший семью, и туповатый верзила. Взгляд у него был неподвижный и мутный.

— Вставай. Пошли, — сказал он.

— На расстрел, — весело добавил участковый. На эту его обычную шутку никто в психушке уже не обращал внимания.

И вот — новое свидание с Карповым. Глаза у него были воспалены то ли от бессонницы, то ли от пьяни, смотрел он не на меня, а куда-то в сторону, и мне ужасно захотелось сказать: «Ну что? Хероватенькие (плохие) у тебя дела, жандармская скотина?» Однако я промолчал, без приглашения сел на стул и с беззаботным видом стал глазеть по сторонам. На этот раз меня привели в партком психушки, завешанный, как и все парткомы, лозунгами, фотографиями членов политбюро, диаграммами насчет развития промышленности и сельского хозяйства области и заставленный гипсовыми бюстами спасителей человечества — Маркса, Энгельса, Ленина и почему-то писателя Шолохова. При этом я проникался уверенностью, что все-таки тиснул он, а не сам сочинил «Тихий Дон». Наверняка тиснул. Невозможно для всамделишного писателя, повидавшего столько, сколько повидал автор «Тихого Дона», и так замечательно описавшего все это, наблюдать, как Шолохов, с позорным и бездарным равнодушием за кровавой историей своей Родины и ее народов. Наблюдать, жрать, пить, ловить стерлядку, стричь купоны, получать премии, фиглярствовать всю жизнь, как площадная дешевка (блядь), с трибун собраний и съездов и помалкивать. Быть может, думал я, пока Карпов барабанил по столу пальцами «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...», Шолохов, подобно многим самиздатчикам, сочиняет нечто грандиозное типа

«Архипелага», но только о жизни советских людей на так называемой воле, и держит до поры до времени в ящике стола трепетные, правдивые, написанные кровью листки? Возможно, в какой-то миг он прекратит многолетнюю маскировку и покажет миру собственное лицо, приведя этим самым в содрогание и ужас своих всемогущих покровителей из ЦК и карательных органов, и даст людям, изголодавшимся по описанию реальной житухи, жестокое, но помогающее осмысленно существовать слово? Кто знает, думал я, может, в этот самый момент принимает Шолохов в своем богатом имении на берегу многострадальной реки какого-нибудь замечательного западного деятеля типа архиепископа Кентерберийского либо Анджелы Дэвис, за освобождение которой из проклятой вашей, дорогие, тюрьмы я пять раз голосовал на заводских митингах. Принимает их он, поит водочкой, подкармливает стерлядкой, давно занесенной в Красную книгу, маскируется, как всегда, диссидентов и нашего брата жида обвиняет во всех неудачах строительства мировой коммуны, а потом говорит Анджеле Дэвис: «Иди-ка сюда, Анджела». Заводит ее Шолохов для пущей маскировки от магнитофонов и членов семьи в сортир, не бойся, говорит, товарищ Дэвис, у меня давно от переживаний и опасной работы не действует женилка, закрывает дверь на ржавый крюк, достает из-за пазухи здоровеннейшую рукопись многолетнего своего труда под назва-

нием «Война и мир, или Зачем они сражались за социализм, партию и справедливость?» и поясняет шепотом: «Увези ты это дело в Америку, Анджела, на животе, чтоб труд всей жизни не пропал для меня и людей. Отдай его там у себя в печать, а все гонорары направь сюда, в наши тюрьмы закрытые, в лагеря трудовые и в психушки для помощи политзаключенным борцам за права человека, для писателей посаженных, поэтов, художников и прочих Иванов Денисовичей невинных. Если же обшмонают тебя сволочи на таможне, беги в аэропортовский сортир и быстро спущай роман о десяти пятилетках в унитаз. Можешь съесть его частично, чтобы он не достался живым кагэбэшникам, следящим за каждым моим шагом и отравляющим мою пищу спецтаблетками, убивающими в больших писателях талант и совесть, но не убивших их до конца. Так и передай всем простым людям доброй воли и, главное, заблуждающимся насчет смысла российской истории некоторым либеральным интеллектуалам. Отечественная словесность, дорогуша ты моя, тебя не забудет. Ступай позови сюда епископа облапошенного. Я ему свой последний донской рассказ притырю под рясу». Не без интереса я доверился тогда игре фантазии.

— О чем сейчас вот вы думаете, Ланге? — спросил меня Карпов. — Хотелось бы услышать правду.

— Думаю, — говорю, — как Шолохов передает свой антисоветский роман-эпопею на

Запад и что надоело ему маскироваться, — сказал я.

— Хорошо. Отложим шутки в сторону. У меня к вам серьезный разговор. Если поведете себя разумно, вас освободят и разрешат уехать вместе с сыном. С нами лучше по-хорошему. Мы не будем вас преследовать ни за хранение антисоветских материалов, ни за организацию провокационных поездок рабочих и служащих в московские магазины за продовольствием. Договорились? Вы должны как советский человек с безупречной репутацией рабочего и фронтовика понять, что органы, прочитав чудовищную антисоветчину в амбарной книге, не могли не заинтересоваться ее автором. Ясно, что это не вы, что это высказывания или одного или нескольких человек. Мы догадываемся, кто один из них.

— Кто же это? — спросил я.

— Ну зачем финтить, Ланге? Ну что, вы враг самому себе и вашему сыну?

— Мой сын ни при чем.

— Я не имел в виду его авторства.

— А кого же вы имели в виду?

— Пескарева. Старого антисоветчика и вашего близкого друга.

— Дальше что?

— Хотите прочитать его показания? Он же сознался.

— Только не надо, — говорю, — Карпов, чесать у меня за ушами и кормить помоями. Я не боровок. Когда ты в школе стучал на

друзжков и учителей, я на хорошем немецком языке допрашивал собственноручно взятых в плен вояк. Не надо чесать у меня за ушами. Да и на следствии меня научили, как надо себя вести.

— Кто же?

— Мало ли народа отсидело, взять хоть наш цех, — сказал я. — Не морочьте зря голову себе и мне. Моя голова уже пробита вашими рыцарями революции. Лучше зовите Пескарева на очную ставку.

— Хорошо. Забудем на время о Пескареве. Мне нужно знать, кому принадлежит антисоветский стишок, посвященный замечательному прошлому поэту Тютчеву: «Пора, мой друг, ебена мать, умом Россию понимать!» Кто его вам декламировал? Слишком заинтересовалась Москва. Советую не артачиться.

— Пишите, — говорю, сдерживая смех, — всю правду скажу. Когда меня освободят?

— Не освободят, а выпишут. Освобождения вам бы долго пришлось ждать.

— Записывайте. Шолохов этот стишок сочинил.

Карпов быстро стал заполнять протокол допроса, не обратив в первый момент внимания на фамилию Шолохов. Примерно так же всем людям при упоминании фамилии нашего директора завода Пушкин не приходит в голову образ Пушкина — великого русского поэта. Просто не приходит, непонятно почему, в голову — и все.

— Имя, отчество, адрес.

— Михаил Александрович, — говорю, —
станция Вешенская.

— Область?

— Ростовская.

— Дом?

— Восемь. Квартиры нет.

— При каких обстоятельствах познакомились?

— В доме отдыха, — говорю, — в палате разговор был. Выпили мы с мужиками. Один и говорит, он недавно помер, что же это, братцы, за штука? Шестьдесят лет морочат нам голову сказками о светлом будущем, все теперь есть у нашей страны — колонии, вроде как у Англии они были, бомбы есть водородные, ракеты, корабли, подлодки атомные — все, одним словом, имеется для уничтожения империализма и самих себя, друзей к тому же полным-полно у нашей страны на шее и за пазухой, а жрать нечего. Вид же в газетах делается такой, что одна лишь у нас нерешенная проблема: борьба с сытостью мещанской, с газами в пузе и с обжорской отрыжкой изо рта. Как все это, братцы, рассматривать? В каком историческом разрезе периода времени? С чем же заявимся мы, если, конечно, заявимся, в то самое светлое будущее? Народ-то, оставшийся после всех войн, побоищ и тюрем, запаршивел морально, изолгался, изворовался, спился, за редкими исключениями, освоился с многолетней безответственностью к собственности, к при-

роде, к здоровью, к детям и внукам, к вере, надежде и любви, а главное, боится народ вывод сделать пристрастный из всех своих дум и сомнений, не к покорности даже привык народ, а к скотскому равнодушию. Каким же примером, дорогие мои однопалатники по дому отдыха, служим мы своим детям? Вы только гляньте на них! Мы хоть самоотверженно старались не смотреть десятки лет правде в глаза, зажмуримшись, мы жили и ждали, что вот раскроем однажды глаза и варежки (рты) — и ослепительно ударит в них солнце и воздух новой жизни. Не мне вам говорить, сколько чего и кого проморгали мы за это время и как, пока мы брели вслепую по столбовой дороге человечества, постукивая клюками по булыжнику пролетариата, гуляли всякие на обочинах, пользовавшиеся нашей временной, добровольно взятой на себя зачастую слепотой, всякие гуляли бессовестные жулики, кровопийцы и придурки. Но детишки-то наши зрячими были! Зрячими! Стыдно, гнусно и больно до невозможности делается, когда глянешь теперь на самих себя со стороны как бы ихними глазами. Тошнит детишек от нас. Поэтому они борются с подобной тошнотой танцами-шманцами, пьянью, совокупительством с ранних лет и глубокой паразитической аполитичностью. Да! Я лично на собраниях просидел и на митингах простоял некоторую значительную часть своей жизни, а у них пятки горят от одной информации в цеху о строительстве социализма в Эфи-

опии. И вот чую я с каждым днем все ясней, что скоро мне придется с трудовой вахты у доменной своей печи кандехать не своим ходом к другой печи — в крематории которая. Ну хорошо. Сгорю я там, пропылав и потрещав с минуточку, и останется от меня кучка пепла. Ну и что? Что я понял, прожив шестьдесят три года на этом белом свете? Ничего я не понял, хотя натужно пытался. Ни-че-го. Мне вдалбливали в голову каждый божий день, что имеется у меня, как и у вас, цель и что маршируем мы к ней семимильными шагами, не ожидая милости от природы и отбрасывая в сторону разную нечисть и хлам старого мира. Я раньше думал так... Залезу, бывало, под одеяло, прижмусь к своей бабе и думаю: все хорошо, Юра, несмотря на то, что все — плохо. Не уразуметь тебе слабым умишком, что все это плохое тоже работает на преодоление преград, отделяющих твой завод и прочий мир от совсем другой жизни. Если бы ты это понимал, если бы ты это поддерживал всем своим сердцем, а не только рабочим пердячим (энергия) паром, то и не бухтел бы ты мысленно под одеялом, подвергая сомнениям генеральную линию партии. Вот. А раз ты бухтишь и недовольство проявляешь, раз ты не можешь бесполезных, отрицательных явлений переварить в мозгу так, чтобы они стали положительными и полезными, как это случается с говном на твоём личном захудалом огородишке, значит, слепая ты тварь близорукая, значит, не видать тебе цели,

как свинье после смерти своей собственной ветчины. И примиришься ты лучше с тем, что тобою удобряют землю истории для лучших всходов и великих урожайных времен, примиришься, Юра, не сомневайся. Не ты ведь один живешь в эти труднейшие годы. Миллионы вас — первопроходцев. И всем до чертиков по тем или иным причинам хре-но-ва-то. Хреновато, Юра! Ты же не можешь, как человек совестливый и незлобный, взять и вытащить за шкуру из глубины времен какого-нибудь заспанного и затруханного, вроде тебя, Кузьму Авдеича, пересадить его, словно клубничный ус, на свое место, чтобы самому вместо него с купчихами чай распивать на грядке Кузьмичевой жизни и запрелый зад почесывать? Не можешь, и смиришься, Юра, и не проклинай за личную свою участь общую милую цель. Вот как, ребята. А я жмусь к бабе покрепче и яростно сомневаюсь под одеялом, муха меня ядовитая куснула в мозг и в душу. Я сомневаюсь под одеялом, ибо мне кажется, что громогласно на весь мир звучат мои внутренние слова и эхо от них раздается, как в Колонном зале. Приглушенно я сомневаюсь. Во-первых, не все живут хреново, что несправедливо, раз у нас общая цель, раз решено вроде бы в революцию строить это будущее дело, мать его разъети, всем миром и всенародной артелью. И потом, если отвлечься от подобной вздорной несправедливости, то с чем же я прихожу в итоге не к общей цели, до нее мне уже не добраться, а с чем

я подхожу к своей личной единственной смерти? С каким, ответьте мне, смыслом? Не с вещественным к тому же, а с более, так сказать, высоким смыслом, который ты с собою унесешь неведомо куда и неведомо зачем, в отличие от телевизора прилипчивого, гнусно жужжащей стиральной машины и одеяла вот этого верблюжьего, обшитого веселенькими, пропади они пропадом, лоскутками? Кто мне докажет, что с душою, с умом, с совестью и пользой прожил я свою трудовую жизнь? Ведь причастен я был своим согласием с ложью словесной и с молчаливым пособничеством творившемуся на глазах у меня многолетнему кровавому и лукавому злу, причастен был, но отмахивался от предостерегавшего оханья сердца. Я прислушивался не к нему, ясновидящему, но слабому, а к темным слепым умам, которые нашептывали мне сказки о вынужденности жертв и использования того оружия, которым отлично без зазрения совести владели наши беспощадные якобы враги, — оружия лжи, предательства, бесчестья, забвения семейной родственности и человеческого братства, оружия грязного попиранья вековых святынь и гнусных плевков в живую воду преданий. Я прислушивался, дурак безмозглый, к темным слепым умам, соблазнившим людей сказками о близости новой жизни, и люди с холостой целеустремленностью тратили все свои рабочие и душевные силы на поддержание и развитие в себе заразы ложной веры, тратили

порой безрассудно, порой корыстно, порой по-детски доверчиво и растратились вроде меня до того, что проморгали обиженно пронесшую мимо единственную жизнь, жизнь истинную, какой бы тяжелой и неожиданной ни была она в своих случайных выкрутасах. И все больше обдает наши бедные обманутые души по мере ее неостановимого удаления от нас ужасным холодом бессмысленного одиночества и бесконечной покинутости. Что же может быть страшней и заслуженнее такого, братцы вы мои, испытания? Я вам отвечу, но вы налейте мне еще полстакана. Еще страшнее — предсмертное прозрение, пришедшее весьма, казалось бы, просто в лице обыденного вопросика: а что, Юра, если цели-то никакой и нету? Что тогда? Я даже закричал, помню, под одеялом: это-о ка-ак не-е-ту? Баба моя, надо сказать, понимала с полуслова. Зевнула она, почесала себе ляжку и говорит: а вот так — нету, и все. Нету, Юра. Залазь-ка ты лучше на меня, пока хоть я еще есть у тебя. И действительно, сам того как бы не сознавая, залезаешь в такие страшные минуты сомнения и испытания на бабу, забываешься на какой-то срок, с жадностью цепляясь за какую-никакую, но все ж таки жизнь, а не за пропаганду, вспыхиваешь, горишь, родименький, чудесно и незнакомо, словно в первый раз сгораешь, солнышко ты мое ясное, какая еще к черту цель мне мерещилась, пропади она пропадом, спать давай, чтобы не грызли душу сомнения,

мать ее ети, вашу цель. Покидаю бабу. Хочу уснуть и не могу. Трясет меня. Страшно мне. Не укладывается никак в башке такое нелепое и чудовищное положение, когда оказывается, что цели-то впереди нет! И возможно, это самое отвратительное во всей истории! Цели-то вовсе никогда и не было, то есть вообще не существовала она, как, например, Америка для Колумба поначалу или обратная сторона Луны, где наш космический корабль фотографию Ленина бросил. В ужас, в последний, в крайний ужас, иных слов для обозначения своего состояния не подберу, привело меня такое бесподобное положение. И выворачивало оно мне наизнанку душу, как понятое и прочувствованное в детстве далёком другое бесподобное положение, которое неумолимо гласило и ясно убеждало: смерть — есть. Есть! И вот теперь лечу я в бездонную пропасть обиды, унижения и оскорбления под своим верблюжьим жарким одеялом, пот с меня льет, лечу, а следом бьют меня по голове, по сердцу, по хребтине жестокие, склизкие и острые вожжи слов: цели нет, Юра... нету, Юра, цели... Юра... нету... цели... Цели... Юра... нет... нет... нет цели... Взвуть бы во весь, как сказал поэт, голос, но соседи, сволочи, только и ждут, когда слышны станут наши внутренние терзания и сомнения... Взвуть бы и выть, выть, выть, завидуя тому, что имеется у Луны обратная сторона и что Колумб за весь свой страх и риск и за чудесное неведение поимел Америку! Боже мой... Боже

мой! Вы налейте мне, братцы, еще полстакана. И представьте, какую обиду чувствует всей своей душою человек, обманутый даже на каком-либо чужом незначительном и дутом предприятии. Большую обиду.

Но что должны чувствовать, скажите мне, миллионы людей, нехотя наконец признавшихся самим себе в наличии унижительного для их судеб обмана и со скрежетом зубовным, как поется в стихах Библии, с безмерной обидой во взгляде провожающих в пустоту позади себя последние частицы, последние крошки необратимого, тяжкого от постылой напраслины единственного своего времени? Что они, и мы в том числе, должны чувствовать? Сегодняшнюю пустоту души, отвечу я вам, увеличивающуюся по мере заполнения ее обидой, ибо обиды, как мне теперь кажется, это и есть страстные мысли о провалах в пустоту на путях наших жизней. В пустоту. Поэтому-то я и сужаю свою личную жизнь до того, что смело могу ее сформулировать как заполнение собою пространства, ограниченного верблюжьим одеялом, но поделенного с бабой. Выть надо, братцы, от того, от чего волки и собаки воют. Выть! А воют они не на луну, как полагают доверчивые ученые, мать ихнюю ети, нет! Они справедливо интересуются с помощью воя, есть ли у луны обратная сторона. Да — есть! Но вы возьмите тощего голодного зеленоглазого серого волка, возьмите его нежно за драные чужими клыками уши и докажите нытику ноч-

ному вразумительно наше человеческое положение насчет Луны. Он, волк, не поверит, конечно, ни одному вашему слову, на то он, собственно, и волк, но вы можете посадить его, заткнув временно глотку, чтобы выл потише, в занебесный экипаж, облететь с ним вокруг Луны, показать с некоторой язвительностью ейную изнанку, врезать можете в сердцах волку по шее и сказать: ну что ты воешь? Что ты воешь, дурак, и спать не даешь по ночам людям? Вот она гляди, дубина, и уйми свой приводящий нас в уныние вой. Цыц, одним словом! Ну и что, как вы полагаете, вам ответит волк? Он, смею вас заверить, завоюет еще содержательней и безумней, поскольку ни черта не поймет. Он не поймет ни вашей логики, ни вашего метода убеждения иного существа человеческим опытом, ни совершенной техники, ни тем более умопомрачительной механики отвлечения от Земли и облета ночного светила. Единственное из всего, что достоверно поймет волк, — это то, что по мере приближения к Луне он теряет, к своему ужасу, ее последнюю сторону, ибо она становится похожей на бездыханную Землю, с которой за время вразумительного, с нашей точки зрения, полета сгинули вдруг снега, блестящие в туманах лунной ночи, сгинули неприступные, полные восхитительных жизней зимние овчарни, сгинул шум родимого леса и пьяный запах лошади случайной — все сгинуло, нету ни речки замерзшей, ни деревянных мостков, ни деревеньки, храня-

щей в заснеженных утробах избушек проклятие людской ненависти, хитрости, огня и грома. Все сгнуло. Только бездыханные, запыленные, выщербленные каменными и железными дождями пространства открываются взору зеленых волчьих глаз, затравленных насильственным человеческим опытом, и, возможно, истинное несчастье делает бедного волка в эти чудовищные мгновения способным на вымученные, но спасительные для его существа сравнения, и он думает, что большие и малые лунные кратеры — это следы выплаканных кем-то с безмерной высоты от скорби по утраченной зимней земле, по всему, что с нее сгнуло, следы выплаканных кем-то больших и малых слез... Печально. Весьма все печально, но не для вас, разумеется, а для волка. И вот в этот самый момент он как раз перестает выть по совершенно иной, чем вы думаете, причине. Он прекращает вой не потому, что удовлетворен знанием, снявшим с его судьбы камень мучительного сомнения в наличии у Луны стороны обратной, а от нежелания жить вообще из-за уничтожения вашей научной техникой того, что составляло необходимый смысл для его бессмысленной, на наш взгляд, жизни: зимней земной ночи, властительного одиночества в морозном забвении безлюдной степной пустыни и много чего другого ценного не для вас, а для волка. Просто не на что ему будет выть — и все. Я уж не говорю о том, что ему самому его собственный отворачи-

тельный и устрашающий ваш слух вой самозабвенно мил, и природа его — радостного и самовыразительного порядка, а не того смертельно-унылого и находящегося за границами гармонии неблагозвучия, каким вы сами его наделили. Волк, братьцы вы мои, однопалатники, воет и для того, чего нам вовсе не надобно знать. Но ведь и мы, люди, позвольте заявить, живем для своего удовольствия, понимая под удовольствием саму жизнь, мы должны удовольствоваться ею со всеми ее сладостями, горечами, счастьем, утратами, с безумным смехом и душераздирающим воем, даже если ее невозможно сделать иною. И я ненавижу всех политических учителей человечества, которым наша земная жизнь показалась невыносимой, и они, чтобы не слышать воя и грохота существования, заткнули наши живые глотки кляпами надежд и вынесли нас быстрыми своими словами из света и тьмы настоящего в проклятое «светлое» будущее, где нет для нас жизни, как для волков на той стороне Луны, нет жизни для нас в будущем по одной простой причине: стараясь дожить до него, мы не живем, а обманываемся и чувствуем себя наконец такими обманутыми и такими покинутыми жизнью существами, что не остается сил для предъявления счета обманщикам за безмерность обиды и пустоту прошлого, в котором незаметно для себя мы убили и похоронили время нашей жизни. Напоследок же скажу вам то, от чего отчаиваюсь невообразимо. Если мы, соблаз-

ненные целью, убиваем и хороним в настоящем время наших жизней, то что же от нас унаследуют наши внуки, правнуки и, даст бог, более далекие родственники? Сталь? Химию? Бетон? Побрякушки ненужные, подзаводящие нас на погоню за ними, жалкие побрякушки? Не убиваем ли мы наших потомков уже сегодня тем, что не ЖИЗНЬ стала для нас целью, как и было, по-моему, задумано некогда, а ЦЕЛЬ, какая-то химерическая и дьявольски лукавая, обернулась нашей жизнью... И вот я лично вою под одеялом. Вою, пока не засну, а баба моя к этому привыкла. Она получила себе от меня сплошное удовольствие и спит. Спокойной ночи, говорю, старуха. Вам, бабам, жить проще, потому что вы меньше думаете, если у вас есть голова на плечах, и намеренно возрождаете жизнь, тогда как мы, мужики, намеренно ее губим. Спокойной тебе ночи, говорю еще раз и, верите, вдруг засыпаю почти что успокоенный. Ладно, думаю, хрен с вашим мировым обманом. Все ж таки обнаружил я его и, следовательно, чую возможность пожить по-человечески в остальное свое время. Не все оно убито, слава богу, и такие, братцы, охватывают меня жадное молодое веселье и надежда на поправимость случившейся не с одним со мною беды и даже, уверяю вас, охватывает душу мою в такие минуты сама вера в поправимость беды. Так примерно мужик, у которого выкрали комиссары из амбарчика все припасенное для весны зерно, и он уже думал,

бедняга, помирая от безысходности, что каюк пришел его времени, но вдруг обнаруживает в трещинке древесной десяток зернышек и в углу неожиданную россыпь, и во дворе в снегу чуть ли не полмешка утерянного паразитами, посланными Целью, обнаруживает — и вот уже в душе его радость такая пронзительная и такая острая до страдания страсть к жизни и к каждой ее минуточке, что только диву мужичок дается, что *многое* так не радовало его прежде, как радует нынче поистине бесценное *малое*. Слава тебе, господи, говорю и я, поскольку обращаться в такие минуты моих ночей больше не к кому, и засыпаю, как засыпал только малюткой, уставшим за день, как от настоящего дела, от жизни...

Извините, дорогие, но не мог я здесь не вымахать за один присест всего вымаханного в тот раз Карпову. Причем до сих пор не пойму, откуда во мне бралась вся эта бодяга? Я же выдумал ее от точки до точки! И несло меня так, как будто кто-то стоял за моей спиной, прищелкивая языком и похлестывая вожжою. Эта невидимая сила сообщала моему духу, как сейчас помню, чудесную безответственность, которую, возможно, в иных житейских обстоятельствах люди называют бесстрашием, и я уверен теперь, что каждому человеку, отважившемуся следовать повелению невидимой силы, лично она дарует за это следование способность внятного постижения смысла его собственной жизни как самозамечательной ценности и жизни вообще...

И вот, значит, пружа все это дело про Юру, с которым никогда, кстати, не был знаком и которого, следовательно, мне подсунула в тот момент невидимая Сила для знакомства и продолжения дружбы, и понимаю, что только удар по голове или иное какое-нибудь насилие могут сейчас меня остановить. Пру и пружа, не беспокоясь о сведении концов с концами, о несуразностях вроде волка и луны, пружа, чувствуя временами странную нераздельность себя и Юры, пружа, оставляя позади себя различные страхи, обгоняя застенчивость и перескакивая через мельтешащие под копытами подозрения о начинающемся во мне действительном безумии. А Карпов сидит, напряженно вглядываясь в меня, барабанит пальцами по столу разную музыку, начиная от «Чайка смело пролетела» и кончая «Не ходите дети в школу, пейте, дети, кока-колу», и взгляд у него такой предельно пристальный, как будто нашел Карпов в моем черепе дырку и сквозь нее мучительно старается рассмотреть и различить нечто интереснейшее. Меня и самого так и подмывало от любопытства оглянуться и хоть на миг обозреть пространство за собственными пределами, чтобы только скользнуть взглядом на видимые Карповым странные знаки и тогда уж неслетливо мчаться дальше. Но поистине в такие мгновения не остановишься, вернее, не дает тебе остановиться невидимая Сила, чтобы не перебил ты своего стремления высказаться и не остудил разгоряченной глотки до полной остановки, до самого молчания...

— Вот так, — говорю Карпову и обтираю пот со лба. Тут он вздрогнул и заморгал, словно я рукавом больничного халата прикрыл дырку в своем черепе, сквозь которую он только что так пристально вглядывался куда-то.

— Что, Ланге, «вот так»?

— Вот так, — говорю с некоторой обидой, — слушать надо было.

— Виноват... Задумался... Так что «вот так»?

— Так, — говорю, вспомнив, к чему я порол только что для самого, выходит, себя разную белиберду. — Тут встает с койки человечишко с фальшиво-высоким лбом, в фальшиво-скромной гимнастерке и произносит, посаывая чубучок, те самые слова из амбарной книги: «Пора! Пора, ебена мать, умом Россию понимать!» Вот так, — говорю. — Это и был Михаил Лексаных Шолохов. Больше ничего по существу дела пояснить не могу.

— Как ты думаешь, Ланге, для чего я тут с тобой валандаюсь? — устало, как очень больной человек, вдруг спросил у меня Карпов. — Для чего я черт знает что выслушиваю? — Он сверлил мое лицо глазами, словно искал затерянную в нем дырку, и, очевидно найдя или просверлив новую, уставился в нее остеклевшим взглядом.

— Потому что, — отвечаю, плюя на то, что он, возможно, меня не слышит, — ты со мной погорел. И Жоржик, наверное, погорел. Только этим можно объяснить твое терпение.

Не знаешь ты, как теперь быть. Вот и торчим мы оба в партбюро психушки, и члены политбюро смотрят на нас неодобрительно с портретов, а Шолохов так и выходит из себя от бешенства.

Вы знаете, дорогие, я так сказал не по здравом размышлении, а по какому-то звериному чутью и непонятному для меня самого сверхзнанию. Так все впоследствии и оказалось, и это поразило меня, обрадовало и утвердило мою веру в Чудесное. Но я забежал вперед в небезынтересный для всех нас момент.

Карпов отвлекся от моего лица. Быстро и деловито достал из папки бумагу, и эти решительные, осмысленные движения страшно не вязались с отсутствующим взглядом его внезапно воспалившихся желтушных глаз.

— Твое счастье, Ланге, что ты и твои дружки многое учли и кое в чем нас упредили. Твое счастье. Пиши здесь собственноручно, что нет у тебя претензий к персоналу больницы, что, потеряв сознание на улице, ты был сюда доставлен и выздоровлен. Ясно?

— А потом что? — спросил я, предчувствуя счастье освобождения и уже обращая душу с благодарностью к Богу.

— Потом мы тебя вытурим к чертовой матери не только из нашей области, но и из всей страны, потому что ты — сволочь, враг и сионист. Пиши. Мне надоело с тобой возиться. Все, что ты наговорил, будет нами проанализировано. Думаешь, я олень? Пиши.

— Не могу написать, — сказал я, удержав потянувшуюся было к бумаге легкомысленную ручку. — Не буду врать, после того как вы дырку мне в черепе пробили и ногами ребра искалечили. Эх, вы, — говорю, — строители коммунизма херовы, едри ее мать, моральную вашу позицию.

— Сегодня не подпишешь — завтра сам как миленький позовешь. Пиши и не валяй дурака. Разойдемся подобру-поздорову. Не куражься. А дружков твоих, и местных и прочих, мы выловим. Не сомневайся. Органы и не с такими делами справлялись. Почище, чем вы, асов ловили. Пиши.

Поверьте, меня тогда не муха укусила и не вожжа под хвост попала. Просто я, несмотря на желание освободиться, мгновенно сообразил, что если я напишу собственноручно, что меня не ломали и не убивали, то люди, вставшие на мою защиту, и человек, который сообщил им отсюда все факты о моей «болезни», будут выглядеть лгунами, а органы проклятые, наоборот, забубнят на весь свет о банде лживых провокаторов, агентах ЦРУ, о подонках-диссидентах, чтобы запудрить в очередной раз мозги «большим друзьям Советского Союза» на Западе.

— Я ничего не подпишу, — сказал я. — У меня нет, к сожалению, прямых доказательств, что мое избиение и арест — дело рук твоих, Карпов, гавриков, а то бы я в суд подал, мне терять нечего, но врать, однако, не стану.

Это все. Ты мне сам надоел. А если погорел — извини. В следующий раз законность соблюдать будешь.

И тут вдруг Карпов, к моему изумлению, схватился за живот, выпучил глаза, желтые, полубезумные, и надулся, желая разрешиться хохотом, но расхохотаться не мог, хватал ртом воздух, и в груди его, как раскаленные, шипели бронхи. Я не знал, что делать. Налил из графина воды. Поднес ему, влил немного в рот, но Карпов только поперхнулся водою и закашлялся. Я был уверен, что он или уже сошел с ума или начал сходить от невозможности понять, что же это происходит. Какой-то пархатый старый жид порет то, что он хочет, а Карпов вынужден выслушивать его жуткие антисоветские бредни, кощунственный призыв «пора, пора, ебена мать, умом Россию понимать», отказ подписать жалкую вшивую бумагу в обмен на свободу, а главное, нет уже у Карпова полной безнаказанности, подперло его сзади и спереди, явно подперло, да так, что ни бзднуть (пукнуть), ни перднуть (бзднуть) не может он в такой непривычной для его всесильности исторической ситуации. Я уверен был, что из-за этого всего Карпов «поехал», стебанулся, чокнулся, свихнулся, сорвал резьбу — в общем, сошел с ума, хотя не знал конкретных подробностей его падения.

Я не знал, как раскрутились события после передачи о случившемся со мною по «Немецкой волне», «Свободе» и другим станциям, я

не знал, так же как до сих пор не знаю, имени санитаря, или медсестры, или врача, вынесшего из психушки истории болезней мнимобольных вроде меня заключенных и что моим делом воспользовался первый секретарь нашего обкома партии, для того чтобы дать по мозгам Карпову. Карпов был у него как бельмо на глазу и остался в наследство от Жоржика. Появился удобный повод, чтобы поставить на его место своего человека. Это обычные методы создания на местах партийных мафий. Вот и вся нехитрая механика тех событий.

Но главное, дорогие, я не догадывался тогда, что вся эта раскрутка дело рук Федора. Да! Это он, старый черт, быстро пронюхал через своих друзей, что я в психушке. Более того, он предполагал после моего рассказа об обыске: что-то должно произойти со мною, и проклинал себя за то, что меня не уберег. Но нет худа без добра. Каша в городе заварилась внезапно такая крутая, хотя я тоже этого не знал, лежа в «бублике», что на наш завод вынуждены были явиться какие-то типы из ЦК партии, то ли завотделом с инструкторами, то ли комиссия партконтроля, но это неважно. Братья мои по классу, друзья мои по цеху потребовали наказания хулиганья, напавшего на меня на улице, и ответа на свой общий вопрос: в чем дело? Почему изо дня в день ухудшается снабжение рабочего класса продуктами первой необходимости? Хотя в газетах мы читаем, что страна наша богатеет год от года. Сколько это будет

продолжаться? Какими причинами вызвана хроническая нехватка мяса, масла, рыбы, овощей и фруктов? До каких пор мы унизи-тельно будем таскаться в Москву за колбасой, тратя нервы, казенный бензин и время своего кровного отдыха? Почему государство не пе-редает в частные руки сельское хозяйство, если само, отвлекаясь на заграничные игры, полеты в космос, военную индустрию и вся-кую пропагандистскую показуху, не может поднять животноводство и завалить жратвой шестьдесят лет не отходящий от станков рабо-чий класс? Сколько вы нас передовицами кор-мить будете? Когда вы нам правду говорить начнете, которую мы можем понять не хуже вас, потому что мы не враги самим себе, своим детям и земле, на которой мы родились, вы-росли, на которой помрем, даст бог, и которую нам же, по вашему призыву, защищать придет-ся, если у вас ума не хватит договориться с ки-тайцами и американцами?

Да! Прямо вот так в лоб поставили вопро-сы наши работяги, и товарищам из ЦК при-шлось попотеть, поизворачиваться, побегать к прямому проводу в кабинете Пушкина для об-мозговывания ответов с шишками из политбю-ро. Но не буду отвлекаться.

— Слушай меня внимательно, Ланге, — вдруг говорит Карпов. Он снова приосанился, словно сидел у себя в кабинете и барабанил по столу американский гимн. Да, дорогие, ваш гимн. Я не мог ошибиться. У меня чудесный

слух и хорошее чувство ритма. Все же я замечательный карусельщик и понимал свой станок, как Ростропович свою чудесную мандолину. Мне было очень весело. Сам не знаю почему. И я стал набарабанивать пальцами «Союз нерушимый республик свободных...». — Не хорошо хулиганить, Ланге, не-хо-ро-шо. Прекрати напевать про себя сионистскую музыку! — спокойно и внушительно сказал Карпов.

— Я, — говорю, — наш напеваю гимн.

— Лжешь! Я все гимны наизусть знаю. Я их глушил лично, когда служить начал... «Нас вырастил Сталин на верность народу. На труд и на подвиги нас вдохновил», — по-отечески пояснил Карпов.

Я, окончательно почувствовав, что он «поехал», стал наблюдать за ним с громадным интересом. Я никогда не был так близко знаком с психами. Кроме того, меня вдруг стало разбирать любопытство: как все-таки приблизительно крутятся шарики у психа, управляющего областным КГБ?

— Лжешь, Ланге, — повторил Карпов без всякого скандального буйства в голосе. — Ты, как все советские люди, оброс ложью. Ты лжешь, но органы тебе верят, потому что они тебе говорят правду. Хочешь, я скажу тебе правду? Всю!

— Говори.

— Так вот. Это нас вырастил Сталин на верность народу, а вас он на подвиги вдохно-

вил. Как ты думаешь, зачем? Для того, чтобы мы за вами наблюдали.

Мне понравилась эта любопытная мысль. В ней была крупинка ненормальной правды.

— Но я устал наблюдать, — продолжал Карпов. — Вот почему я с тобой здесь валандаюсь. И нас сейчас ни одна живая душа не видит. Подойди немедленно к окну.

Я встал, подошел, разминая затекший зад и ноги, к окну, раздвинул тяжелые шторы и посмотрел во двор больнички моей сквозь побеленные прутья решетки. И то, что я увидел, было так жутко и непонятно, было так пронзительно тоскливо и странно, что я обмер на миг и подумал: а сам я случайно не тронулся? Вы представьте себе вид с пятого этажа. Больничный двор, поделенный на прямоугольники высокими заборами. Это — психодром. Там гуляют Манька Величкина и Сонька Преследкина, амбалы, дебилы, гидроцефалы, двойники — так называют параноиков, — иные психи и диссиденты. То есть те люди, чьи мысли, или высказывания, или действия кажутся нашей партии безумными. В общем, представьте серые заборы и заснеженные неизвестно откуда взявшимся в это время года снегом прямоугольники психодромов. Прямо под ногами и на других психодромах валяются в снегу черные вороны, рыжие белки, серые воробушки и сизые голуби. Не верится, что забрели они сюда каким-то образом сами. Кажется, специально разбросаны они здесь. Не совсем подохо-

ший голубь, расправив крылья, переваливается, ползет по снегу, видно, взлететь хочет, на белку натывается, прикрывает ее крылом и больше не двигается. Но главное, много на психодроме всякой крылатой твари — белок штук девять и два щенка... Рядом со мной встал Карпов.

— Зачем птиц и белок набросали? — спрашиваю с ужасом, ибо сам не был убежден, что я все это вижу на самом деле.

— Ведем расследование. Кто-то похитил из сейфов все запасы нейролептиков наших и зарубежных, черт знает сколько аминазина и прочих каликов-моргаликов. И разбросали, сволочи, на психодроме. Вот звери и подошли. Не будут забегать и слетать куда не следует. Ваш брат хитер! Ох как хитер! Сначала заманивал зверье конфетками и булками, а потом ядов раскидал! Сволочи! Не дремлют!

Скоро сюда комиссия из Москвы приедет. Изучать действие химии на подошедших птиц... Послушай, Ланге!.. Нас никто не слышит... Я у себя в кабинете сидеть боюсь... Поэтому с тобой валандаюсь... Пропал я... Ты меня не выдавай! Ты мне скажи, каков он из себя... Посторонний Наблюдатель? Ты знаешь, Ланге. Ты все прекрасно знаешь. Ответь, не утаивая, каков... он из себя. Прошу тебя, ответь!

Вы знаете, это была мольба. Ей-богу, это была мольба человека, сбросившего с себя в безумный миг личину большого чиновника органов и забывшего про чудовищную мешанину

мыслей и идей в своей голове. И от этого всего было в нем что-то совершенно оголенное и совершенно родственное моей человеческой сущности, так что я чувствовал невозможность не ответить положительно, так сказать, на карповский вопрос, и более того — я страстно хотел ответить на него самому себе: каков он — Посторонний Наблюдатель, каков он — Бог? И, трепеща от восторга, ужаса, полноты несомненного знания и присутствия в своей душе и в своем уме каких-то явственных примет умопомрачительной близости с Ним, своего местонахождения в Его тени, перед Его всевидящими глазами, я сказал, родственно и щедро делаясь ослепительным откровением с себе подобным существом:

— Он — во всем! Во всем!

— Так уж и во всем?

— Да. Во всем, — снова сказал я, и в моих простых словах не было большей или меньшей меры уверенности. Их смысл был для меня достоверным, ясным и, между прочим, веселым. Такое веселье возникало во мне лишь на фронте после превозможения мужеством души и тела чудовищного страха и прибывающей к земле трусости. Превозможешь снова, не в первый уже раз, страх, кажущийся испытанием более невыносимым и более страшным, чем смерть, и — вот уже необыкновенная легкость появляется в тебе, ясность и чистейшее веселье, просто садишься, словно птичка или бабочка, на холодную скелетину

самой Смерти, прыгаешь по ней с ребра на ребро, с тазобедренного сустава на ключицу и мешаешь старухе, хохоча и радуясь, размахивать беспощадно косящей бедных солдатиков страшной косою. — Он во всем!

— И в лампе настольной? — серьезно спросил Карпов.

— Естественно, — говорю.

Карпов все быстрее и быстрее начал наугад перечислять предметы и вещи, находившиеся в помещении партбюро, я чувствовал, что с каждым вопросом в нем растут напряжение и беспокойство, но продолжал отвечать терпеливо и с веселым расположением к человеку: «Да», «Конечно», «Разумеется», «А как же».

— Ну а в переходящем Красном знамени или в портретах вот этих чучел из политбюро тоже Он находится? Зачем Ему там-то быть?! — с мукой в голосе воскликнул Карпов.

Я не мог не засмеяться. Посмеявшись, ответил:

— Раз во всем, значит, в любом веществе, которое вокруг нас и на нас самих. Я этого не понимал раньше. Теперь вот понимаю. — Карпов туповато поколупал ногтем раму окна. — Если, — говорю, — доколупаешься до самого атома, то придется еще глубже колупнуть, и все равно Его не увидишь. Так говорят мудрые люди. Ты Его не увидишь, а сам ты у Него — весь как на ладошке.

Карпов завернулся в штору, только всклоко-

ченная голова выглядывала из нее. Его трясло, прямо трясло, и от этого звенели медные кольца на бронзовом карнизе. Я, чтобы успокоить человека, сказал:

— Он и в тебе, между прочим, и во мне. Чего тут страшного?

— Нет! Нету Его во мне! Нету! Я бы чувствовал, я бы знал! Нету! — лихорадочно тараторил Карпов. — В тебе, может, и есть... Во мне не обнаружено... Нет. Нет!

В партбюро, кстати, то и дело звонил телефон. Позвонив, замолкал. Вдруг раздался стук в дверь. Карпов совсем уже с головой зарылся в штору. Стук становился настойчивей и громче. Слышны были голоса. В этот момент Карпов завыл. Штора приглушала его ужасный, потерявший все приметы того, что он исходил из человеческих уст, глухой вой.

— Вву-у-у-у-уу-о... в-у-у...

Там начали дергать и взламывать дверь. Тогда я взял со стола ключ и открыл ее. В партбюро ввалились главврачиха и трое хмырей, которые производили у меня в квартире обыск. Они не сразу поняли, кто и где ужасно воет, и, когда начали выворачивать и выволакивать Карпова из-за шторы, он завыл еще громче и забрыкался, пытаясь вырваться.

— Владлен Иваныч! Это мы! — сказал хмырина. — Что с вами? Владлен Иваныч! Товарищ генерал!

Главврачиха заглянула в лицо Карпова и что-то быстро сказала кагэбэшникам.

— Ну-у! — воскликнул хмырина, а Гнойков и третий пес удерживали рвущегося из рук Карпова. При этом тот хрипел, зажмурив глаза:

— Убрать Постороннего Наблюдателя! Убрать его!.. Ву-у-у!

Про меня все забыли. Главврачиха трясущейся рукой набрала номер и сказала:

— Быстро сюда Филонова и Прототипова... да... с носилками и прочим... В партбюро... Неужели не ясно, что мы здесь? Пошевеливайтесь! Товарищ Карпов, успокойтесь. Успокойтесь. Кого вы считаете Посторонним Наблюдателем? — спросила она у внезапно присмирившего Карпова.

— Это сложный вопрос, — ответил Карпов.

Чекисты переглянулись между собой, и хмырина осторожно сказал ему, кивнув на меня:

— Что будем делать с этим? Звонили из Москвы. *Сам* звонил.

Он говорил тихо, но я все слышал. Карпов вглядывался в меня, словно не узнавал. Затем твердо и ясно, голосом, в котором не было ноток идиотизма или безумия, приказал:

— Взять с него подписку о прекращении попыток понимания России, а также обязательство верить в нее, как в таковую. Немедленно! Сличите почерк Ланге с его же почерком. Меня не проведешь. Я ему покажу, подлецу, «умом Россию понимать». Руки коротки!

И никаких Посторонних Наблюдателей не потерплю ни в шторе, ни в проводах, ни в стуле, ни в области, ни в себе! Не потерплю! — Карпов говорил, не повышая голоса, как большой, уверенный в своих силах и полномочиях начальник. Чекисты и главврачиха смотрели на него и слушали с самым серьезным видом, что было комично, ибо он начал вдруг нести невообразимую околесицу вроде: «Дайте мне Сталина, и я переверну весь мир!.. От первого секретаря обкома, товарищи, до Аркадия Райкина один шаг...»

Когда от удара ноги распахнулась дверь и в партбюро, пятясь и держа в руках ручки носилок, вошел бывший участковый, а за ним детина с туманным взглядом, Карпов вскочил со стула, где он было присмирел, бросился к шторе и снова завернулся в нее. Завернулся и завыл:

— Ву-у-уу!

Участковый страстно, как пес на кошку, бросился выволакивать Карпова. Детина помогал ему. Карпов вдруг въехал участковому кулаком в глаз, а детине ногой в пах, и вот тут-то началась такая каша, что я, решив смотаться оттуда, отошел к двери, но она, черт бы ее побрал, была заперта. Двери в психушке запирались автоматически. Сотрудники имели ключи от них. Каша началась из-за того, что участковый после удара в глаз с удовлетворением выругался, как человек, получивший повод к любимому действию, затем плюнул на руки, де-

ловито потер их, крикнул и бросился мудохать Карпова, а детина туманноглазый пытался накинуть на умалишенного какие-то путы.

— Прекратить рукоприкладство! — орал хмырина. — Стрелять буду!

Гнойков и его коллега оттаскивали участкового от Карпова. Карпов вырвался, заметался по партбюро. Гнойков схватил детину за ногу, тот его молотнул кулачиной по шее. Главврачиха куда-то звонила. Я спрятался за переходящим знаменем Минздрава СССР. Теперь уже было непонятно, кого надо усмирять: Карпова или обезумевших санитаров.

— Слева заходи, — командовал участковый, колошматя сломанным стулом по насевшим чекистам.

— Не учи ученого, съешь говна печеного, — отвечал детина, поймав Карпова и зажав под мышкой его голову. Карпов хрипел, задыхаясь. Старший хмырина, не решаясь выстрелить, ударил детину пистолетом по черепу, но промахнулся. Детина, отпихнув от себя Карпова сильным ударом ноги, головой врезал в живот хмырине. Пятеро человек, войдя в какой-то безумный азарт, носились по партбюро, кидая друг в друга чем попало, а главврачиха, посеревшая от ужаса, забралась на спинку дивана, решив выждать время, стоя, так сказать, над схваткой. Хмырина корчился на полу после удара в живот. Драка продолжалась, и побеждали, судя по всему, профессионалы — санитары, привыкшие укрощать не только пси-

хов-одинок, но и целые палаты. Тем более мне стала ясна их цель: усмирить не только Карпова, но и его подчиненных, которых они, очевидно, приняли за взбунтовавшихся психов. Дитина уже колотил Гнойкова головой об пол. Гнойков притих. Участковый же, приносясь, схватил за грудки Карпова и третьего хмырину, сшиб их так сильно, что они громко хрястнули, как мешки с костями, и бросился к встававшему с пола старшему хмырине. Главврачиха в этот момент крикнула:

— Прекратите! Прекратите! Это — органы! Органы! — Она покачнулась, потеряв равновесие, схватилась машинально за портрет Брежнева, висевший над ней, портрет сорвался со стены, и она грохнулась вместе с ним на пол. Выхватив из рук хмырины пистолет (самого хмырину он успел повязать), участковый вертел дулом у себя под носом, явно вспоминая при этом какие-то картины прошлого, вытравленные, казалось бы, навсегда из памяти всякими аминазинами. На губах у него была пена, он бормотал все громче и громче:

— Жену, детей, тещу проклятую к высшей мере наказания... — и вот-вот готов был начать стрельбу. Но, к нашему общему счастью, его отвлек от пистолета Карпов. Карпов, очнувшись, подполз к переходящему знамени, увидел мои ноги, поднял глаза, завопил:

— Посторонний Наблюдатель! Прочь!.. —

Схватил знамя за древко и кинулся к окну, намереваясь броситься вниз.

— Вяжи его, Кузя! — заорал детина.

Санитары вдвоем навалились на Карпова, пробившего древком стекло и пытавшегося просунуть голову между решетками. Участковый, сунув пистолет в карман, снял с себя ремень. Карпова оглоушили ударом в скулу, завернули в переходящее знамя, повязали и бросили на носилки. Вот тут наконец появилась подмога, вызванная главврачихой. Четверо молодцов первым делом обезоружили участкового, окончательно переставшего понимать происходящее, пускавшего пузыри губами и что-то мычавшего.

Двое санитаров; по виду студентов-старшекурсников, увели тихого Филонова в корпус. За ними шел улыбающийся и тоже, конечно, ничего не соображающий вечный сумасшедший Прототипов.

Двое оставшихся в разгромленном партбюро санитаров приводили в себя лежавших на полу чекистов. Те жадно нюхали нашатырь и стонали. Лица их начали заплывать опухольями. Гнойкову перевязали голову.

— Не мог я стрелять в такой ситуации, — как бы оправдываясь, сказал хмырина и спрятал возвращенный пистолет в боковой карман.

Я был рад, что вышел сухим из такой мощной неуправляемой драки, а главврачиха умоляюще сказала старшему:

— Давайте не дадим этому ход... Представ-

ляете, какие пойдут разговоры. — У меня поджилки затряслись от ее взгляда. В нем явно присутствовала мысль о том, что не мешало бы как-нибудь тихо избавиться от мерзкого свидетеля Ланге.

— За меня, — сказал я, — не беспокойтесь. Мне трепаться ни к чему.

— Подписку дадите о неразглашении, — сквозь зубы сказал хмырина. — Поедете с нами. Вещи ваши уже в приемном покое.

Неужели в тюрягу (тюрьма), подумал я. После безумства драки, вызывавшего во мне спазмы хохота, кажется, наступило, как всегда, трезвое похмелье. Кажется, готовила мне жизнь еще какое-то испытание.

Когда уносили Карпова, завернутого в красное, расшитое золотом знамя, он слабо выкрикивал:

— Приказываю — верить! Нечего понимать! Понимателей к стенке!

Сейчас я перескочу через то, как меня привезли в управление, как я изумлен был переменившимся отношением, как я соображал, нет ли во всем этом какого-нибудь паскудного подвоха, и так далее.

Поверьте мне, дорогие, ничего я так страстно не жаждал и не ждал за все прожитые годы, как свободу в те минуты. Свободу! Свободу! Даже в молодости, когда уже чувствуешь, что уговорил красотку какую-нибудь, что сдалась она, что сейчас настанет миг, по сравнению с которым все предвосхищения ума кажутся

бледными и жалкими, не билось мое сердце так неистово и сладко, как в те благословенные минуты. Разве не крайняя степень Свободы — обладание согласной с вами во всем славной, открытой женщины? Что вы скажете на это, Сол и Джо? Разве не конечное счастье делать первые шаги из насилия и неволи на свободу, сознавая с горячим стыдом и чистым раскаянием, как ничтожно мало бываем мы благодарны за нее жизни, потому что все истинно ценное в существовании принимаем до поры до времени за неотъемлемые свойства самой жизни, и полная их мера открывается нам, к несчастью, тогда, когда мы теряем по своей или по чужой вине то любовь, то свободу, то здоровье, то какую-нибудь милую малость, вроде сердечного расположения друга.

И вот я выхожу на улицу из здания, на которое раньше поглядывал с отвращением, некоторым страхом и временами с любопытством. С любопытством, потому что ужасно хотелось открыть зашторенные окна этого дома и взглянуть, что там за ними колдует и наколдовывает госбезопасность, к которой, по-видимому, не имеет никакого отношения безопасность одного гражданина, представляющая из себя, как это ни странно, хоть и ничтожно малую, но реальную составную часть государственной безопасности. Невозможно чувствовать себя в этой безумной стране гражданином своего государства. Невозможно.

То есть чувствовать себя гражданином вы

можете сколько вам угодно, от пуза, так сказать, но вот пытаться быть гражданином, быть им действительно по совести, по долгу, по любви — невозможно, сколько бы вам ни пудрили мозги тем, что вы и есть хозяин государства, а всякие министры и депутаты бутафорского парламента — ваши покорнейшие слуги. Поистине конечное, последнее извращение смысла какого-либо явления или понятия, извращение на полных, если не считать одной секундочки, триста шестьдесят градусов как бы и не изменяет ничего в этом явлении или понятии, и единственной при этом заботой извратителей, главной их волей является недопущение попыток граждан распознать, заметить ту самую секундочку, которая непреложно указывает на факт имевшегося извращения и позволяет безукоризненно отличить от рядящейся черт знает во что подлейшей лжи первоначальную сущность.

Это — размышление из амбарной книги, на память, но если вы там, в вашей свободной стране, кривитесь, принохиваетесь к сказанному и недоверчиво покачиваете беззаботными в некотором смысле головами, то приезжайте и попробуйте быть гражданами нашей страны. Попробуйте повоевать, например, с бесхозяйственностью или с воровством в торговой сети, то есть с тем, что можно назвать органическими пороками нашей передовой системы. Или попробуйте потребовать отчета от министра иностранных дел за провалы позор-

ной беспринципной дипломатии где-нибудь в Азии или на Ближнем Востоке. Попробуйте изобличить зависимость правосудия от распоряжений и мнений местного и всесоюзного начальства. Попробуйте изложить свою точку зрения на гнусные программы телевидения. Намекните, что то, что теперь называется литературными произведениями, например, романы начальника писателей Г. Маркова, раньше не шло дальше туалетной надобности. Поставьте вопрос о ценах, замороженной зарплате, природе низкого качества обслуживания населения, природе хронической недостачи товаров и продуктов первой необходимости. Поворчите насчет партийной элиты и зажавшихся партийных придурков. Оброните вскользь мнение относительно несменяемых десятилетиями министров, секретарей ЦК и прочих вождей, естественно привыкающих к мысли, что они родились, вылезли-таки прямо из маминой утробы незаменимой номенклатурой. Попробуйте! И вы увидите, как вы получите по носопыркалке (лицо), вы услышите, как вам скажут: «Сиди, сука, дыши в обе свои норки и не рыпайся, не то огуляем дрыной (палка) по старому шву вдоль вонища (зад), не то научим тебя по-русски плакать, и ты позабудешь навек, где у тебя башка, а где желудок!...»

Ну ладно, однако. Я чувствую, что становлюсь на старости лет слишком большим диссидентом. Разговорился, развозмущался, волосы вздыбил, правду-матку вдоль и поперек из-

резал, а сколько лет молча заглатывал и переваривал, сколько лет делал вид, что главное для меня — моя работа на карусельном станке, семья, друг Федя, рыбалка... Конечно, это и сейчас главное в моей жизни, но гражданина-то во мне убили, твари, не без моего содействия убили! А с другой стороны, если бы я в те годы активно начал вмешиваться в неподконтрольные дела партии и правительства сообразно своему гражданскому долгу, то в лучшем случае я пикнул бы один только раз. Второй раз я пикал бы в парашу лубянской внутренней тюрьмы или нашей городской «Белой гвардии». То же самое было бы и с любым другим работягой, с десятым, с сотым, с тысячным и с десятиллионным. И я иногда иронически соображаю: а не было ли актом гражданского мужества, ума и совести наше всеобщее многолетнее рабочее молчание? Не оказались ли мы — граждане — мудрее самой партии и активной самого правительства с его сталиными, хрущевыми и брежневыми, когда, заботясь о нормальном функционировании промышленности, сельского хозяйства и служебной бюрократии, сжали зубы, прикусили протест, готовый сорваться с губ, искусанных в долгом терпеливом молчании, и предупредили тем самым воистину всенародную репрессию. Возможно, мы, диалектически соображая, предупредили почти поголовный арест рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, который поставил бы вообще под вопрос

само существование СССР в том виде, в каком он сейчас существует... Ведь остановились бы станки и машины, охладели бы окончательно к земле трактора и к небу самолеты, не вышел бы Аркадий Райкин на сцену, баня превратилась бы в холодильник им. Молотова, черт знает что стало бы происходить. Короче говоря, если бы население первого в мире якобы социалистического государства возжелало стать ни с того ни с сего, как показалось бы партийным придуркам, населением граждански активным, если бы вдруг население взалкало наконец стать народом, потому что последний отличается от первого известным единством мнения относительно судьбы своей Родины, состоятельности или несостоятельности своего правительства и нравственного достоинства всего государства. Вы представляете, дорогие, что было бы, если бы мы, работяги, перестали вдруг поддаваться многолетней обработке профессионально изолгавшейся пропаганды и начали соразмерять наши гражданские чувства и разумения не со светлым будущим, мать его ети, в лучшем случае будущим проблематичным, а с тем, что насущно сегодня, сейчас, с тем, что ежеминутно диктуется всего лишь здравым смыслом, а не ввевшимся в мозги страхом скомпрометировать обосранные сотнями поколений комнатных мух дырявые вылинявшие лозунги? Ужас что было бы! Но ужас при мысли от всего этого охватывает не нас, а тех, кто, в сущности, обособил себя от

насушной жизни народа, кто лишил нас, не без нашей, повторяю, помощи, гражданского достоинства, без которого, как говорит Федор, являемся мы, увы, всего-навсего не народом, а так называемым гражданским населением.

Я знаю, что плевать вам на эти мои мысли и что вы всерьез, возможно, задумываетесь, не свихнулся ли я на самом деле. Нет, не свихнулся. Записав с чужих слов амбарную книгу, не свихнешься, а нахватаешься, безусловно, нужного. И там, я помню, записал слова Пушкина о том, что народность — это достоинство. Да! Достоинство! Сумма наших личных достоинств. Иначе с чего бы это вдруг взяться у народа достоинству? От крикливости политруков у нас его не прибавится. На знамени, между прочим, нашего города есть два ордена. Это не сделало его ни чище, ни благородней, ни сытней, ни воспитанней... Одним словом, есть и были у меня как у гражданина две возможности: первая — пытаться осуществить свои гражданские права, говоря только правду, и быть уничтоженным политически, социально и физически; и вторая — помалкивать, считая любое головотяпство любого масштаба, включая головотяпство сталинского мира и Сталинской войны, необходимыми издержками первого в истории социального эксперимента. Работать как вол, надеясь на получение в будущем плодов труда. Тупо, против своей воли и совести, одобрять все акции правительства и хитроумно внушать себе при этом, извращая

божественную мудрость Евангелия о зерне, что, покуда гражданин в тебе не умрет, гражданин в тебе же не возродится. Вот и все, что бы вы там ни думали, слушая наше радио, читая наши газеты и считая вашу демократию говном по сравнению с нашей «социалистической демократией высшего типа».

После этого письма прошло две недели. Извините, что в окончании предыдущего, тяжелого для меня и невозможно длинного письма завелся я и набарабанил опять хрен знает чего. Извините.

Не буду описывать мою встречу с Верой, с сыном Вовой и его женой Машей, примчавшимися из Москвы, с Федором — моим спасителем — и с друзьями по цеху и дому. Не буду. Хорошая была встреча. Многим не удавалось, конечно, сделать вид, что они не заметили, как я изменился, но это меня не расстраивало. Наоборот, было бы странно, если бы Сол и Джо, возвращаясь, например, из публичного дома или с бейсбола, были избиты до неузнаваемости полицией, а вы притворились бы, что нет в их внешности, выражении глаз и поседевших головах никаких внушительных изменений.

Встретились. Всплакнули слегка (Вера и Маша). Выпили. Закусили. Проболтали всю ночь.

Я уже говорил вам, что, по моим прикидкам, новый наш первый секретарь воспользовался моим делом для замены Карпова своим человеком. Так оно все и было после того, как

«голоса» передали сообщение о нашей психушке и ее пациентах-диссидентах и обо мне, избитом гэбэшниками и помещенном в «бублик». По городу и по заводу сразу пошел шумок, избили, мол, и посадили рабочего, который организовывал на свою голову поездки в Москву за продуктами. И что сделано это было по приказу бывшего первого секретаря, ныне большой шишки в ЦК партии. Завод, как говорится, забурлил. Несколько дней шумели работяги, не бросая, однако, работу, и, говорят, итальянская компартия стала давить на нашу, угрожая отправить вместе с какими-то агрегатами для завода вагон колбасы, сыра, масла, макарон и книжек о жизни и заработках итальянского рабочего класса. Ну, в Кремле вроде бы стали ломать голову: как быть? Решили поступить по-своему неглупо. Меня — освободить. Жоржика пошарить на пенсию как превысившего полномочия и потерявшего политическую сообразительность. Карпова — снять к едреной бабушке. Подкинуть в магазины города мороженой рыбы, китового мяса, колбасы низших сортов, уток, куриц и жирной свинины.

Рабочие тут же установили контроль за работой продавцов, чтобы продукты не текли налево. Но не обошлось без эксцессов. Однако завбазой, пытавшегося вывезти с территории туши двух баранов, толпа избила до полусмерти: Затем его, чтобы замести следы, бросили с камнем на шею в сливную яму. Это дело замя-

ли. Был еще один случай, когда продавщице проломили голову мороженой, крепкой, как сталь, уткой. Сняли кое-кого из облпищеторга, кого-то протащили в газетенке, над кем-то позизгалялись на партсобраниях. Забыл: завалили вдруг магазины сгущенкой, польской водкой и концентратом перловой каши с армейских складов. Эта каша десять лет дожидалась там атомной войны, и деятели решили обновить стратегические запасы консервов. Вот и радовались наши обыватели. Берут бутылку «Выборовой», сгущенки банку и пачку концентрата. Разжигают в подворотне костер, варят в котелке перловку, заливают ее сгущенкой и устраивают веселый бесшабашный банкет. Много ли надо людям?

Не могу не описать вам в связи со всем этим делом историю разоблачения завбазой. Что он сделал, сволочь, поняв, что на проходной дежурит рабочий контроль и не пропускает на базу всяких дельцов из черных «Волг» и пронырливых дамочек? В общем, тех, кто унюхал про срочный завоз на базу всякой всячины, включая туалетную дефицитную бумагу. Что он сделал? Не знаю, хватило ли бы у ваших крупных гангстеров сообразительности в такой драматической ситуации. Видит око, да зуб неймет! Завбазой, поняв, что вплотную окружен врагом (народ), вызывает своего дружка завгорздрава на «скорой помощи», вроде бы ему плохо. Сердце, давление и прочие дела. Тот прилетает, все поняв. Въезжает на терри-

торию. Там угодливые прихлебалы и жулики погрузили втихаря в «скорую помощь» бараньи туши. А одну посадили рядом с шофером, нахлобучили ей шляпу по самый нос, укутали шарфом, очки напялили — вылитый сидит человек. И туши бараньи в салоне «скорой помощи» тоже закамуфлировали под больших, туалетной бумаги рассовали по всем углам. Все прошло бы отлично у прохиндеев (оба были коммунистами), если бы не осечка у самой проходной. Никто бы не остановил машину с сиреной. Мало ли кто опился на базе или обожрался до обморока? На ней всякое бывало, включая массовые сексуальные дебоширства перед Первым мая, Седьмым ноября и Новым годом. Но, к несчастью завбазой, у проходной стояла случайная собака — огромная московская сторожевая. Принадлежала она одному из членов рабочего контроля. Самоуправного, разумеется, контроля, а не выделенного советской властью. И вдруг эта собачища начинает бешено лаять на выезжающую из ворот «скорую помощь». Лает так, что голос срывает, глаза на лоб лезут, и пена с клыков хлопьями желтыми падает на землю.

Ну ладно, лает. Полаяла бы и перестала. Но собака вдруг бросается в открытое окно машины, вцепляется мертвой хваткой в шею бараньей туши, хозяин ее отгаскивает безуспешно. И тайное становится явным. Завгорздравом, прикинувшийся шоферюгой, получив по роже, во всем признался. На проходную вызвали зав-

базой. Он явился, как обычно, полупьяный и с всесильным гонорком. И тут его без предварительного следствия тыкнули носом в бараньи туши и начали мудохаться. Не выдержали у людей нервы и возмутились души. Что было потом, вы знаете. Собака же между тем успела отъесть от туши подтаявшие части. Остальные были поделены поровну между участниками судилища. Вот такая карусель...

На следующий же день после освобождения плюнули мы с Федором на все и смотали удочки на Оку, на родную мою реку, порыбачить и слегка забыться. Хорошо порыбачили мы тогда, очень славно и спокойно, просто душа в одно мгновение зажила от всей мерзлятины. И рыбка клевала, правда, мелочь, не то что в былые годы, извели в Оке приличную рыбку, но все-таки клевало.

— Уж не думаешь ли ты, Давид, что всем нам так с рук сойдет? — спросил Федор, глядя на меня, разводящего на сырой полянке костер.

— А что же еще нам может быть? — говорю беззаботно и полагая, что самое страшное позади.

— Что, не знаю, но не оставит так всего этого дела проклятая Чека. Не оставит. Уж очень прижгли мы им очко (зад). И благодаря тебе — идиоту старому — перечитывают они там амбарную книгу. Была бы только ихняя воля — враз сейчас нас кокнули бы. И — ищи-свищи. За мною уже неделю ходят двое.

Может, и сейчас пасутся где-нибудь неподалеку. Впрочем, сегодня — не рабочий день...

Возвращаюсь поздно вечером домой во хмелю небольшом и в блаженной усталости. Уже перед самой дверью непреложно чую: беда в доме. Захожу. В квартире Вера, Вова, Маша. Смотрят на меня с ужасом, словно я уходил в ту минуту у них на глазах прямоком в преисподнюю и спасти меня при этом было уже поздно и бесполезно. Ужасный был тогда у всех взгляд.

— Что?! Говорите — что?! — крикнул я.

И тогда Вова сказал:

— Света...

И только он это сказал, как Вера взвыла и забилась в истерике. К ней бросились Маша и Вова, но Вера с какой-то жуткой силой отпихивала их, вырывалась и кричала:

— Света-а... доченька-а! Будьте прокляты-ы!

Мне даже неудобно было расспрашивать, что именно случилось со Светой, ибо я помогал успокаивать свою бедную Веру, но веяло тогда на нас на всех дыханием непоправимого. Веяло смертью. Сердце мое, привыкшее после разрыва со Светой к равнодушию, вдруг заболело так остро, так вдруг отчаянно забилося, словно оно опоздало, торопилось наверстать жалость и любовь к родному существу, от которого я его некогда отлучил волей своей дурной, старой, нетерпимой башки.

— Боже мой... это я во всем виноват, —

тихо сказал я, и, к счастью, мои слова, сказанные с чудовищным сокрушением, немного успокоили Веру. Наверно, лицо мое было в тот момент таким, что она, инстинктивно испугавшись за живого, отвратилась от непоправимости. И тогда от всего вместе: от горя, бесконечной беззащитности перед судьбою и благодарности за спасительный инстинкт женщины, жены, матери — я сел на пол и разрыдался, и, рыдая, я проклинал себя за жестокое равнодушие, а мозг, проклятый мой бесчувственный мозг, лихорадочно метался в догадках: поезд?.. утонула?.. машина?.. самолет?.. убили бандиты?.. инфаркт?.. грибы?.. женское кровотечение?.. что?..

Но давайте вытрем сопли и слезы. Произошло вот что: Света приняла несколько упаковок снотворного и не проснулась. Легкая, как все успокаивали нас, смерть, и добавляли, что нам бы всем такую. Может, оно и так, но каково было бедной моей дочери, перед тем как заснуть? Не дай нам Бог, говорю я.

И все это случилось после того, как ее не приняли в партию и отлучили от воспитательной работы с молодыми людьми, на которой она буквально горела — хотела привить людям в наше сложное и циничное, по ее словам, время хоть часть своей идейной чистоты и преданности марксизму-ленинизму, пропади он пропадом.

Когда меня взяли и когда везде пронесся слух, что все мы уезжаем, Свету вызвали в

райком. О чем уж с ней там беседовал первый секретарь, я не знаю. Догадываюсь, что разговор был гнусным.

...Ваш отец — антисоветчик... Брат — сионист... Зачем вы пудрите нам мозги и пробираетесь в партию?.. Вы ведь тоже за ними рванете?.. Не притворяйтесь идеалисткой... Не противопоставляйте Сталину Ленина...

В общем, Света оставила записку не нам, родителям, а своей вонючей коммунистической партии. Я не буду цитировать ее полностью. Там было много чепухи насчет светлого будущего. Света клялась гнусным райкомовцам, что она не ведала о наших помыслах, и возмущалась возвращением времен, когда дети вынуждены платить за черные грехи отцов. Напоследок она призналась, что сходит с ума от всего происходящего и предпочитает смерть разочарованию в идее и в нашем политбюро...

«Вам еще не раз будет стыдно, товарищ Губанов. Стыдно!»

Так кончалась предсмертная записка. Наверно, этот Губанов по звонку от того же Жоржика, пообещавшего добраться до самого моего девятого колена, ругал Свету, топал ногами, обзывал жидовней и тому подобное. Это — Свету, которая была по всей своей жизни идиоткой, выскочившей в современную партийную блевотину из любимых двадцатых годов! Это — Свету, горевшую большевистским пламенем с просмердевшей тупостью, продажно-

стью и бездушием советской учрежденческой жизни!..

Я порылся грешным делом в ее записях и понял по ним, что обречена она была или на смерть, или на безумие, или на вечную тоску по «революционным святыням», заменявшим ей природу, отца и мать, любовь, веселье, культуру и радость нормальной человеческой жизни... Ужас меня пробрал и жалость к моей девочке, когда я прочитал следующие пылкие слова:

«Вчера вышло постановление ЦК о мерах по дальнейшему развитию художественной критики. Я читала «Правду» в метро, мне хотелось поделиться с людьми какой-то особенной душевной и интеллектуальной радостью. Разве еще где-нибудь в мире может выйти подобное постановление? В чем его высокий смысл? В том, что партия — мозг, координирующий даже художественные усилия общества. В том, что она поднимает критику до уровня революционного мышления, а критика, в свою очередь, тянет из болота мещанского повседневноя литераторов. Трудно нам, коммунистам, хотя я еще без пяти минут член партии. Трудно. Прав Горький, сказавший: «Люди настолько тупы, что их нужно насильно вести к счастью». Прав был старик. Тысячу раз прав. Я смотрела на лица соседей по вагону. Как они были далеки от меня, от партии и ее забот. И это в день, который должен был быть

праздничным из-за вышедшего постановления... Не могла не вспомнить об отце...»

Она не могла не вспомнить меня. Я ее теперь не забуду. Зачем она спешила вперед так, что промелькнули мимо те явления жизни, ради которых и живут нормальные люди? Зачем? Что за безумие подгоняет так называемых идеалистов? Ведь и не существует никакого хоть сколько-нибудь реального идеала в таком виде, в каком он мерещится выбитым из круга жизни людям! Он и Богу-то самому, очевидно, неизвестен, потому что не нужен, раз самая, может быть, главная цель Творца, как говорит мой сын Вова, это — жизнь. Что может быть совершенней устройства самой жизни? Переустройство?

Вот и наблюдаю я, до чего допереустройствались наши переустроители. Нашкодили со своими проектами идеальной жизни так, что теперь расхлебывать страшно. Просто бздят (боятся) расхлебывать, и все. А ведь нагадили зверью и зеленому существу природы не меньше, если не больше, хищников-капиталистов... Ну ладно... Дальнейшее развитие художественной критики в стране... С ума можно сойти!.. Похоронили мы Свету. Похоронили.

Через неделю вызывают меня в ОВИР. Разговаривают вежливо. Ясно и твердо дают понять, чего я, кстати, ожидал, чтобы мотал я вместе с Вовой в Израиль по вызову. А если, говорю, не поеду? Мы вам, отвечают, по дружески советуем ехать, и как можно быстрее.

Задержек с оформлением документов не будет. Я, говорю, подумаю, поскольку я не мальчик, а карусельщик-универсал. Я вот этими руками воевал и социализм, еби вашу мать, строил.

Вере я ничего не сказал. Зачем лишний раз волновать старуху? После смерти Светы она притихла, с трудом переносила печаль и ожидание отъезда Вовы...

Федора за это время (недели две) четыре раза дергали на допросы в ГБ. У них насчет него как яростного врага всякой лживой идеологии сомнений не было... Морочили ему голову по наследству, оставленному Карповым, — Посторонним Наблюдателем и преступным желанием умом Россию понимать.

Наконец позвонил я в ОВИР и сказал:

— Не те уже мои годы ехать. Никуда я не поеду. Я заслужил право на покой и пенсию.

— Зря, — отвечают, — как бы вам не пришлось пожалеть.

— Валяйте, — говорю, — действуйте — люди новой формации, вооруженные моральным кодексом строителей коммунизма. Подстерегайте, глушите из-за угла палками по башке, провоцируйте на действия, характеризующие меня как антиобщественный элемент. Валяйте. Но передайте вашему начальству, что я не буду сидеть воды набрав в рот. Я буду жаловаться... Кому? Самому, — говорю, — вот кому!..

— Подумайте еще раз как следует, Ланге...

— Пусть думает, — огрызаюсь, — Ленин. У него голова большая.

Стараюсь вечером на улицу не выходить. В магазинах бдительно озираюсь и в случае возникших скандалов сразу линияю подальше от греха, чтобы не пришили мне хулиганства. Это они, сволочи, любят. Днем вожу Веру в короткометражку. Смотрели смеха ради подловатый фильм «Сионизм — враг народов». Это действительно было смешно. Всем буквально можно и нужно стремиться к независимости, выходило по фильму, только не евреям. Ну разве не стыдно, думал я, приносить в жертву, в угоду дипломатическому или политическому быстротекущему изменчивому моменту чувство справедливости, совести и так далее... Отвлекаясь от гневного голоса диктора, я вглядывался в виды земли Израиля и его больших городов, вглядывался, словно пытался узнать забытое, в лики цветов и детей, в лица разных людей — политиков, дельцов, солдат, старух, молодежи. И это было странно: в короткометражке внезапно сблизиться с тем и с теми, к кому ты сам привязан плотью, кровью и неуследимой в веках давностью родства.

— Эта жизнь умерла для меня: я не могу здесь жить, — сказала моя Вера, когда мы вышли из кино.

— Вот и правильно, — сказал я, — нам не о жизни, а о смерти думать пора.

Вера заплакала, на нас странно смотрели люди, и пришлось мне увести жену подальше от кино.

И вот сидим однажды вечером за столом и чай пьем с бубликами. Бублики — с маком, и подсушила их Вера в духовке. Есть, интересно, такие бублики в Лос-Анджелесе?.. Так вот, сидим и пьем чай. Я анекдоты вспоминаю еврейские, чтобы развеселить хоть слегка Веру, но уныние глубоко проникло в ее душу. С нами еще Таська сидела и сосед — бывший стукач. Я говорю «бывший», потому что он устроил скандал своему опекуну из КГБ и заявил о прекращении своей подлостей деятельности. Произошло с личностью моего соседа что-то такое, от чего он преобразился. То ли попытка самоубийства потрясла его, то ли мое безобидное, в смысле превозможения обид, обращение в тот памятный вечер, не знаю. Вот — лишнее доказательство, что ни на ком не надо ставить крест окончательно. Не надо. Последний крест на человеке и его делах пусть Господь Бог ставит, а нам лучше бы попытаться отвратить чью-либо душу от безвозвратного падения в смрад предательства и в преисподнюю такого рода людоедства...

Сидим и пьем чай. В первый момент я не понял, как это всегда бывает, что именно произошло. Раздался страшный удар в окно. Зазвенели стекла, упавшие на подоконник и на пол. Нас обрызгало чаем. И тут же со двора донесся, как эхо первого звона, звон стекол, разбившихся об асфальт. Со стола разметало посуду. Я нагнулся и поднял здоровенную булыгу (камень) с пола. Они кинули в мое окно

булыжник не меньше четырех килограмм (десять фунтов по-вашему). Вот как они обратили «булыжник — оружие пролетариата» против самого рабочего класса. Вот как... Но об этом я подумал потом. Когда нас обрызгало горячим чаем, Таська вскрикнула исполошенно, по-бабьи, Вера прибито сжалась в комочек от ужаса, и взгляд ее глаз не был еще безумным, но казалось, он страстно просил безумия, чтобы уйти туда от всего, что свалилось на Верину душу и не поддавалось сознанию. Сосед же сразу побежал к разбитому окну и заорал:

— Падлы-ы! Падлы-ы!

Холодный сырой ветер сразу заполнил дом, и было от этого еще обидней, оставленной, незащитней и сиротливей сердцу. Страшно не было. Но температура, если так можно выразиться, страха казалась мне тогда желанней склизкого холода чужой живой, хоть и безликой вражды и злобы и моей собственной сиротливости. Не было во мне и страха. И не от него я искал спасения, когда весело и отчаянно, словно на фронте, сказал Таське:

— Кончаем с чаем! Тарань из «Оки» заначку!.. (Неси из холодильника водку.) Вера! Молодость моя и старость, — воскликнул я, — а ну-ка, сгоноши закусочки!.. Они хотят втоптать нас в блевотину, а мы возрадуемся! Возрадуемся, ибо мы живы и нам легче, чем им — ничтожным блядам, рыскающим в сырой темени с камнем за пазухой, вместо того чтобы сидеть в теплой комнате за столом с друзьями,

с тобой, сосед, с тобою, Таська, славная ты баба, и с тобою, жена моя, и пить огненный холод водяры и захавывать (заедать) его нежной плотью белого, взятого вот этими руками грибочка!.. Вера! — крикнул я, весело пьянея. — Даю вам слово, как на фронте, что имеется у судьбы для нас про запас кое-что поважнее и подостойнее страха и смерти. — Вера! Все будет хорошо! Все и так прекрасно! Мы — дома, а они, согнувшись, разбегаются, как обоссанные шакалы, в уличном мраке. Они боятся света и памятливых глаз случайных прохожих... Шакалы! Шакалы! — крикнул я, высунувшись из разбитого окна. — Заходите погреться на рюмашечку водки!

Я думаю, что я заразил тогда достойным состоянием души жену и соседей. И вы себе не представляете, как мы тогда хорошо после чая, когда уж спать было время укладываться, хорошо посидели. Хорошо!

Думаете, я Федора не вызвал к нам по телефону? Позвонил. Приходи, говорю, но только осторожней.

На улицах нашего города, борющегося за звание «города коммунистического быта», ошиваются грязные шакалы с партийными и комсомольскими билетами в карманах. Осторожней!

Мы врезали до прихода Федора по рюмочке. Я не подавал виду, что волнуюсь за него ужасно. Черт бы побрал меня, звать его в такую темень после всего, что было, в гости.

Черт бы меня побрал! Если с Федором что-нибудь стряется, решил я, отправляю Веру с Вовой, а сам пускаю пулю в лоб из старой берданки. Непременно пушу... Это будет нелепое, но положенное мне завершение жизни. Почему желание увидеть друга важней для меня беспокойства за его безопасность? Вы думаете, я не перезвонил? Перезвонил. Но Федора уже не было дома... Час проходит — его нет. Два проходит — нет Федора: Время застольное летело быстро. Вера моя захмелела, отошла немного за все эти дни, я почувствовал — на убыли, на убыли закравшееся в ее душу уныние и, возможно, безумие — и уложил ее спать. Она заснула, не раздеваясь, как девочка, старая моя, родная девочка, и тогда это было хорошо для нее и для меня.

Через два часа после звонка к Федору меня начало трясти. То есть я наливал, балагурил с Таськой, велел соседу привести жену (но ее не было дома), закусывал, что-то вспоминал, развивал идеи, рассказывал, какое это все-таки счастье любить свой станок карусельный, свой труд и рыбалку, насовал, как и положено в беседе, тыщу хуев (членов) всякому начальству, закурил, чего давно не делал, но меня внутренне трясло, и я не знал, как мне быть через час, что предпринимать, где наводить справки...

Боже мой, говорил я, Боже мой, что я надеялся!.. Черт меня, старого пса, дернул звонить... Боже мой, пронеси беду мимо, как проносил Ты ее бесчисленное количество раз... Пронеси,

Господи... Наконец, когда позвонили в дверь и я понял по звонку: звонит Федор — так никто больше не звонил, напряг мой был таким лихорадочным, что, увидев невозмутимую, притворяющуюся, как всегда, строгой, рожу Федора, я истерически и грязно выругался и чуть было не полез на него с кулаками. Ругательства переводить не буду. Но я сказал:

— Сукин кот! Сволочь! Проказа воркугинская! Где ты шляешься? Я места себе тут не нахожу!

— Не думай, что и я такой же баран, как ты. Перед тем как выйти из дома, я позвонил дежурному по управлению ГБ и сказал: так, мол, и так. Я такой-то и такой-то, иду в гости к другу Давиду. Вы, кажется, имеете зуб на него и на меня. Так вот, говорю, если ваши молодчики уже в дозоре и собираются мудохать мирного гражданина или еще какую-нибудь пакость выкинуть для провокации, то об этом завтра же узнают все прогрессивные люди доброй воли, недремлющие газеты, радиостанции, еврокоммунисты, американские сенаторы, Маргарита Тэтчер, Папа Римский и другие крупные и влиятельные фигуры. Будьте здоровы, говорю.

— Вы, Федя, большой наглец! — восхищенно сказала Таська.

Посмеялись мы, конечно. А задержался Федор, потому что заскакивал на конец города к бывшей своей подруге Лизе, которая неделю назад умерла от инфаркта. Заскакивал он к ее

девятистолетней матери. Забрал свой патефон и старые пластинки. Старый подарок Лизе. И еще забрал он четыре бутылки настоящей на ягодах и травках водки. Словами ее не описать, но представьте, особенно это касается Сола и Джо, что вы пригубили первый глоточек, но не проглотили его, и кажется вам, что это — сон, что жарким днем вы подошли в саду к кусту черной смородины, а от него шибает жарким духом ягод и солнца, и вы растираете в пальцах смородиновый шершавый листочек и подносите теплый мякиш зелени к ноздрям. Вы закрываете глаза при этом и забываете, что вы — это вы, ибо вас растворяет в себе на мгновение, как какую-нибудь растворимую частицу, жар земной жизни и бездонная тайна запаха...

А настоек, заметьте, было четыре: смородина черная, малина, зверобой и мята с жасминовыми лепестками. Мы по очереди отведывали каждой — закатывая глаза, постанывая и шевеля ноздрями. Даже грех было закусывать такие настойки. Грех!

При этом мы — три мужика и одна Таська — заводили еще довоенные танго, песни бедного педераста Козина, затравленного Сталиным, «Кукарачу», «Песенку-квикстеп» и прочую музыку нашей молодости. Заводили — и тут Таська вытащила меня танцевать.

— Не балуй, Таська, ни к чему, — сказал я, когда она очень уж занежничала.

Но Таська зашептала:

— Танцуй смирно... Танцуй... Чего тебе? Я тебя поведу...

Она повела меня, зараза, сильно и властно — так, как водят баб уверенные в себе ебари-профессионалы. При этом Таська как бы случайно задевала мою щеку своей, между прочим, милой щекой. О том, что вытворяли ее ноги, я уже здесь не говорю... Мы протопали фокстрот, выковряживались в аргентинском танго, когда партнер (Таська) валит на себя партнершу (меня), мы кружились в печальном, как вся, вся, вся, взятая целиком, жизнь, как вообще вся жизнь, — старинном вальсе. И теперь я понимаю, что Таська лишила меня воли и превратила на какое-то время в утомленное солнце, в нежно с морем прощающуюся бабешку, — превратила тем, что страстно от тоски по мужику и зависти к нашей мужской любовной инициативе вошла в роль мужика, и что-то в нас обоих, не корежа и не оскорбляя сути наших полов, перемешалось, словно в одном кружащемся сосуде.

Я даже хихикал, как бабешка, я это прекрасно помню, когда Таська очень уж распустила руки и тихо, сдерживая стон, намекала, что, мол, пора выйти. Что ты, что ты, жеманно говорил я, делая заведомо бесполезную попытку отдалить наши тела друг от друга, но Таська, железно удерживая меня одной рукою, заводила третий, десятый раз подряд все тот же вальс, пока Федор трепался с соседом, и снова кружила, и вот уже смотрю: она выкручивает

меня... и-раз-два-три... и-раз-два-три из комнаты в коридор, и я еще не сопротивляюсь, потому что воля из меня высочилась по капле, нету ее во мне нисколючко, ни молекулки, дышу Таськиным дыханием, дрожу ее дрожью, кружусь, кружусь в карусели сладчайшей, пьяный от всего случившегося за вечер, от сгинувшей тревоги, спокойствия за уснувшую жену, от веселья, отчаяния, чудесных настоек, патефона, кружусь и слетают с меня золотые невесомые стружечки времени, заворачиваются на глазах в вечные локонки, и — прижат я, не вырваться, как прижата бывает бусина металла к станине, к Таське...

— Нет... нет... — сказал я, удивляясь одновременно чему-то чужому в своих манерах и в голосе, когда Таська прокружила меня наконец в пустую комнату. — Нет... Тася, что ты...

Но не тут-то было. Она все больше входила в роль мужика, она просто становилась, бесовка, мною, как я ею, и, покрывая мое лицо поцелуями, повторяла мои слова:

— Возрадуемся, ибо мы живы. Возрадуемся...

— А жена? — чувствуя, что слова эти не более чем пустопорожнее девичье лепетание, говорил я, и Таська, умница, покорила меня последней, убойной, чисто мужской хитростью: душевным тактом. Ни слова больше не говоря, как бы внушая мне, что все последствия и всю вину за готовое случиться она берет исключительно на себя, Таська каким-то

непостижимым образом, не выпуская меня из рук, открыла дверь нашей квартиры (вполне возможно, что она открыла ее заранее) и уже в подъезде еще раз произнесла мои же слова:

— Возрадуемся, ибо мы живы...

— Ты что? А она?

— Она спит, — убедительно шепнула Таська.

Мне нравилась, меня ужасно возбуждала эта навязанная нам приятным случаем нерво-трепка игры, и, как всегда это бывает с охмуряемыми, но не безразличными к мужику бабешками, если, разумеется, я не ошибаюсь, я почувствовал укол совести и дальнейшую невозможность сопротивления. Просто это было бы неприлично. Неприлично было человеку в моем возрасте продолжать игрушки в обмен полами, неприлично. Я дал понять Таське одним жестом, что мы и сами с усами, но она умоляюще попросила не разрушать ее наслаждения и все делать сегодня так, как ей хочется:

— Ты иди... иди... ничего не говори... иди, Давид...

Даю слово: я поднимался по лестнице на Таськин этаж с юношеской томительной слабостью в коленках, и дыхание мое было частым, но не отдышечным, стариковским, а взволнованным, как тыщу лет тому назад, и я грустно чувствовал вкус жизни и думал: «Боже мой! Как мало мы живем, как мало, потому что если вычесть из моей, например, не такой уж невезучей жизни все имевшее отношение, соб-

ственно, к моему личному существованию, к моей душе и к моим страстям, то останется несколько золотых крупинок, несколько блестящих камешков, притягивающих обращенный к ним взор глубиной бесконечности». Наверно, это не так уж мало, могло ведь и того не быть, если жизнь не промывает ваш взор радостью удивления, а затягивает его постепенно кутячьей подсиненной пленкой безысходности и уныния.

И вот мы заходим в Таськину вдовью, холодную (было открыто окно, из которого выкинули физкультурника-растлителя) квартиру, и она на пороге берет меня в оборот: целует в засос, так что сердце к горлу подскакивает и опускается, подскакивает и опускается, и сама, не доведя еще нас обоих до широченной постели, шалает от желания. Не скажу, что мне было неприятно оставаться до конца в роли ловко совращенной, безропотной бабенки. Наоборот, когда Таська «культурно» завалила меня на постель, не расстелив ее, и аккуратно стянула с меня брюки, не путаясь, к моему удивлению, в конструкции брючных застёжек, очень уважительно, я бы сказал, стянула, и нежно придавила ногою мое «хозяйство», наслаждаясь стопроцентной гарантией скорого обладания, я простонал:

— Давай, Тася, давай...

И поскольку руки ее были заняты развязыванием моего галстука, то я своими свободными руками нашел на Таськиной юбке «мол-

нию», снял сначала юбку, затем неправдоподобно маленькие и легкие, словно пух, трусики и хотел обратиться в мужчину. Но Таська предупредила меня. Мне оставалось только забыть. Все остальное делала она сама. Постель, несмотря на огромность, просто поле любовного боя, а не постель, была достойно твердой, а мы оба ужасно жаркими, но никуда не спешащими, со слетевшим с нас вместе с одежкой вечерним хмелем. Ах, каким мужиком, скажу я вам, была бы Таська, если бы она была мужиком. Боже мой, это был бы нежный, сильный, твердый, смешной, пылкий, неэгоистичный, приятный, родственный и обольстительный мужик. И поверьте мне, если бы я в свою очередь был бабенкой, то я был бы бабенкой что надо. Цимесом я был бы и видел бы счастье призвания в данный и последующие несколько моментов в соответствии моему милому, в стремлении ублажить его под самую развязку, не забывая, конечно, при этом по-бабьи и о себе...

Если, прочитав это письмо, вы позвоните мне, как в прошлый раз, не помню, по какому поводу, и скажете, зачем я пишу всякие незначительные вещи, то я вам отвечу так: эти, на ваш взгляд, незначительные вещи имеют огромное и существенное значение для памяти о моем прошлом, о моей жизни. И никто, кроме меня, не может попытаться их описать. Если бы я еще читал в советских отштампованных книжечках о чем-либо подобном (случайные

половые связи замечательного представителя рабочего класса), то, возможно, мне не представилось бы необходимым взяться за неопытное перо. Но ведь нет ничего такого про личную, разную, всякую, чистую, греховную, запутанную, ясную житуху так называемых простых людей. Нет.

Пускай писателю Брежневу и его жополизам кажется, что в трех книгах описана целая эпоха жизни всей советской нации. Какая там эпоха, когда в трех книгах этих нету ни единой судьбы человека, кроме судьбы самого Брежнева, непонятно как сделавшего сногшибательную карьеру и шарахнувшего с помощью наемных писак якобы «Войну и мир» нашего времени. Какие-то Наровчатовы внушают, что там я найду глубокую мудрость. В чем эта мудрость? В деятельности партийного руководителя, погоняющего солдат — в бой, рабочих — на восстановление разрушенного и сельских тружеников — на производство зерна? Если не вдаваться в выяснение причин, из-за которых было проиграно нами с ужасными жертвами начало войны, то хочется спросить у писателя Брежнева: а кто подгонял в бой русских в 1812 году и надо ли было их подгонять и разьяснять в перерыве между боями необходимость сопротивления супостату? Кто подгонял пролетариат Германии и Японии не только восстановить разрушенное, но и обогнать по многим показателям, включая главный — уровень жизни народа, — своих победителей?

Кто подгоняет американских фермеров кормить собственный народ и еще сбывать излишки зерна «родине самого передового в мире сельскохозяйственного производства»? Политруки, что ли?

Политрук — это протез, присобаченный вместо отнятых рук и ног к телу народа, к телу страны. Это искусственные мозг, порою сердце, печень, кишки, член, прямая кишка, легкие, мочевой пузырь, глаза и прочие органы, трансплантированные в организм производственной и культурной жизни народа на места собственных органов, пришибленных или же удаленных во время исторического эксперимента, величаемого строительством коммунизма. Особенно трудно одному, десятку или сотне тысяч политруков заменить собою мозг нации, ум нации и государства. И совершенно уродливы и бесполезны их попытки действовать в роли чести и совести нашей эпохи. Мрак наступает в душе от всего, что нам известно об умственной, сердечной и прочей иной недостаточности в деятельности политруков.

Это все я дословно цитирую из амбарной книги...

Виноват. Занесло.

Но не думайте, что все тогда в Таськиной постели кончилось благополучно. Наоборот. Переоценил я состояние своего здоровья. Вернее, желание ввело меня в заблуждение, а мужская прыть укрепила в нем, и я развернулся, как бычок, во всю гармошку (аккордеон).

Вдруг после одного, не будет лишним заметить, из многочисленных приятных моментов мое пробарабанившее весь вечер сердце, очевидно, подумало, что все происходящее в Таськиной постели больше не имеет к нему никакого отношения, и стало останавливаться. Я на это пробовал не обращать внимания, поскольку в те минуты дело было вовсе не в сердце. Я, откровенно говоря, не нуждался в этом важном органе моего тела, но оно как-то досадно трепыхалось, нарушая, как говорят политруки, ритм работы целого коллектива, так что я даже прикрикнул на него по-политрукски: «Давай! Чего ты там? Давай!...» И оно дало мне. Можете быть уверены. Дало. Я полностью, даю вам слово, был некоторое время после остановки моего сердца на том свете.

Открыв глаза, хватанув ртом воздух и чувствуя смертельный холод и синеву собственных губ, я увидел над собою голую Таську, не совсем еще поверившую в мое счастливое возвращение с того света. И лоб мой тоже холодила испарина... побывал мой лоб в запредельном холодище. Отпотевал лоб, как, впрочем, отпотевали блаженно и грудь, и плечи, и руки, и живот, и ноги, а виновника всего этого происшествия я даже не ощущал, как будто и не имелось его вовсе, он как бы покинул меня из-за страха разоблачения и наказания.

Таськин лик, подобный лику возвращающейся жизни — заплаканный, ужаснувшийся, жалкий, радостный, смятенный, — проступал

все явственнее, торжествующе, основательней и правдоподобней перед глазами.

— Быстро, домой меня, — прошептал я. — Этого еще не хватало: помереть на бабе.

— Господи!.. Господи!.. — Таська приложила к моей груди ухо. — Минуту тому назад не билось... Не дышал ты, Давид... Клянусь, не дышал! — говорила она и щупала мой пульс, одевала и была так потрясенно счастлива от моего избавления, что сердце, словно прощая все и ей и мне за грех соблазна, настраивалось, хоть и слабо еще, на жизнь...

— Может, не двигаться тебе, Давид? — сказала Таська. — Полежи. Отдышись.

— Погорим мы так с тобой, люди грешные, — усмехнулся я.

— Ничего. Мало ли что по пьянке бывает? Ну, застукает тебя жена. Не простит, что ли? Я бы простила. Ты — муж хороший, а она свое отслужила. Как же быть мужику? Правда?

Я был не в силах еще реагировать на все сказанное. Лишь приятно мне по-человечески было, что Таська не спешила избавиться на всякий случай от помиравшего человека. Я сам спешил поскорей смыться. Какой бы жаркой, скажу я вам, ни была безлюбовная вот такая, пьяная чудесная похоть, она — как с гуся вода, не помнится она, словно и не было ее вовсе. Вернее, мы сами были двадцать минут назад такими, какими никогда больше не будем, и поэтому сопротивляемся попыткам образа тех мимолетных минуточек навек в нас запечатлеться...

Лестница нашего подъезда показалась гостеприимной. Всплыло в памяти невольно, как в первый раз после ужасного ранения и частичной контузии спускался я, держась за перила, чтобы не свалиться в обморок, а может быть, куда-нибудь поглубже. Я шел по самой его кромочке, чувствовал, что меня неудержимо заносит в темную бездну, в руке не было сил держаться за перила, я покачивался, стараясь сохранить равновесие. И в тот момент, когда уже принялась выстилать изнутри мое тело глубокая тишина примирения с судьбой не жить, наверное, сама жизнь — она бесконечно сильней и мудрей нас — выпрямляла меня, неизвестно, с помощью каких опор, одолевая силы тяготения смерти.

Вера спала. Федор с соседом пили и беседовали. Все обошлось без намеков и шуточек в наш адрес. Но только я сел за стол и открыл рот, чтобы сказать, не помню уж что, как снова провалился во тьму. Это был второй за тот вечер приступ. Очнулся я от кашля, сотрясшего тело. Закашлялся же я от коньяка, попавшего не в то горло. Я полулежал на диване, и в комнате было свежо от чистого воздуха осенней ночи. Откашлявшись, я допил коньяк. Поднесла мне его Таська. Самочувствие мое мгновенно, просто мгновенно стало изумительным. Я почувствовал какую-то неправдоподобную легкость в теле, какое-то примирение в нем всех моих печенок, желудков, щитовидок, пузырей, мозгов, глаз, ушей и, главное, сердца с

членом и его яйцами. Я взлетел с дивана, словно надутый волшебной газовой смесью, взлетел, не выпуская из руки пустой рюмки и смотря на янтарную капельку коньяка на стенке как на чудо, заключавшее в себе спасительное благоволение ко мне Бога.

Шестеро глаз, трое людей, следили за моими осторожными движениями по комнате со страхом и надеждой. Но я должен был побыть наедине с самим собою и с тем, чем я был наполнен, с тем, что пыталось стать во мне выраженным мыслью или желанием, однако еще не могло, не дозрело, но пыталось, пыталось, пыталось...

Я пытался воспринять веление судьбы, с тем чтобы следовать ему, но не понимал тогда, что именно в те минуты была мне дарована полнота свободы, не нуждающаяся в дополнительном выражении словом. Я стоял у окна, которое только что, час или два назад, было выбито зловещим камнем, и острые края стекол надсадно драли зияющую тьму, как драли только что они мою душу, но теперь стекло было вставлено, пахло свежей замазкой, кусочки старой валялись на подоконнике среди маленьких гвоздиков с откусанными шляпками, стружками и стеклянными осколками. Вставлено было стекло. Я спокойно, вернее, свободно смотрел в темень. Для смотрящих с улицы бандюг я, конечно, прекрасно был бы виден, но не было во мне ни страха, ни гадливости. Злодеи перестали для меня существовать.

Перестали, и все. И благодаря освобождению от какой-то дьявольской зависимости от них я мгновенно обмозговал всю ситуацию своей жизни, а если говорить точнее, то ничего я не обмозговывал тогда: просто я уже следовал. Обмозговывание было подобно отрешенному и безответственному разглядыванию путником из окна вагона тающих позади картин земли, ее деревьев и живых тварей. Я уже следовал, и это такая невероятная радость, когда остается позади предстоящее, что сравнить ее не с чем. Ее необходимо стараться испытывать как можно чаще лишь для того, чтобы наслаждаться ею вне сравнений с чем-либо. *Потому что свобода — это доверчивое следование судьбе, свобода — абсолютное доверие Богу, а благодарность Ему, полная благодарность Ему за все, то есть за судьбу, наверно, и есть счастье.*

Я не мог теперь представить вещи, если позволительно так говорить, требующей большего утверждения своей единичности, чем судьба человека, чем путь его следования судьбе и вере в путность этого следования, именно в путность. что не одно и то же с правильностью. Вера в путность и есть судьба, а доверие просто счастье, которое вспархивает инстинктивно, как птица, едва только учуяв нашу попытку заключить его в клетку обмозговывания. Народ, дорогие, прошу не путать народ с гражданским населением, народ — он мудр. Это — народная мудрость: счастье не птица, в

руки не возьмешь. Когда я теперь вспоминаю хитрые слова беспутного Максима Горького: «Человек создан для счастья, как птица для полета» (их любила повторять бедная и несчастная моя девочка), я понимаю, как они, ко всему прочему, дьявольски завлекательны и коварны. Ведь мы выхватываем из хитрого прельщения только первые слова, жадно и бездумно усваиваем, понуждаемые союзом «как» к сравнению нас с птицами, и чумеем от требовательных претензий к самой жизни соблюдать правила игры, гарантирующие нам ежеминутное подтверждение реальной возможности счастья.

Давайте же вообразим себя ненадолго птицами, прочитавшими романтические слова своего собственного Буревестника: «Птица создана для счастья, как человек для ходьбы». Прочитали птички крылатую фразу Буревестника, и так она многим из них запала в душу, что, приняв естественный способ передвижения человека в пространстве за выражение предельного счастья, к которому надлежит неукоснительно стремиться, они по-птичьи трогательно запутались в халтурных силках несложного софизма и перестали летать. Не могли больше летать из-за ужасного разлада между психикой и двигательными реакциями своих изумительных конечностей — тоже чуда создания — парой крыльев. Болезнь нелепого и тупого уподобления вмиг превратила блестящих летунов в способных ходоков, ибо в пешей погоне за счастьем они начисто забыли о полете, а когда спо-

хватились, было уже поздно: чудотворные мышцы крыльев атрофировались. Летуны вперевалочку, враскорячечку, вприпрыжечку, помогая себе при ходьбе бывшими рулями — попками, гузками, хвостовым оперением, — топали и топали, с муками добывая хлеб насущный, и добывание его наконец стало для них проклятием. Они слишком далеко зашли, погнавшись за тем, за чем гнаться было нелепо, и обесмыслив существование отступничеством от прекрасного и естественного назначения — от полета. «От полета — куда?» — возможно, спросите вы. Беру на себя смелость ответить вам: никуда и всегда куда надо. На поле. На кучу теплого навоза... на песенную ветку яблони... на ладонь с крошками белой булки... на игру с потоком воздуха... в холод волны за рыбешкой... на зимовку... на гнездовье... на охотничий манок... никуда и всегда куда надо... Вот что я вам скажу. Ну а для чего полет? Этого никто не знает. Но не будет ни преувеличением, ни преуменьшением, ни лукавством, поскольку иного ответа ни нам, людям, ни птицам знать не дано, ответить на этот тоскливый и приходящий чаще всего на ум заблудшим существам вопрос: «Ну а для чего полет?» — недвусмысленно и просто: для жизни.

И вот я возвращаюсь, попетляв, к тому, что мое счастье, как, возможно, и ваше: следовать. И теперь я понимаю, что я считаю свою жизнь счастливой лишь тогда, когда следовал.

Следовал, доверяя. На фронте для решения следовать отпускается иногда ничтожная частичка секунды, даже если ты следуешь прямо в пасть смерти. С божьей помощью я выжил. Я отказывался от выигрышного, но небезупречного поведения, и вот — совесть моя чиста. Я преступил через гадливость и ненависть в душе к предателю своему и стукачу, и вот — душа моя стала добрей и умудренней. Я много раз нелепо рисковал, но это не без пользы для моего уважения к жизни. Бывало, я плутал, но возвращался, наломав немного дров, к тому, что составляло суть и радость моего пути, моей судьбы. Каждый год моей жизни, каждое ее мгновение, даже если оно было невыносимо тяжким и отвратительным, прибавляли к припасам моего благодарного отношения к Судьбе и Богу некую новую долю. Грешил ли я? Очень много. И по своей и не по своей вине, но чужую вину при следовании моем черт знает куда — считал и считаю своей собственной виной. Грешил. Но я рад возможности распознавания греха. Покаяться рад и сокрушиться. Ведь жить — это не на эскалаторе ехать вверх и вниз в московском метро. Я знаю, что вы или напишете, или спросите меня при встрече, как это я, пожилой человек, мог позволить себе распуститься в каком-то мелком вальсе? Как я позволил вообразить себя блудливой к тому же бабёнкой и дойти до того, чтобы не быть уверенным, какой именно орган у меня между ног? Как я решился блядовать, пока

жена больная спит, и чуть-чуть не отдал концы в постели легкомысленной вдовы? А потом, вместо того чтобы отлежаться, едва не умер во второй раз, но воспрянул, можно сказать, с одра и на радостях стал воспевать судьбу? Как я могу так себя вести? Виноват, но вы знаете, дорогие, я чувствую, что ничего не сумею вам ответить. Не сумею. Захочу, но не сумею. Невозможно ответить. Я знаю, что я не хотел бы быть другим человеком, но это не будет ответом на ваш вопрос.

И вот стою я у окна и смотрю на город, где прошла моя жизнь. Смотрю и уже прощаюсь с ним, следуя велению судьбы и не противясь ему. Еще никто ничего не знает, и сам я не знаю, как оно все произойдет, но это неплохо. Это — к лучшему, когда не надо вдаваться в детали. Я понимаю, что судьба дарует нам за повинование легкую, на некоторое время, беззаботность, а я, в свою очередь, предоставляю ей заниматься тем, в чем я никогда не разберусь, даже если приложу большие усилия. Приятно, скажу я вам, не предвосхищать неведомого, а прощаться, стоя двумя ногами на берегу разлуки, хотя никому не дано знать: что там в неведомом ожидает нас — прочные беды или радостные случайности... Никого нет в такие минуты в душе человека, потому что вся она до последней капли внимания обращена к лику Судьбы и напитывается тем, что поддерживает ее в следовании, — верой. Все, что ни делается, — к лучшему. Вот моя путевая, так

сказать, вера. Ничего я сейчас друзьям не скажу, жену свою не разбужу, любовницу не привлеку к дальнейшей страсти. Все равно я не смогу с помощью слов рассказать им о только что случившемся с душою. И в смерть на мгновение я низринут был для того, чтобы оставить там многие тяжести, приковывающие меня к месту, тяжести, благодаря которым врос я в эту землю, в этот быт, в людской круг, в язык, в привычки, в труд и во все другое прочее, способствующее течению жизни. Что же делать, раз здесь жить больше нельзя, в том смысле, что жить здесь больше не дают? Не дают. Уж если самим русским людям не дают житья идеология проклятая и ее обезумевшие слуги, то евреям грех было бы, кажется, позволить забыть, что они гости, ставшие нежелательными персонами. Что же делать еврею, которому напомнили, что он еврей, несмотря на трудовой стаж, заслуги, общественную деятельность на пользу людям и любовь к родине, своей жизни, жизни своих детей, смерти своих детей?.. Что ему делать? Это тогда у окна происходил в никем не нарушаемой тишине моей души плач по всему, что предстоит вскоре покинуть. Я понял, вернее, почувствовал, как уже начали отрываться от души первые нити, связывающие ее с каруселью моей судьбы в этом государстве, а точка боли, куда сходились вся боль от мысленно разрываемого, от воспоминаний, точка боли печальной и тяжелой, но благословенной и необходимой человеку в та-

кие минуты, была в сердце. И ничего — оно как бы давало мне понять, что боль такого рода не худшая и не неприятнейшая из нагрузок и что сердечное недоумение перед тупым насилием и бессмысленной ненавистью власти куда тяжелей, разрушительней, а главное, напрасней...

И подобно тому как в первые месяцы войны я; выйдя с Федором и другими солдатами из безнадеги окружения, дал нашей единственной коняге, можно сказать, нашей спасительнице, кобыле Зойке, выпить портвейна с водою, чтобы она взбодрилась хоть на миг, а не подохла от смертельной усталости и лошадиного уныния, которому тоже есть предел, — я дал, как той лошади, своему сердцу еще коньяку. Поистине, дорогие, мы молодеем, как только следуем судьбе. Молодеем, другого слова я не подберу, ибо согласный отклик наш на зов судьбы — молодость. И, выпив еще, я почувствовал сильнейшую необходимость поговорить, голод я почувствовал по беседе с Федором и с самим собою.

И в разговорах как-то забыли все мы, особенно я, о том, что я уже следую, что началась, по сути дела, — с прощания раннего в душе и плача по прошлому — моя новая жизнь. Началась в свой срок, не считаясь с тем, что выпало мне на старости лет нежное приключение и что придется его умертвить и безжалостно разорвать в тот момент, когда я ошалел от страсти к женщине, от всего этого печального валь-

са, от всей этой карусели, от смерти, оклемашки (воскресения) и нового состояния, подобного бесстрашной молодости.

Потом Таська ушла по-королевски, не предъявляя на меня любовных прав, но и не демонстрируя пошлого недовольства. То есть вела она себя так (не хитрость ли это бабья?), что я испытывал к ней кроме прочего чувства еще и благодарность, которая, как известно, ужасно возбуждает.

Вот такая, дорогие, карусель.

На следующий день нацепил я все свои ордена и медали фронтовые и трудовые и зашел с легким звоном в приемную КГБ. Назвал себя. Повестку протянул. Пришел за мной в приемную невзрачный цуцик, намекая распертостью ничтожно-мелких черт лица на причастность к тайной полиции, к органам, мать их ети, провел молча по коридорам и лестницам.

— Здравствуйте, Ланге, — сказал мне в кабинете внешне довольно приятный мужчина. — Садитесь. Поговорим.

Я попросил его всмотреться в меня получше, составить, так сказать, обо мне впечатление. А я, говорю, подумаю, как в вас уживаются чисто человеческое наблюдение и разумение со служебной наблюдательностью. Вы ведь, говорю, если человек неглупый, то должны понять, что я никакой не враг народа. Моя биография тому свидетельница. Я протестую и желаю знать, почему ваши органы доходят до гнусных бесчинств? Говорил я абсолютно

спокойно и добродушно. Мужчина открыл сейф и достал оттуда амбарную книгу.

— Это тоже, по-вашему, свидетельство политической благонадежности?

— Политически благонадежным человеком, — говорю, — я должен быть сам для себя. Это мое личное дело, о чем и как думать. Тем более, — продолжаю, — все высказывания в этой книге, все мысли и наблюдения продиктованы, — я подчеркиваю это слово, — глубокой озабоченностью судьбой страны и судьбой людей. Вы сами-то прочитали?

— Прочитал.

— С интересом?

— Я все делаю с профессиональным интересом.

— Могу, — говорю, — поспорить, что вы согласны, если вы неглупый человек и не сумасшедший вроде Карпова, с девяносто девятью процентами написанного. Тут речь идет об очевидных вещах, кроме, может быть, рассуждений о Постороннем Наблюдателе и «пора, пора, ебена мать, умом Россию понимать». Кстати, они и свели с ума товарища Карпова. Как его здоровье?

— Слушайте меня внимательно, Ланге. Мы поступаем довольно либерально, не привлекая вас к ответственности. Неужели вы, как неглупый человек, не понимаете, что в этой ситуации, создал ее, между прочим, не я, вам лучше всего уехать вместе со своей семьей. Со всей семьей. Принцип воссоединения семей я

понимаю как принцип сохранения семей. Мы не можем дать разрешение только вашему сыну. И давайте не будем вдаваться в детали дела. Аннулируем визу.

— Меня, — говорю, — очень подмывает принять вашу точку зрения, но я отвечу вам так: я понимаю серьезность ваших угроз для своей жизни. Два булыжника я уже передал в дар музею рабочей славы при нашем заводе. Там сняли со стенда мои фотографии. Пусть на их месте красуются булыжники. Кстати, где их берут ваши молодчики? Остатки от 1905 года, что ли? Так вот. Я вас не боюсь. Я вас не то чтобы не боюсь. Я вам не придаю значения. Так вот, никуда я не поеду. И я хочу, чтобы вы как следует поняли, если человек пожелал постоять на своем, то он стоит.

Мужчина закурил и молча, без видимой неприязни, смотрел мне в глаза. Он думал обо мне. Изучал меня. Что-то прикидывал. Смотрел в окно. В календарь. Шагал из угла в угол. Затем сказал:

— В жизни, Давид Александрович, случается такое, что мы не в силах изменить порядка вещей. Он нам предложен, и, конечно, наше дело, соответствовать ему или не соответствовать. Разговаривать нам бесполезно. Я почему-то думаю, что вы упрямитесь несерьезно. Мне кажется, что вами уже обдумана ситуация и принято решение. Если так, то это говорит о вас как о человеке серьезном, который не пропадет нигде и никогда. Если я ошибаюсь, зна-

чит, я еще плохо разбираюсь в людях. Теперь порассуждаем логически: вы обдумали ситуацию и приняли решение, вернее, решились. Тогда почему вы приходите и упрямитесь, якобы бросая перчатку всем и вся? Почему?

— Мне ответить или сами скажете? — спросил я, чувствуя, извините, дорогие, какое-то удовлетворение от беседы со своим умным врагом, а может быть, и не врагом, черт его знает, он же на службе, в конце концов. Я знаком с одним полковником, который, как мальчишка, болеет за диссидентов, любит Сахарова, читает запойно Солженицына, а работает замначальника политуправления армии.

— Я вам скажу. Вы пришли поторговаться.

— Хорошо, — говорю. — Уверен, что мы пойдем друг другу навстречу. Можете считать это желание непременным свойством еврейской натуры. Я пришел поторговаться.

— Не считаю. Говорю это для того, чтобы не показаться идиотом. Я знаю, о чем вы попросите.

— Не убежден, — сказал я.

— Зря. Я профессионально узнал о вас все, что можно было узнать. Все. Хотя знание такого рода никогда не может быть исчерпывающим.

— Как вас звать прикажете? — спросил я.

— Семен Петрович. Дабы вы не думали, что я тонко ловлю вас на пушку, скажу следующее: стопроцентной уверенности в правильности догадки у меня быть не может. Верно?

Верно. В общем, вы хотите, чтобы Пескарев тоже получил разрешение уехать?

— Да. — сказал я. — Хочу. — И покраснел, как уличенный в хитрости пацанчик.

— Вот это мне нравится. Не люблю, когда долго думают над ходами. Играть так играть.

— Херово только. — не удержался я. — что больно все вы, включая ваше высшее начальство, заигрались. Подменили интерес к жизни интересом игровым. И плевать вам на все судьбы человеческие и мировые из-за любви к судьбе вашей игры и вашей команды.

— Знакомые мысли. Но ведь вы тоже, Давид Александрович, не будучи политиком, дипломатом и контрразведчиком, начали с игры. Не правда ли?

— Правда. Но я только отыгрываюсь, в отличие от вас. И эту игру паршивую навязали мне если не лично вы, то ваши игровые органы. Не могу не думать о судьбе друга.

— Не заставлю вас ждать. Ход наш готов. Пескарев может получить разрешение. Нами задержан вызов, который вы ему «сделали». Завтра же перешлем. Тут сложностей не будет. Остается главное. Это уж вы берите на себя.

— А если он откажется?

— Мы пресечем любыми средствами его враждебную СССР так называемую правозащитную деятельность. Вас я считаю человеком заблуждающимся. А Пескарев — враг. Озлобленный и умный враг.

— Вы, я вижу, хороших и сильных игроков считаете своими врагами.

— Приятно побеседовать с неглупым человеком. Чем скорее вы подадите документы в ОВИР, тем будет лучше, — сказал Семен Петрович. — Согласитесь, что наперекор всем вашим мрачным пророчествам страна наша прогрессирует и в области права. Тридцать лет назад эта беседа протекала бы у нас по-иному.

— Это верно, — говорю, — но вы ведь об этом прогрессе говорите с сожалением. Чего уж там? Ведь легче было бы врезать мне пресс-папье по макушке, чем торговаться. А если вы сожалеете о невозвратных временах, значит, не от силы собственной, благородства и уважения перед законом ведете вы со мною беседу в таких рамках, а от страха, слабости позиции, растерянности и зависимости. Хотя мне тоже было приятно поговорить с неглупым человеком. Может, еще Председателем Совета Министров станете.

— Я позвоню вам сам. До свидания, Давид Александрович.

Честно говоря, не знал я, как отреагирует Федор на мое предложение. Но не мог я не предложить вырваться из этого темного леса человеку, за которым следят, знают, что он заварил кашу с историями болезней диссидентов, человеку, отсидевшему свое и не реабилитированному, то есть, по их мнению, озлобленному антисоветчику. С этого я и начал, но долго не рассусоливал. Так, мол, и так. От-

стать они теперь от тебя не отстанут и покоя из мелкой крысиной злобности не дадут. Не посадят, так затравят. В общем, решай, говорю, Федор.

— Решать нечего. Остаюсь. Некуда мне ехать, — сказал Федор, и больше мы на эту тему не заговаривали.

Я, продолжая спешить, крутил роман с Таисией и чуял, что пора совесть знать. Пора или расставаться, или без последних трусиков остаться. И однажды сижу я, ужинаю, в глаза стараюсь не смотреть Вере и думаю, что вот приходит пора, когда к жене начинаешь относиться как к сестре и к матери и ничего с этим не поделаешь, дошла до подобного грустного факта наша жизнь. Да и Вера после своих болезней, после смерти Светы перестала испытывать ко мне интерес. Ляжет в комнате, смотрит в потолок, вздыхает и рано спать ложится. Сижу я и ужинаю, черт знает какую дрянью мучную с морской капустой и с томатом уминаю. И вот Вера говорит мне:

— Вчера звонил какой-то человек. Он сказал, что ты живешь с Тасей. Я понимаю, что они хотят меня расстроить и доконать.

— Что ты им ответила? — спросил я.

— Я сказала, что сама обо всем знаю и что у моего мужа, слава богу, своя голова на плечах. Если он спутался с бабой, то ему виднее. Значит, так надо.

— Вера, — говорю, — не прощай, но не вини меня. Больше ничего тебе не скажу.

И давай собирать вещи. Давай повеселеем, а то в нашем доме уныния столько, что хоть топор вешай.

— Ты-то не унываешь, — сказала Вера. — Но я тебя прощаю. Не знаю почему, но прощаю. Это сильнее моей обиды и унижения. Просто жизнь кончилась для меня раньше, чем для тебя. Пока ты разгуливал, я собрала все документы.

Боже мой, как я тогда плакал по-детски и, наверное, по-еврейски. Я сел на пол, плюнул в морскую капусту и заревел от всего вместе: от плюгавости органов, собственного несвоевременного свинства, от близости отъезда, Таисьиной любви и страсти и, конечно, от вины, стыда и великодушия Веры — жены моей единственной, состарившейся на плече моем, под рукою моею, в сердце, боже ты мой, моем.

— По-моему, ты ударился в детство, — сказала Вера. — Со старыми пердунами это бывает. Иди ложись спать. Завтра мы идем в ОВИР.

Я выпил стопку водки и поплелся спать. Засыпая, я слышал, как Вера говорила по телефону Вове:

— Нет худа без добра. Теперь мы уедем все вместе.

Мы в Москве. Я уже писал про новую свою квалификацию упаковщика-отправщика еврейского и прочего перелетного багажа. Ждем разрешения, ждем, должно оно было как

будто быстро последовать, а вот нету его, и все. Торопиться некуда, повторяю, но душа временами взбрыкивалась, не терпелось ей, видно, в новое странствие. И из-за Федора она ныла. Ноет, ноет, ноет, так что иной раз срывался я на электричке в наш город и бежал к Федору, а потом мы оба шли к Таисье, выпивали там, беседовали, и мечтал я, как полный мудозвон (непереводимо), очутиться вот так втроем где-нибудь, скажем, на берегу Тивериадского озера или в Нью-Йорке вашем, сидеть там за столиком, щурясь на солнце и не спеша присматриваясь к странному образу заграницы. Мечтал. Но не думайте, что Федор был поводом для свиданки с любовницей.

Ну а вскоре понеслись все события, как пьяные зайцы с горы. Разрешили. Не могу сейчас вспоминать суету, какие-то покупки, улынку, грандиозное прощание, которое я устроил на всю полугодовую пенсию и напоил весь свой цех. Ночью пробрался на завод, лобызался, пьяный, со своей старой каруселью, лоб горячий на холодную станину, как на могольную плиту, опустил, слова говорил, слезу смахнул, вдохнул кислотоватинку железного воздуха цеха, стружки завиток, моренной во всяких маслах и эмульсиях, в карман положил. Я проработал тут всю свою жизнь. Всю свою жизнь. И я сказал спяну старой моей карусели:

— Прощай. Крутись. Может, еще свидимся. Мало ли что бывает. Может, мы еще дадим раскрутки.

Вера больше из Москвы не уезжала. Ей не с кем было прощаться в нашем каменном городе. С булыжниками она уже простилась.

Таможню я все же надул под конец. За две недели до отъезда подал заявление в милицию, что у меня в метро из портфеля украли коробку с орденами и медалями. Взял справку об этом. А погремушки свои дорогие, заработанные кровью и потом, хоть они теперь в глазах детей и политруков ничего не значат, я притырил, будьте уверены, так что ни одна падла шмональная носом не повела. Нет еще у них таких носов и приборов...

Сели в самолет. Летели. Прилетели. Сном это было во многом. Сном. Я еще напишу об этом, если соберусь сочинять роман о всей своей жизни в лице иного героя или воспоминания, которые Федор посоветовал мне называть «Отсебятина».

Эти строки я пишу, сидя на скамейке в Венском парке. Напротив меня — композитор Брамс, рядом — Федор. Моя Вера, дети и внуки уже в Иерусалиме. А мы с Федором живем в отеле «Три кроны». Ждем визу в Штаты. Отношение к нам везде прекрасное. Я иду по еврейскому фонду, а он по толстовскому.

Не удивляйтесь, но Федора все-таки поставили перед выбором: или тюрьма — и из нее уже не выйти, — или отъезд. И Федор, к нашей общей неожиданной радости, прислушался к судьбе, повеселел и собрался буквально за неделю. Посмотрим, говорит, в конце-то кон-

цов белый свет, чтобы подышать было не обидно. В крайнем случае можно и повеситься от той же тоски.

Так вот, сию я в большом таком сквере, недалеко от Венской оперы. Напротив меня — композитор Брамс, серо-мраморный, рядом — Федор, живой и невредимый. Я отправил счастливую после всего пережитого семью в Израиль, а сам дождался Федора. Я лично хочу по прибытии в Штаты ознакомиться с жизнью и трудом рабочего класса на большом заводе. Мне радостно думать, что я и белый свет немного повидаяю, и махну потом к своим. Туда, где произошло в давнем времени первое колесо моего существа. Не знал я прежде этого чувства, этого нежнейшего волнения ожидания возвращения к тем краям, где я был и никогда не был, не по своей вине став блудным сыном. Разве не молодо и не странно думать о фартовой масти (удача), выпавшей вдруг на долю именно мне, одному из многих сгинувших в свой час или от преждевременного насилия на чужбине, но не переставших мечтать о возвращении? А ведь я лично, не буду лукавить, не мечтал об этом, не хотел ехать, вы это знаете, сопротивлялся, но проняло-таки и меня властное чувство истинного родства. Проняло. Не я его искал. Оно меня нашло. Потому что я плохой, с точки зрения моего сына Вовы, еврей, думающий только о себе в сегодняшнем своем облике, а не о тех, которые мне наследовали, по его, Вовинуму, биологическо-

му разумению, каждую клеточку, каждый ген своего тела, с тем чтобы все они по воле моей судьбы возвратились наконец к окаменевшим от ожидания живым стопам Отечества и умиротворенно припали к ним после тысячелетних блужданий, в моем, точнее будет сказать — в своем наипоследнейшем образе.

Это Вовины слова, в которых нелегко разобратся. Очевидно, он прав. А я с судьбой согласен. Но я считаю все же, что в этом вопросе не должно быть никакого руководства, граничащего с насилием над судьбой каждого еврея. Не должно быть. Потому что насилие над судьбой человеческой унижительней притеснения гражданских прав и самой смерти. А принуждение к любви, к долгу малодостоинно и напрасно.

Вот посмотрю я, дорогие, на вас, на ваши Штаты, на балбесов Сола и Джо и намылюсь (улечу) к своим. Буду воспитывать внуков, спорить насчет международного положения с советскими умниками из России и, может быть, продолжать сочинительское дело. Так и потянуло меня, как только я прошел в первый раз по венским улицам, тиснуть (написать) для друзей и незнакомых людей в оставленном городе моей жизни о заграничных впечатлениях.

Так и потянуло, в меру своих сил, рассказать им о том, как живут за границей, как жрут, как пьют, сколько зарабатывают, какой образ жизни ведет рабочий класс и так далее, потому что в советской лживой, гнусной и однообраз-

ной, как хронический понос, а иногда и запор, прессе ни черта, ни словечка не говорится об этом нормально, объективно и доброжелательно. Ведь можно ненавидеть миллиардеров, если это чувство не противоречит вашему достоинству, но о рабочем-то классе, скажем, Австрии почему не написать? Чего он добился? Выполняет он план без понукания парторгов или не выполняет? Чем обзаводится работающий на заводе человек? Как время убивает? Не напишут об этом никогда. Будут изгаляться во лжи, но не напишут. Отвлекать будут внимание советских работяг от взгляда на уровень жизни западного рабочего ужасами гангстерских взаимоотношений, банкротством Нью-Йорка, землетрясениями, крушениями, инфляциями, хроникой светских безумств кинозвезд, повышением цен на продукты, сказками о бедственности и бесправии шахтеров Америки и полной безнадежности в смысле уверенности в завтрашнем дне сталеваров Питтсбурга.

И вот попили мы с Федором пивка, о котором и мечтать не могли (верблюжьё мочу вместо пива пили мы в околзаводских забегаловках), закусили соломкой, идем по базару, который расперт зеленью, фруктами, птицей, мясом, джинсами, обувью, орехами, черт знает чем, и не первый раз уже спрашиваем сами себя: а зачем тогда советская власть? Зачем она тогда?

Простой вопрос, но мы оба, не будучи врагами родного нам русского народа и страны,

которую мы отстаивали, и отстраивали, и крепили, не можем на него ответить. Мы не можем понять: зачем нужна советская власть, если она не могла за всю свою историю и не может накормить как следует, напоить, одеть и достойно оплатить труд рабочего человека? Зачем? Для бесплатного медобслуживания? Обучения? Ясель? Все это есть и у австрийского рабочего, и все это несравненно выше по качеству.

Может быть, советская власть делает достойной и богатой духовную жизнь человека в ущерб материальной, с чем еще можно было бы если не мириться, то спорить? Нет. Блевать нас, братьев по классу, тянуло от девяноста процентов книг, фильмов, спектаклей, телепередач и журнальной лжи о современности. Буквально тянуло блевать. Я не преувеличиваю.

Зачем советская власть — если она не в состоянии наладить как следует работу транспорта, построить дороги, обеспечить каждого человека достойным жильем, уничтожить взяточничество и кастовость, если она наплодила подпольных миллионеров, вместо того чтобы привлечь их к коммерции и организаторской деятельности? Зачем эта власть — если социал-демократы побили наших якобы коммунистов, силой удерживающих власть в СССР, по всем очкам? Ракет вот только, водородных бомб и прочей самоубийственной пакости не имеют социал-демократы. И может быть, нет

у них красивейшего в мире метро и вкуснейшего мороженого. Может быть, действительно советская власть уничтожила эксплуатацию человека человеком? Но и тут вся разница между советским работягой и австрийским слесарем состоит в том, что австрийский слесарь совершенно точно знает, кто именно его эксплуатирует и как, следовательно, с этим неприличным временем положением бороться. Бастовать и прочее. А Вася Ниточкин, друг мой по цеху, изумительный слесарь-универсал, не ведает до сих пор, кто его эксплуатирует, кто его собственный эксплуататор, которого можно было бы прижать коленом к стенке и показать социальные, а может быть, и политические права. Не знает этого Вася Ниточкин, как и миллионы ему подобных пролетариев, кто их хозяин, если учесть, что положение «мы сами хозяева своего труда и своей страны» — ложь, внушаемая опытными, вооруженными дубинками шаманами пропаганды. А если учесть, что работает советский рабочий, погоняемый политруками, изводимый вечными трудовыми вахтами, соревнованиями и словоблудием, но получает он за свой труд при невозможности прилично питаться и отовариться в четыре-пять раз меньше австрийского рабочего, то кто его тогда эксплуатирует?

Федор привез с собой роман Достоевского «Братья Карамазовы». Там один деятель — Иван — говорит, что если за устройство бессмертия в будущем или чего-то в этом роде

нужно заплатить хотя бы одной слезиночкой ребенка, то он, Иван, возвращает свой билет в это царство Богу. А теперь прикиньте приблизительное количество слезинок, слез, слезищ, канувших в моря пролитой крови, прикиньте полетевшие псу под хвост сокровища духа, нажитые за тысячелетия нормальной и плохой временами, и бедовой, и славной русской народной жизни, и вы содрогнетесь от размеров чудовищной платы, которую заплатили и продолжают платить народы России за то, что пресловутый паровоз летит вперед, где будет у него в коммуне остановка. Остановка-то будет рано или поздно, но вот вопрос: где она произойдет? Вдруг не в коммуне вовсе, а в тупиковом, граничащем с пропастью пространстве? Лязгнут буфера, посыплются искры из-под тормозящих с воем и скрежетом колес, тишина на миг настанет, и потом в тишине громыхнут щеколды и засовы красных теплушек, и политушки под лай собачий забазлают и загорланят:

— Выходи! Прибыли! Стройся по пять! Р-разговорчики! Выходи, не то стрелять будем!

Если вы задумаетесь, что происходит на пути в «незнаемое» с благосостоянием людей, с образом их жизни, с культурой и духовным наследием, с людским поведением и взаимоотношениями, то вы сможете представить, *кто* наконец и в *каком* моральном виде вылезет под угрозой расстрела из теплушек. А начальничек будущего конвоя, отпрыгнув самогонищем

и черной икрой, достанет из нагрудного кармана бумажку, поскольку политруки к тому времени должны окончательно отвыкнуть от самостоятельного мышления и потерять речевые способности, и по бумажке прочитает:

— Дорогие товарищи! Запевай «Интернационал»! И смело, так сказать, в ногу! Назад ша-а-гом а-арш!

Это, конечно, скорбная шутка, но если уж ученые уверяют, что даже в ихних, более-менее точных науках нельзя предсказать, в каких формах и с какими данными завершится прекрасно, казалось бы, продуманный эксперимент, то извините-подвиньтесь, чтобы я лично на слово верил всяким химикам, вроде Маркса и Энгельса, не говоря о выдающихся теоретиках типа Суслова и Пономарева, уверяющих нас в том, что коммунизм неизбежен. Если бы они добавили при этом неизбежен, как смерть, я бы еще задумался удрученно над смыслом такого сравнения.

Сидим мы с Федором на лавочке напротив Венской оперы, болтаем обо всем об этом вслух, и смешно нам смотреть, просто очень смешно смотреть на предвыборный плакат с изображением коммуниста номер один Австрии — Франца Мури. Вдруг останавливается прямо около нас извозчик. Блестит его лакированный черный тарантас, запряженный парой вороных красавцев. На козлах сидит кучер в черном цилиндре. Один вороной пустил сначала желтую струю из своего висящего бранд-

спойта, затем громко пукнул, приподнял хвост и навалил на асфальт здоровенную кучу.

С козел спрыгивает длинный кучер с громким раздражительным криком: «Ну, ебит твою мать! Засранец! (Тот, кто обделывается на улицах, в общественных местах, на работе, в отношениях с друзьями и так далее.) Убью на хер! Душу выну!»

Мы с Федором переглядываемся с остолбенелым удовольствием, а кучер недовольно достает из бардачка (ящик с инструментами) пластмассовый мешочек. Над кучей навоза уже совершили молниеносный полет два воробья. Безусловно, это были разведчики, и возможно, это ихнее сходство с нашими воинскими профессиями расшевелило мгновенно нашу память.

Мы с Федором в один голос заорали: «Франц! Франц!» Можно было подумать, что мы обращаемся к председателю компартии Францу Мури, наблюдавшему за нами с портрета генсековским взглядом, но мы орали кучеру, длинноногому кучеру в черном цилиндре и вороновом фраке: «Франц!» Он приостановил начавшуюся было приборку с венской мостовой, напротив Венской оперы, венского навоза и посмотрел на нас весьма раздражительно. Лошади тоже повернули к нам свои красивые головы с белыми звездами на лоснившихся лбах. Мы бросились к Францу, стиснули его в четыре ручищи, так что он закричал и, покраснев, не мог вымолвить ни слова, и бес-

смысленно хохотали, как тридцать с лишним лет назад. Но Франц так был потрясен неожиданным нашим окликом, нападением, хохотом и собственной, наконец, догадкой, что мы испугались, как бы его не хватанула кондрашка (удар).

— Узнаешь?

— Смотри, мудила! (ласковое обращение в грубой форме)

— Майн гот! — сказал наконец Франц и добавил по-русски: — Эйтово ни можно быть!

— Все может быть в Стране Советов! — сказал Федор. — Узнаешь?

Франц снял цилиндр. Постарел он, разумеется, но мало, в общем, изменился. Рыжина в основном полиняла. Ну что тут говорить? Наобнимались мы, нацеловались тут же, на улице, натрясли друг другу руки и наговорили массу нелепых выражений. Франц плакал навзрыд и говорил по-немецки, показывая на нас, как в театре, веснушчатými кучерскими руками:

— Они спасли мне жизнь! Это было счастье! Смотрите на этих людей! — обращался он к собравшейся толпе. — Генук работа! По-езжаем вперед к шнапс унд шницель! — сказал нам Франц. — Садимся на эту мою телегу! За Родину! За Сталина! Ата-аку ур-ра! Гитлер капут!

Мы с Федором уселись в коляску с закрытым верхом. Франц быстро собрал недоклеванный воробьями навоз, вскочил на облучок,

хлестнул засранца и другого вороного изящным кнутом, мы откинулись на мягкую спинку сиденья от рывка горячих лошадок и не тронулись, а полетели по мостовой. И Федор сказал свои любимые слова:

— Люблю я жизнь, елки зеленые, за смену впечатлений!

Как вы понимаете, Франц, не допуская возражений, перевез нас из отеля в свой дом. Но это потом, после обеда со шнапсом под названием «Московская особая», маринованных овощей на закуску и приличных кусин жареной свинины.

Сначала Франц про плен рассказывал. Потом Федор про следствие и лагеря. Потом я про события последних месяцев. Потом опять Франц про свою житуху после войны, про ряд женитьб, про многочисленных детей, про свой прекрасный промысел и про многое другое. А его последняя жена, на Таисью мою похожая, бабенка Берта, кормила нас, поила, стелила, поднимала, ублажала, стирала, гладила и приятельниц сватала. Но нам было не до них. Ко всему прочему, в день выборов Франц объявил, что сегодня он будет голосовать не за канцлера Крайского, Крайский обойдется и без его, Францева, голоса, а за коммунистов, за Мури. В заграничной жизни мы ни хрена не разбирались, поэтому от споров, проявлений нетерпимости, убийственной иронии и прямых оскорблений нашего друга воздержались. Только Федор сказал:

— То, что ты, Франц, проработал всю жизнь извозчиком и стал культурным человеком, говорит о тебе как о мудрой личности. Но как при этом можно голосовать за компартию — не понимаю! Она же за год развалит вашу Австрию, сосиски ваши и колбасы превратит в крахмальные сталактиты и вино обратит в воду. Почему ты за них голосуешь?

— Эй, Федор, — сказал Франц, — тоталитаризм делает все же людей однобокими. Нет в вас политического юмора, мудилы. Я проголосую за коммунистов, во-первых, потому, что они взяли меня в плен и не дали подохнуть в плену от голода. Несладко было, многие не вернулись, но я выжил. Во-вторых, я хочу сегодня сказать коммунистам спасибо за то, что они выпустили вас живыми из плена.

— Молодец, Франц. Ты схавал (съел) нас с потрохами (внутренние органы, кроме мозга и члена).

— Ну а вдруг твой именно голос окажется тем самым голосом, который склонит черт знает куда чашу весов, и коммунисты поручат сформировать правительство, к ужасу всей свободной Европы и прочих частей света, не схаванных коммунистами? Что тогда?

— Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, как любят говорить коммунисты. Учение Маркса всеильно, потому что оно верно. Смерть немецким оккупантам! Запомни сам и передай другому, что честный труд — дорога к дому! Если враг не

работает, но ест, его уничтожают... Сталин — лучший друг военнопленных. Оправдаем свое участие в войне перевыполнением плана и успехами в изучении марксизма-ленинизма.

Это Франц отбарабанил нам все, чему научился в лагерях: Говорил он, конечно, не так чисто, как я написал, но за смысл ручаюсь.

Думаю, что вскоре мы сядем в самолет с нашими небольшими чемоданчиками и прилетим к вам. Доспорим, о чем не доспорили. Договорим. Я дорасскажу то, о чем не дописал, и я не обижусь, если вы будете продолжать подъялдыкивания. (уколы) насчет моего увлечения сочинительством. Сол и Джо спрашивали меня по телефону, чем кончилась женитьба грузина-долгожителя на случайно не расстрелянной теще сумасшедшего участкового. Печально кончилась история. Очень, на мой взгляд, печально. Ведь что за конфликт вышел сразу же после свадьбы?

Старуха потребовала от мужа исполнения супружеских обязанностей. Как он только ни клялся и ни божился, что забыл сорок лет назад все, чему научила его жизнь, наша наглая городская Екатерина Вторая не унималась.

Бери, мол, меня и бери, хочу, чтобы все по правилам было. Я и так несчастной бабой всю жизнь прожила. В Первую мировую жениха ухлопали. В Гражданскую трех милых дружков извели красные и белые. В двадцать девятом кулака из родной деревни — Прошу — у себя приютила. Соседи, бляди, донесли. Из

кровати моей Прошу взяли. За стахановца Тольку пошла. Два месяца прожить успели. В доменную печь пьяный свалился и хоронить даже после себя ничего не оставил. С военным стала жить. Родила. Тут японская война опять. Хотя его не в Монголии, а в Киеве убили. Сказывали: продал японо-монголам чертежи швейной машинки, которая Сталину галифе строчила. Дай, думаю, за энкавэдэшника выскочу. Самые они тогда авантажные были мужчины. Закрутила с Поваловым. А он вроде тебя оказался — неподдающийся. Ночами допрашивал, а днем спал и опять бежал к своим недопрошенным. У нас, говорит, тоже план есть и его перевыполнять надо, не то самого допросят. Так оно и вышло. Записку из тюрьмы прислал с каким-то прохиндеем. «Родная, пишет, жду от тебя передачу». Пускай, отвечаю, передачи тебе носят те, с которыми ты ночи мои собственные проводил, окаянный враг народа. Не везло мне. Ох, не везло. Отечественная в самый раз подошла. К тому моменту я от эмвэдэшников отказалась. Домработницей к профессору пошла, чтобы подальше быть от проклятой политики. Соблазнила профессора. Полы я умела мыть очень красиво. Мою, а сама задом к профессору подступаю да подступаю. Целый месяц полы мыла. Каждый божий день. Жена профессора на меня не нарадуется. Других, говорит, лентяек раз в две недели невозможно было заставить сделать генеральную уборку. Целый месяц

мыла. Кровь к голове приливать стала. Спину ломило. Руки потрескались. Он сидит, родимый и желанный, сочиняет чего-то, работает, я танцую перед ним с тряпкой, танцую, когда же, думаю горько, разогнет меня жизнь обратно из этих трех погибелей? Начинала всегда от порога и к письменному евоному столу поддвигалась. Сама между ног у себя снизу вверх подглядываю: может, косит невзначай глазами под задранную юбку, но чувства своего стесняется? Нет. Не шелохнется, идол задумчивый. Обидно мне было разгибаться из такого унижения ни с чем, как говорится. Любой бабе обидно было бы. Я ж ему, можно сказать, на блюдечке себя подносила, как один партработник меня учил. Имела я одного такого. Он меня, несмышленную в городских делах, многому научил. Запомни, говорит, Дарья, человек с очевидностью произошел от обезьяны. Но со временем стал нескромно заносчив. Условностей всяких светских насоздавал невпроворот. Просто жизни от них не стало. Ни воздуха нельзя испортить в скверный миг естественной необходимости, допустим, в музее буржуазного искусства, ни помочиться, если к горлу подперло, когда и где хочешь. Помочился бы — и все. Я ни на кого внимания зоологического не обращаю, и на меня, в свою очередь, никто не пялит зенки возмущенные, как на первый в мире паровоз. А самые тяжелые кандалы и наручники надеты на наши свободные во всех своих желаниях половые органы,

к мочевому пузырю имеющие только узкопроизводственное отношение. Освободить их — наша почетная задача. Раз основная революция произошла, раз взяли мы свою власть обратно в руки, впервые, можно сказать, с обезьяньих времен, то несправедливо было бы оставить в стороне от наших победоносных переделок старого мира такую вещь, как половые органы. Пущай это для многих поначалу стыдно и смешно, смешно и стыдно — ничего! При борьбе нового со старым, а если правильно уточнить — в борьбе нашего старого со всем этим новым всегда бывает и стыдно и смешно. Но ты — не один, и ты — не одна. Рядом — братья по классу и сопутствующий элемент в лице буржуа, торговца и профессоришек разных. Всегда поддержат. Всегда, если что, разъяснят и уточнят. Ведь сколько человеко-часов потеряно в истории для прогресса из-за этих светских условностей. Бывало, пока подойдешь к какой-нибудь цаце да познакомишься как следует, неделя пройдет. Потом еще неделю ты ее высверливаешь и спереди и сзади взглядом, слова говоришь неуместно культурные и дымишься аж весь от закованного в кандалы желания присовокупиться к противоположному полу. Дымишься бесполезно, и ничего от тебя нету прогрессу ни капельки, кроме похотливой похоти в штанах и снаружи. Потом кое-как на фильме выбрались. Целый сеанс, бывало, зря проходит, пока ты ейное колено выдрессируешь своей горячей нетерпели-

вой рукой. Целый сеанс. Да я за это время, бывало, целый полк солдат морально разоружал, чтобы не воевали с немцами. А эта рабыня сидит, стряхивает мою руку и рыдает, когда какой-то онанист заявляет на коленях: «Я готов ждать вашего «да» до самой смерти». На лодке потом катаешься. Лето ведь подошло, а у тебя вся рожа в хотимчиках. Наконец дело доходит до того, что тебе не дают поцелуя без любви. Перегнул в этом вопросе Чернышевский. Субъективно — недоглядел. И ведь надо же! Жестокий был человек, к топору неустанно звал Русь, к невиданному пролитою крови, следовательно, какой-то несчастный поцелуй без любви поперек в горле у него встал. Месяцы так летят впустую и годы, и мучительно стыдно за зря прожитые эти отрезки времени. Ору на митингах, бывало: «Вся власть Советам!» — а сам воображаю, как Люсю эту какую-нибудь или Мусю-Пусю заваливаю в последнем и решительном бою со всеми кандибоберами, мать ее разъети. Ведь дело дошло до того, что жениться обещать пришлось. Вынуждала. Я думаю, что в 1905-м потерпели мы неудачу из-за субъективных причин, а не объективных. Много энергии и времени отняли у людей моего типа, у авангарда революции, у профессиональных партийцев такого рода перипетии. Целых двенадцать лет! Ты подумай, сколько я за это время мог нацеловать и еще кое-чего наделать без любви. Но мы теперь нагоним. Мы теперича возьмем свое, а не даешь,

значит, ты против революции. Не хочешь — к ногтю или к стенке. Обросли все ложью. Забыли, как на ветвях качались и удовлетворяли нестесненно все свои естественные потребности без стыда и смеха. И дело свое делали. Людьми в конце концов стали. А Люся эта, Пуся, только я ее раздеваю-разуваю, хихикать начинает: «Ой, стыдно мне! Ой, смешно... Подождем, пока будет серьезно». Глупо, говорю, ждать, когда вы от некоторых щекотливых прикосновений хохотать и краснеть перестанете. Они во временной нашей природе, говорю. Ни в какую. Я за это время пол-Малого театра мог бы пережарить, а она — ни в какую. Ух, думаю, вот возьмем власть в свои руки — я с тебя не слезу, профурсетка жеманная. Ты у меня сразу сквозь землю от стыда провалишься и помрешь со смеху. Такое я тебе устрою, о чем думал долгими бессонными ночами. Дождался наконец. Лично Зимний брал. Уж мы там отыгрались за века смущения. На потолки даже лепные мочились, не то что на гобелены. Поступили с неслыханной роскошью так, как она того заслужила. Обгадили. Иду прямо из Зимнего к мучительнице моей окаянной — Люсе-Мусе-Пусе-Тусе. Винтовка на плече. Штык, как полагается. Прихожу. Сидит за пианино и воет: «Утро туманное, утро седое». Я, ни слова не говоря, разуваюсь, раздеваюсь, винтовку к пианино приставляю, а она все поет, не видит меня из-за нот, а может, из-за того, что я росточка небольшого и мелкой кос-

ти, но красив неотразимо. В квартире натоплено, помню, было. Голый, парадным шагом, оставшимся во мне от старого мира, выхожу из-за черного угла пианино. Дрожу весь, как будто пулемет в моих руках, а не половой орган. Трясет меня отдача от взрывов желания организма. Зубы стучат. Ххватит, говорю, у-у-утра туманного и се-се-дого! Уподобьтесь, Люся, мне лично и ляжем на ковер, поскольку в квартире натоплено. Глупостей наговорил. Но не в этом дело. Глаза у Люси на лоб. Орет: «Папа! Мама!» И мне говорит: «Как вы посмели, хам грядущий, а ныне уже и настоящий! Доля! Петя! Вон! Уберите с глаз ваши мерзости!»

Братцы прибежали Люсины. Этого лучше не вспоминать. Побили, обули, одели и дали мне под зад коленом. Я не боюсь правду рассказывать. На следующий день расстреляли мы их с товарищами всех до единого, а Люсю сообща обучили, как не смеяться, не краснеть, а рыдать и бледнеть. Возмездие есть возмездие. «А ты, Дуся, тряпку иди возьми в передней, намочи ее и иди, пол моя, на меня, иди задом, не бойся и засмеяться не думай. Убью сразу... Делаю, как он велел, а сама почему-то от смеха давлюсь. Если б он не велел не смеяться, я б еще не смеялась. А тут — сил нет, разрываюсь. Ненормальный, конечно, был этот мой партработник, но научил кой-чему. И доняла я таки своего профессора. Встает

однажды из-за стола, потирает руки и говорит весело, книгу он писал:

— Кончил! Я кончил! — И тут впервые обращает на меня внимание. И ты, Сулико, не смотри, что профессор он был. Распорядился. Жену сразу бросил. А она окрысилась и книгу его куда надо отнесла. Приходят за моим профессором. Берут и не выпускают. Я ему передачу таскала. Не везет мне, Сулико, в жизни, и ты вот упрямишься. Не пропишу я тебя за это в своей квартире, потому что ты фактически не муж...

Говорят, что хотела бабка расшевелить как-то своего муженька, но он вырвался, шум поднял, гостей пьяных перебудил. Нет, орет, такого у нас уговора. Не нужно мне ваших денег! Увезите обратно в солнечную Грузию из этого похабного города!

Говорят, что кто-то из недолгожителей вызвался по пьяной лавочке ублажить бабку и довести мероприятие до прописки старика на ее жилплощади. Но не тут-то было. Бабка в нейлоновой французской сорочке стала разгонять гостей и вопить, что она не шлюха — иметь прежде мужа любовника, что вот потом — всегда пожалуйста, а теперь она мужа непременно требует к себе в кровать. Побить ее побоялись. Неприлично бить, решили умные грузины, ветхую старушку. Долгожитель наотрез отказался превращать фиктивный брак в законный половым путем, и афера, как это ни странно для нашего века, не состоялась. Не от-

дала бабка, по совету Чернышевского, квартиру без любви. Вот, Сол и Джо, какая карусель...

Теперь, дорогие, к слову о карусели. Пришли мы в Пратер культуры и отдыха. Должен отвлечься сейчас, как всегда, потому что не умею еще составить из своих впечатлений сколько-нибудь стройное, соразмерное и мирно уживающееся в своих частях с целым сочинение, подобно тому, как уживались и уживаются в моей собственной жизни черт знает какие благородные и душевные страницы с низкими и беспутными.

Так вот, ты, Наум, хочешь знать, как обстоит дело в Вене с русскими евреями и правда ли, что масса людей едет куда глаза глядят, но не в Израиль. Да. Я кое-чего и кое-кого насмотрелся в Вене в отелях и на базарах. У меня есть мнение насчет евреев, с которыми я беседовал по душам. Но я решил воздержаться от суждений. Я никому не могу быть судьей. И глубоко верю, что если кто-либо не обрел достоинства, прожив немало лет в России, то обретут его еврейские дети или дети детей. Как я лично понимаю, исход — не первомайский парад и не показательный смотр художественной самодеятельности. Не могут все шагать в ногу. Не могут. И не надо в них кидать камнями. Будем милосердны к людям, сорвавшимся с привычных насестов, и будем счастливы, что срываются они по собственному желанию, а не идут по указу всевозможных иродов в дальневосточные резервации и в лагеря

медленной смерти. Про себя скажу так: я обогащен тем, что на старости лет чувствую себя причащенным если не к судьбе своего народа (еврей я плохой, в отличие от Вовы), то к тайне его существования и неиссякаемому источнику сил. Меня не бесит непонимание всего этого. Я спокоен и доверчив, как я вам уже говорил.

Пришли мы в Пратер культуры и отдыха. Ходим, глазеем на славных венцев и их детишек, на откровенное возбуждение юношей и девчонок, на всякие хитрости, выжимающие из тебя шиллинги. Просадил я в автомате сто шиллингов и подумал: да, перед тобой жадная, жестокая и азартная машина, я слаб и не могу защищаться. Это не то что встретить на темном пустыре громилу и померяться с ним силой и бесстрашием, отстаивая до последней капли крови получку, часы, кожаную куртку и обручальное кольцо, которые я однажды отстоял ценою сломанной ключицы и выбитого зуба. Пивка прекрасного попили мы, и не покидало нас с Федором чувство беспредельного отдохновения, которое нам приходилось испытывать в перерывах между последним, казалось бы, смертельным для нас боем и следующим, неизвестно что сулившим: пулю, осколок, контузию, жизнь, смерть, а также на рыбалке, над поплавком, в чаду костра, рядом с живой любимой рекою. Просадил я свои шиллинги. Пришлось просить у Федора. Мне так захотелось прокатиться на карусели, что зубы

заныли. Я хотел сесть на какого-нибудь зверя и прокатиться до головокружения, которое, непонятно почему, уважаю. И, катаясь, обдумать то, что сказала мне по телефону Таисья. А сказала эта странная и действительно верная тому, кого она любит, женщина вот что. Она втрескалась в меня по гроб жизни. И не желает сопротивляться своей судьбе, чем бы это ни кончилось. Она желает следовать судьбе, и поэтому у нее на спине (если бы вы знали, какая у Таисьи спина!) выросли крылья. Она ни о чем меня не просит. Вызов ей пришлют без моего беспокойства. Я ей ничем не обязан и так далее. Она будет жить где-нибудь рядом и изредка смотреть, как я ношу на коромысле воду и колю колуном дрова. Это все она говорила плача, и я с уважением отнесся к ее печальным представлениям моего облика, неизвестно с каким коромыслом на плечах и колуном над головою. Еще Таисья, сменив плач на смех, сказала, что ее бабушка была еврейкой, и она будет бороться за воссоединение со своими дальними родственниками в Израиле или в любой другой части света, где буду жить я.

Я сидел на удобной спине страуса, карусель летела по кругу, пытаюсь выкинуть за его предел по-детски обмирающее сердце, и холод запредельный слегка проникал между моих старых ног, и мелькали перед глазами, как во сне, лица близких и неблизких мне людей, даже людоедское промелькнуло, даже карповское замельтешило и сгнуло. Верино лицо...

Таисьино... Боже мой, как приходится расплачиваться за радость естества запутанностью души... Физкультурник Таисьин проплыл, словно ватный. Света моя, к ужасу моему, качнулась перед глазами, бедная девочка... Ты могла сейчас сидеть по соседству со мною на белом медведе...

И горестен был мой безмолвный плач, как тогда в электричке, когда я последний раз возвращался с рыбалки и жадно глядел в окна вагона по обе стороны хода поезда, находясь как бы в центре громадной карусели и имея возможность вглядываться в следовавшее мимо меня по кругу до самого горизонта пространство... белые облака, приникшие в кружении к верхушкам сосен... хоровод осенних сиротливых полянок... ботва картофеля на перекопанных огородиках... странные лица баб-служительниц на нечастых переездах... желтые флажки у них в руках... оранжевые душегрейки... домики... пруды, притихшие до полной глади в ожидании оледенения... и стук колес, как бы сшивающий в памяти раскроенные впечатления, сшивающий в одно целое, как детское мое теплое и грустное одеяло, лоскутки пространства... Желтые, голубые, вишневые, зеленые, серые, черные, синие, белые лоскутки... Боже мой! Это — прощание. Но кто кого на прощание прощает? Друг друга... Простимся... прощаемся... простите... прощаю... прощай. На то и даны нам минуты прощания, чтобы совместно и чисто преклониться перед го-

товым разлучить нас неведомым и чтобы легко было на сердце следующих и остающихся...

Забылся я, на страусе сидя. О Таисье задумался. Остановилась карусель, и абсолютно довольный своим делом и жизнеположением старый австриец намекнул мне виновато, что надо или сматываться или выкладывать шиллинги. Слез я со страуса. Извинился. Поблагодарил карусельщика. И решил так: скорей пулю я в лоб себе пущу, чем оскверню течение Веринной жизни уходом к другой женщине, даже к страстно желанной Таське. Я не могу запретить ей следовать своей судьбе, но и у меня есть свой долг и остаток пути, которому приличествует соответствовать достойно. Вот какая карусель, дорогие. Вот какая моя карусель...

Вена — Париж — Миддлтаун, 1979

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ КАРУСЕЛЬ

Выпускающий редактор *Е.Д. Шубина*

Художественный редактор *Т.Н. Костерина*

Технолог *С.С. Басинова*

Оператор компьютерной верстки *И.В. Соколова*

П. корректоры *В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский*

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года.

Подписано в печать 15.12.99. Формат 70х90/32

Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Объем 13 печ. л. Тираж 11 000 экз.

Изд. № 1139. Заказ № 107.

Издательство «ВАГРИУС»

129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1

Получить подробную информацию о наших книгах и планах, авторах и художниках, истории издательства, ознакомиться с фрагментами книг, высказать свои пожелания и задать интересующие Вас вопросы Вы сможете, посетив сайт издательства в сети

Интернет: <http://www.vagrius.com>

Электронная почта (E-Mail) — vagrius@vagrius.com

Ордена Трудового Красного Знамени

ГУП Чеховский полиграфический комбинат

Министерства Российской Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

142300 г. Чехов Московской области

Тел. (272) 71-336, факс (272) 62-536

Оптовая торговля:

«Клуб 36'6»

Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-69, 267-28-33, 261-24-90,

523-25-56, 523-92-63

E-mail: club366@aha.ru

Книжная лавка «У Сытина»:

125008, Москва, пр-д Черепановых, д. 56

Тел.: (095) 156-86-70 Факс: (095) 154-30-40

Электронная почта: sytin@aha.ru

OCR Давид Титиевский, апрель 2020 г., Хайфа

ISBN 5-264-00186-3



9 785264 001864 >

...ической Родине, бла-
...ому делу — востроию
...нистического общества,
...а жизнь — жизнь верхо-
...арксиста-ленинца, про-
...дела великого Ле-
...вдющегося деятеля
...коммунистического
...ого движения, влеме-
...борца за утвержде-
...ого мира на земле — ле-
...на с революционно-пре-
...ющей деятельности
...а народа в борьбе
...году
...арод
...го

...де, Вы воплотили себе луч-
...шие черты героического рабо-
...ческого класса, сохранили проле-
...тарский подход к явлениям
...жизни, обладаете замечатель-
...ным умением утверждать и
...отношениях между людьми
...атмосферу творчества, дове-
...рия и уважения, ленинской
...партийной принципов, кото-
...владеете высоким уровнем
...глубоко понимать и
...интересы и чаяния народа.
...и отеческие и проникно-
...в слова к людям тру-
...кто добивает
...сталь и выра-
...заст

Юз Алешковский

Юз Алешковский

...руж-
...зпер-
...Вал-
...вене-
...Или-
...ом,
...в св-
...влю-
...Центральный Комитет ВЛКСМ
...Ленинградской области
...Вам, руководителю
...Советского государ-
...шлемому делу
...делания
...счастья
...во
...наш
...черты ленин-
...во утвер-
...боты
...Боевого
...Ц

КАРУСЕЛЬ

КАРУСЕЛЬ



15700
10-00



товарищу Ленину
Ильичу БРЕЖНЕВУ